СОМЕРСЕТ МОЭМ

СОМЕРСЕТ МОЭМ

КАТАЛИНА

Библиотечная серия

СОМЕРСЕТ МОЭМ

КАТАЛИНА

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА АТЕИСТА

Москва
«Советская Россия»
1988

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА АТЕИСТА

СОМЕРСЕТ МОЭМ

КАТАЛИНА

Москва
«Советская Россия»
1988

2
М87

Составление **А. А. Афиногеновой**

Вступительная статья и примечания
доктора философских наук Л. Н. Митрохина

Художник **А. В. Денисов**

Моэм С.

М87 Каталина/Сост. А. А. Афиногеновой; вступ. ст. Л. Н. Митрохина.— М.: Сов. Россия, 1988.— 480 с.— (Худож. и публицист. б-ка атеиста).— (Библ. сер.).

В книгу одного из крупных английских писателей XX века С. Моэма (1874—1965), последовательно выступавшего против церковных догм, религиозного фанатизма, ханжества, обнажавшего в ряде произведений колонизаторскую, антигуманную сущность миссионерской деятельности, вошли роман «Каталина», рассказы «Дождь», «Гонолулу», «Божий суд» и др.

М $\frac{4703000000-098}{М-105(03)88}$ 176—88 2

ISBN 5—268—00391—7

© Издательство «Советская Россия», 1988 г., составление, вступительная статья, примечания, перевод произведений, отмеченных в содержании знаком *

СОМЕРСЕТ МОЭМ: БРЕМЯ РЕЛИГИОЗНЫХ СТРАСТЕЙ

Более полувека назад Уильям Сомерсет Моэм (1874—1965) уже приобрел репутацию первоклассного писателя и вызывал бурные страсти среди литературных критиков. Но, пожалуй, именно в последние десятилетия все яснее раскрывается его значение как художника и мыслителя, запечатлевшего характерные персонажи нашего времени.

Число критических работ о нем давно перевалило за тысячу, а литературоведы многих стран пытаются раскодировать «феномен Моэма». Тем не менее он во многом остается загадкой. И действительно, как дать однозначную оценку творчеству человека, чья писательская деятельность длилась более 65 лет, чье литературное наследие отличается почти уникальным обилием жанров: драматургия, проза, эссеистика, литературная критика, философская и эстетическая публицистика? Кажется, он осмыслил все разделы современной культуры, объездил весь мир и по каждому вопросу высказал свое четкое суждение в легко узнаваемом и неповторимом «моэмовском стиле» — точном, лаконичном, ироничном.

Личность С. Моэма, наверное, лучше всего передают его фотографии: бесстрастное, почти надменное лицо человека, которому, кажется, ведомы все сокровенные тайны и слабости людей. Отстраненно, словно этнограф, он с интересом наблюдает и фиксирует поведение этих странных существ, находящихся во всевластии не всегда осознаваемых ими страстей, толкающих их то на заведомо благородные, то на неожиданно низменные поступки, а чаще всего на причудливое переплетение тех и других.

Здесь возникает искушение сравнить С. Моэма с театральным осветителем, озабоченным лишь тем, чтобы высветить детали, которые могут ускользнуть от внимания зрителей. Вдруг, однако, короткая отточенная фраза, изменившаяся интонация, а то и высказывание от первого лица показывают, как он напряженно следит и нравственно-бескомпромиссно оценивает судьбы, поведение своих героев. Правда, и тогда писатель не впадает в морализирование и не заигрывает с читателем. Такова жизнь, констатирует он, если видеть не ее внешнюю, показную сторону, а действительную суть. Он как бы следует мудрому совету Спинозы, о взглядах которого высказывался с неизменным почтением: «Не плакать, не смеяться, а понимать».

Исповедальный, задушевный тон, столь характерный для автобиографического жанра, был всегда ему чужд. И вместе с тем в его произведениях мы найдем немало высказываний, характеризующих писателя Моэма, раскрывающих его характер и его эстетическую программу. Писательское творчество он рассматривал как главное дело всей жизни и больше всего опасался застрять на уровне дилетантизма, который определил с предельной проницательностью: «Дилетант отличается от профессионала тем, что не может расти».

Причудливое сочетание едва ли не вызывающей бесстрастности и предельной авторской откровенности, за которыми стоит богатейший житейский опыт и напряженные раздумья над событиями мировой истории и современной ему жизни, над выдающимися произведениями культуры, делает творчество Моэма весьма сложным для литературоведческих оценок.

В результате каждый критик находит и характеризует «своего» Моэма, совсем непохожего на образ, созданный коллегами. Каким он только не представал в суждениях рецензентов: бессердечным

циником и писателем, проникнутым неподдельным состраданием к человеку, чванливым аристократом и мыслителем, выше всего ставящим людей труда, суперснобом и художником, воспевавшим естественные человеческие чувства, дерзким оппонентом принятого в «свете» приличия и защитником нравственности как высшего достоинства личности. Сам он отмечал не без сарказма: «Когда мне шел третий десяток, критики отмечали, что я груб, после тридцати лет они меня корили за дерзость, после сорока — за цинизм, после пятидесяти — за то, что я сведущ в своем деле, а теперь, когда мне перевалило за шестьдесят, они меня называют поверхностным. А я шел своим путем, следуя линии, которую наметил, и стараясь с помощью моих книг выполнить задуманную программу».

Разумеется, у нас нет ни малейшего намерения предложить исчерпывающий литературоведческий обзор богатейшего писательского наследия Сомерсета Моэма, тем более что отечественные исследователи много сделали для выявления специфики его творческой манеры. Если, однако, отношение к религии (а именно эта тема объединила работы, включенные в данный сборник) прежде всего определяется жизненным опытом человека, то нужно, хотя бы бегло, коснуться его жизненного пути и места в современной литературе.

1

Сомерсет Моэм довольно рано, а главное, ценой напряженнейших раздумий сформулировал свое эстетическое кредо, которому оставался неизменно верен, несмотря на все модернистские и немодернистские поветрия. Что же касается представления о «разных» Моэмах и о плохо согласуемых между собой тенденциях в его произведениях, то оно объясняется не столько

неглубоким их прочтением, сколько неумением связать творчество писателя с тем кардинальным сдвигом в самой атмосфере духовной жизни, который совершился в наше столетие. Среди писателей Моэм уловил его одним из первых.

Усложнялась структура западного общества, а следовательно, возрастала роль идеологии, обеспечивающей единообразное поведение людей, играющих сходные социальные роли. Общество создает мощную индустрию идеологического манипулирования, «фабрики грез», стереотипы «стопроцентного» гражданина, иерархии престижа и т. д. Втянутый в эту разветвленную систему, человек теряет индивидуальность, становится ее анонимной функцией, кристаллизацией модных программ средств массовой информации. Такого человека Г. Маркузе назовет «одномерным», Д. Рисмен — «человеком-локатором», Р. Миллс — «жизнерадостным роботом». Здесь знание подменяется развлечением, мудрость — светскими манерами, серьезные дискуссии — салонными сплетнями, искренность — умелым жеманством. Все эти процессы привели к уродливой тенденции — расслоению культуры на «высокую» и «массовую», утрате и опошлению вековых мировоззренческих проблем.

Заслуга Моэма состояла не только в том, что он едко и бескопромиссно высмеивал пороки поствикторианского общества: пустоту и тщеславие, стремление к «высшему свету» и элементарное невежество. Он утверждал высокую миссию литературы — видеть жизнь и человека такими, каковы они есть, ценить неподдельные человеческие чувства, выражающие его личность, неуязвимую для светских условностей и мишуры. Прямо или косвенно он постоянно возвращался к «проклятым проблемам» — о смысле жизни, о сути человека, о цене независимости и индивидуальной свободы, о причине зла и страданий людей. Причем, как мы увидим

позже, в этих раздумьях заметное место занимали проблемы религии, представление о боге и аргументы в пользу его существования, причины и последствия воздействия веры и т. д. В этом отношении С. Моэм проделал сложный путь: от наивной веры к ее решительному отрицанию, путь, который так или иначе запечатлен в его произведениях, начиная от романа «Лиза из Ламбета» и до «Каталины», публикуемой в данном сборнике.

Его острокритическое восприятие английского общества зарождается уже в детстве. С. Моэм родился в Париже, где его няньки были француженки, и английского языка он почти не знал. Когда ему было 8 лет, умерла его мать, спустя два года — отец, и он переехал к своему опекуну-дяде, викарию англиканской церкви. Затем он провел «три безрадостных года в английской школе», где остро ощущал свое одиночество. Причиной было плохое знание английского, слабое здоровье, а главное — заиканье. «Едва я поступил в школу,— вспоминает он,— как насмешки товарищей и жгучее чувство стыда открыли глаза на то, какое страшное несчастье, что я заикаюсь». Эта отчужденность обостряла его восприимчивость, заставляла полагаться лишь на собственные силы, рождала страстное стремление к самоутверждению и реваншу у столь немилостивой природы. Естественно, он рано столкнулся с религией. «Мой дядя любил говорить, что он — единственный человек в природе, который трудится семь дней в неделю. На самом деле, он был невероятно ленив и всю работу по приходу перепоручал своему помощнику и церковным старостам. Но я был впечатлителен и скоро стал очень религиозным. Я без тени сомнения принимал все, чему меня учили сперва в доме дяди, а потом в школе».

Это была, разумеется, неглубокая, внешняя рели-

гиозность, и она вскоре стала подвергаться непосильным испытаниям. В романе «Бремя страстей человеческих» (1915) описывается, как герой теряет веру, в которой был воспитан. Глава эта сделана плохо, признавал впоследствии С. Моэм. «Дело в том, что в ней описаны мои собственные переживания, а я, разумеется, пришел к своему выводу на основании очень и очень шатких суждений. То были рассуждения невежественного юнца. Шли они не столько от разума, сколько от сердца».

Наблюдательного юношу прежде всего поразило, что глашатаи божественной праведности, за нарушение которой грозили вечными муками ада, сами относятся к ней крайне небрежно. «Со временем я понял, что мой дядя — эгоист и заботится только о себе. К нему наезжали священники из других приходов. Одного из них суд графства приговорил к штрафу за то, что он морил голодом своих коров, другого уволили за пьянство. Меня учили, что все мы ходим под богом и что первый долг человека — заботиться о спасении души. Я видел, что ни один из этих священников не делает того, к чему призывает в своих проповедях». Что ж, вывод, несомненно, достаточно тривиальный, но юношеские наблюдения глубоко запали в память будущего писателя, и в ряде своих произведений он создает образ благочестивого ханжи и циника, например в рассказе «Педантичность дона Себастьяна».

Пребывание в Германии дало Моэму повод для более критических раздумий. Он вспоминает: «...Меня, при юношеской моей нетерпимости, так поразило расхождение между словом и делом у знакомых мне священников, что я уже был склонен к сомнению; иначе едва ли пустячная мысль, которая пришла мне тогда в голову, могла бы иметь столь важные для меня последствия. А пришло мне в голову, что я вполне мог родиться на юге Германии и тогда, безусловно, был бы воспитан в католи-

ческой вере. Мне показалось очень обидным, что в этом случае я без всякой своей вины был бы осужден на вечные муки. В простоте своей я возмутился такой несправедливостью».

Саму по себе эту мысль можно, конечно, назвать «пустячной». Но несомненно и другое: она свидетельствует о серьезном шаге вперед в антирелигиозном скептицизме. Одно дело констатировать нерадивость отдельных священников и другое — поставить вопрос о критерии воздаяния и природе «божественной любви», иными словами, осваивать уже теоретический подход. Но в ту пору юноша был недостаточно подготовлен, чтобы сделать серьезные выводы, касающиеся религии в целом. «...Значит, решил я, совершенно все равно, во что бы ни верить; не может бог покарать человека только за то, что он испанец или готтентот». В итоге: «Все жуткое сооружение, основанное не на любви к богу, а на страхе перед адом, рассыпалось как карточный домик... Я больше не верил в бога, но в глубине души еще верил в черта».

2

Так окончился первый этап духовной биографии С. Моэма и начался второй, окончательно подорвавший его религиозность. Юноша избирает профессию врача и начинает упорно заниматься медициной, открывшей ему новый мир точной науки и трагических человеческих судеб. «В больнице я видел, как люди умирают, и мои растревоженные чувства подтверждали то, чему учили меня книги».

Талант художника не зависит от профессии. Но все же опыт врача формирует особое видение жизни и отношение к людям. Для него пациент — не представитель какого-то социального слоя или профессии. Извест-

ность, респектабельность, положение в обществе — все это отлетает, когда человек оказывается на больничной койке. Здесь он — прежде всего страдающее, импульсивное существо с затаенным испугом в глазах; его судьба зависит не от светских связей, изящества манер, благородства происхождения, а от вульгарных физиологических процессов, фиксируемым диагнозом, рецептами, анализами. Здесь жизнь и смерть, здоровье и увечность, стойкость и бессилие — не абстракции, но конкретные силы, противоборство которых решает судьбу измученного тела. А врачу некогда предаваться размышлениям об их метафизической сущности, потому что только он один определяет результат борьбы взаимоисключающих стихий.

Врачебная практика может формировать различные характеры. Одни становятся циниками, бездушными автоматами. Другие, напротив,— людьми особой душевной впечатлительности, сострадания, чуткими к раздумьям над «вечными» вопросами человеческого существования. В самом деле, почему нелепая случайность губит юный талант, отчего цветущий человек на всю жизнь становится калекой, как возможна гибель новорожденного... Где вообще корень страданий и зла в нашем лучшем из миров?

Моэм рано ощутил себя человеком гуманитарного склада, и подобные вопросы не давали ему покоя. Разумеется, он не собирался быть ни философом, ни дипломированным моралистом. «Писать для меня с самого начала было так же естественно, как для утки плавать. Я до сих пор удивляюсь, что я — писатель: к этому не было никаких причин, кроме непреодолимой склонности...» Но С. Моэм ясно понимал, что его знания слишком скудны, чтобы стать подлинным художником. Начинается бурный, неистовый процесс самообразования.

«Я продирался через сотни страниц»,— вспоминает он. Его блистательная автобиографическая книга «Подводя итоги» убеждает: он не лукавит. Сейчас найдется не так уж много философов, которые читали «Явление и реальность» Ф. Брэдли или «Многообразие религиозного опыта» У. Джемса, всерьез штудировали бы работы Б. Спинозы, А. Уайтхеда, Б. Рассела. А лапидарные, отточенные суждения о них Моэма свидетельствуют, что он не просто читал их, но изучал с пристрастием, стремясь отыскать решение тревожащих его проблем.

Среди них одна из первых — объяснение зла, которое С. Моэм пытался найти у выдающихся философов и богословов. Здесь нередко возникали забавные ситуации. С одной стороны — врач, многократно видевший смерть и зло в их реальной неприглядно-отталкивающей форме, с другой — академический мыслитель, окутанный облаком бестелесных абстракций. Тогда ученик восставал против авторитетов. «Любопытно,— пишет Моэм,— что философы, рассуждая о зле, так часто берут в качестве примера зубную боль... Так и кажется, будто никаких других страданий они в своей обеспеченной кабинетной жизни не испытали, и даже напрашивается вывод, что с дальнейшим развитием американской онтодологии всю проблему зла можно считать решенной».

Объяснение зла в земном мире составляет, однако, задачу классической теологической дисциплины — теодицеи, и ее решение, в конце концов, определяет прочность фундамента христианской концепции в целом. Суть проблемы Моэм излагает с профессиональной точностью. Богу, пишет он, естественно, приписывается свойство всемогущества. «Однако зло, которым полон мир, подсказывает нам вывод, что это существо не может быть всемогущим и всеблагим. Бога всемогу-

щего мы вправе упрекнуть за зло этого мира, а смешно было бы взирать на него с восхищением или поклоняться ему. Но ум и сердце восстают против концепции бога не всеблагого. В таком случае мы вынуждены предположить, что бог не всемогущ: такой бог не содержит в себе объяснения своего существования и существования созданной им вселенной».

Отметим, что высказанная еще в античные времена, эта дилемма постепенно стала едва ли не главным аргументом против христианской концепции бога. Наиболее явно она выступает в протестантской доктрине абсолютного предопределения, последовательно сформулированной Ж. Кальвином: еще до «сотворения мира» бог разделил «детей света» и «детей тьмы», и их земное поведение никак не может повлиять на это предначертание. Отсюда неизбежно вытекал вывод, который порой ужасал самого автора: даже новорожденный в случае смерти обречен на вечные адские страдания, если он не входит в число «избранных».

Сила этого довода, типичного для рационалистической критики религии, до сих пор не потеряла своего значения. К нему, в частности, нередко апеллировал Б. Рассел. «Обычный христианский аргумент,— писал он,— сводится к тому, что страдание ниспослано миру в качестве очищения за грехи и потому является делом благим. Аргумент этот, очевидно, является лишь рационализацией садизма; но в любом случае это весьма убогий аргумент. Мне хотелось бы пригласить какого-нибудь христианина проследовать вместе со мной в детское отделение больницы, чтобы он собственными глазами увидел те страдания, какие здесь выносятся, и после этого продолжал утверждать, будто дети эти настолько пали в нравственном отношении, что заслуживают столь тяжких страданий. Для того, чтобы докатиться до подобных заявлений, человек должен убить в себе всякое

чувство милосердия и сострадания»[1]. Но Моэма не нужно было «приглашать», и он записал в своем дневнике: «Для того, чтобы отвергнуть существование бога, достаточно один раз увидеть, как ребенок умирает от менингита». Как бы то ни было, но неразрешимость данной проблемы покушается на сами устои христианской веры, и, как мы увидим позже, С. Моэм постоянно возвращается к ней. Можно сказать больше: констатация и разъяснение этого противоречия образуют один из его главных доводов в критике религии.

Для Моэма, однако, отношение к концепции бога — лишь один из аспектов общего взгляда на человека, на его характер и призвание, взгляда, который, как мы старались показать, складывался постепенно, отражая резкие, порой неожиданные повороты его жизненного пути: застенчивый юноша, который долго чувствовал себя чужаком в английском обществе, а поэтому острее и зорче видел его пороки; врач, непосредственно столкнувшийся с горем, нищетой и обнаруживший ложность проповеди облагораживающей роли страданий и оправданности зла «небесными» соображениями; начинающий писатель, избравший литературный труд главным делом жизни и не жалевший сил для понимания мира, в котором чувствовал себя одиноким.

В результате у Моэма рано проявилось стремление к внутренней свободе, «бунт против образа мыслей и обычаев той среды, в которой вырос», прежде всего против чопорности и снобизма, неискренности человеческих отношений, приносимых в жертву соображениям салонной респектабельности, против духовной пустоты кумиров «высшего света». Это проявилось уже в выборе темы для первого романа «Лиза из Ламбета» (1897), повествующего о жизни типичных пациентов больницы

---

[1] Наука и религия.— 1959.— № 1.— С. 35.

св. Фомы — неимущего, страдающего люда, хотя — и автор знал это наверняка — «заинтересовать публику жизнью низших классов было тогда еще невозможно. Романы и пьесы, посвященные им, встречали с брезгливым высокомерием». Роман все же имел определенный успех, а главное, убедил Сомерсета Моэма в том, что он может избрать путь профессионального писателя. И когда растущие гонорары, главным образом от постановок пьес, позволили обрести желанную независимость, он, по собственному выражению, «послал всех к черту» и стал высказываться так, как считал нужным. В обществе, стыдившемся естественных чувств, это было принято за новую маску, шокировавшую почтенных читателей и признанных законодателей эстетического вкуса.

В зарубежных работах и поныне нередко утверждается, что Моэм яростно ненавидел снобизм, но снобизм вульгарный, раздражающий его — сноба высшего порядка, что он обрушивался преимущественно на мораль буржуа, безуспешно пытавшихся выдать себя за подлинных аристократов, он традиционно обвиняется в неискренности, поскольку, осуждая меркантилизм и бездуховность, якобы прежде всего заботился о коммерческом успехе своих произведений. Упрекали Моэма и в политическом индифферентизме, в преувеличенном внимании к индивидам и пренебрежении острыми социальными проблемами, даже в нежелании разделить радужные грезы общественных реформаторов.

Моэм, однако, и не желал стать ни заштатным оратором, ни автором зазывательных прокламаций, ни модным пророком или навязчивым моралистом. Он трезво понимал место и возможности писателя в буржуазном обществе, не стесняясь в обнародовании своих соображений. Так, он наверняка знал: бедность не облагораживает, а развращает, толкает на преступление,

и лишь деньги могут обеспечить ему творческую свободу; писательство — это труд, труд тяжелый и радостный, претензии коллег на особую избранность — не что иное, как разновидность снобизма, уступка условностям «света». Художник, заявлял он, «кретин, если не умеет подойти к каждому человеку как к равному», а «умение правильно охарактеризовать картину ничуть не выше умения разобраться в том, отчего заглох мотор». Нелепо считать, что искусство доступно лишь избранным. «Подлинно великим и значительным искусством могут наслаждаться все. Искусство касты — это просто игрушка».

Столь же определенно он говорит и об отборе своих героев и о собственной писательской программе. «У меня нет склонности к проповедничеству и пророчествованию. Я питаю всепоглощающий интерес к человеческой натуре, и мне всегда казалось, что лучше всего я могу делиться своими наблюдениями, рассказывая истории». А тогда (напомним о его опыте врача) все люди равны и интересны. «Я не вижу особой разницы между людьми. Все они смесь из великого и мелкого, из добродетелей и пороков, из благородства и низости».

Моэм, конечно, не был певцом духовного аристократизма. Он исходил из того, что людей нужно описывать такими, какими они действительно являются — без сентиментального умиления и нарочитого обличительства. «Меня часто называют циником. Меня обвиняют, что в своих книгах я делаю людей хуже, чем они есть. По-моему, я в этом неповинен. Я просто выявляю некоторые их черты, на которые многие писатели закрывают глаза». Он прощал слабости и даже пороки, если понимал стечение обстоятельств, их вызвавших, но ненавидел тех, кто культивирует мнимые ценности, исходя из корысти или пустого тщеславия.

Здесь важно привести одно замечание Моэма: «У

меня нет врожденной веры в людей. Я склонен ожидать от них скорее дурного, чем хорошего. Это цена, которую приходится платить за чувство юмора». Действительно, свои симпатии и антипатии писатель редко формулирует прямо, обычно они выражаются в саркастически-иронической стилистике. Эта манера часто создает видимость простоты содержания, нарочитой «развлекательности» произведений Моэма, отличающихся, как правило, отточенным, умело построенным сюжетом[1].

Дело в том, что применительно к Моэму выражения «чувство юмора», «ирония» имеют смысл, весьма отличающийся от их обыденно-житейского понимания. Это уже особые категории эстетики, а именно: высказывания, требующие расшифровки, встречной работы мысли читателя, его способности проникнуть в скрытое значение, которое в них содержится[2]. В иронии обычно за утвердительной формой скрывается отрицание, за похвалой — насмешка, за одобрением — порицание. Вместе с тем это способ выявления превосходства содержания перед формой его выражения, способ избавления от чрезмерного лиризма и напускной сентиментальности, метод донесения до читателя обобщенной, реалистической оценки, выходящей за рамки данной конкретной ситуации.

Уклоняясь обычно от нравоучительных подсказок, Моэм предоставляет самому читателю расценивать его плотно сбитые рассказы либо как просто забавные истории, либо же как итог глубоких раздумий над ключевыми

---

[1] Типична такая, например, характеристика С. Моэма в столь авторитетном словаре, как Вебстер: «Он был законченным профессиональным художником, которые, не отличаясь оригинальным видением или совершенным специфическим стилем, скромно предлагают свою работу в качестве скорее развлечения, чем продуктивного искусства».

[2] Напомним, что В. И. Ленин с одобрением выписал мысль Л. Фейербаха: «...Остроумная манера писать состоит между прочим в том, что она предполагает также и ум читателя...» (Полн. собр. соч., т. 38, с. 71).

проблемами человеческого существования, это уже дело читателя — смеяться над неожиданными злоключениями героев или всерьез задуматься о природе подлинных человеческих ценностей. Без понимания этой особенности стиля Моэма-писателя невозможно увидеть тонкость и проницательную умудренность его суждений о религии.

3

Обобщая высказывания на религиозно-философские темы, содержающиеся в книге «Подводя итоги» (1938), мы вправе квалифицировать писателя как последовательного критика религии с позиций рационализма, выдвигавшего и развивавшего традиционные аргументы, исторически сложившиеся в ходе становления свободомыслия и атеизма.

Общее представление о религии Моэм сформулировал еще в период занятий медициной. «Теперь я полагал, что религия и идея бога были постепенно выработаны человечеством для удобства жизни и представляют собой нечто, когда-то имевшее, а может быть и поныне сохранившее ценность для выживания рода, но что объяснять их нужно исторически и ничему реальному они не соответствуют. Я называл себя агностиком; однако в глубине души считал, что бог — это гипотеза, которую разумный человек должен отвергнуть».

Отношение к религии выражалось Моэмом, коль скоро он был прежде всего писатель, не только и не столько на языке философских понятий, сколько в созданных им конкретных образах, в чувствах и поведении героев его художественных произведений. Вместе с тем — и Моэм это неоднократно подчеркивал — всякого рода общие идеи и представления он рассматривал прежде всего как сырье, исходный материал для созда-

ния литературных произведений. Так что имеется органическая связь между его философскими раздумьями и литературными персонажами. Связь эта, правда, далеко не однозначная. «Бывало так,— писал он,— что какое-нибудь мое переживание служило мне темой, и я выдумывал ряд эпизодов, чтобы выявить ее; но чаще всего я брал людей, с которыми был близок или хотя бы легко знаком, и на их основе создавал свои персонажи».

В предлагаемом сборнике собраны произведения, так или иначе связанные с темой религии, сверхъестественного, мистических сил. Разумеется, они неравноценны, как с художественной точки зрения, так и в плане интересующей нас темы. Некоторые из них представляют собой интерес просто в силу умело построенного сюжета. Таков, например, рассказ «Церковный служитель». Вероятно, кто-то поведал писателю забавный случай превращения неграмотного служителя бога в процветающего табачного бизнесмена, и Моэм, вспомнив «невежественных и неумных священников», у которых он когда-то учился, разработал занимательный сюжет, вполне удовлетворяющий критериям непритязательного чтива.

В основном, однако, это произведения, в которых прямо или завуалированно воплощаются серьезные размышления писателя над мировоззренческими проблемами. Он пишет о своих юношеских сомнениях: «Мне представлялось чрезвычайно важным решить, только ли с этим миром, в котором я живу, мне следует считаться, или я должен смотреть на него лишь как на юдоль страданий, где мы готовимся к вечной жизни за гробом».

Ключевым здесь может послужить «Божий суд». Это рассказ-притча во всем своеобразии этого сложного жанра: писатель создает ряд эпизодов, которые могут

быть искусственными и не столь совершенными с художественной точки зрения, но все они жестко подчинены главной цели — четко зафиксировать авторское отношение к тому или иному явлению или проблеме. Рассказ, таким образом, носит программный характер.

Сюжет его несложен. Всевышний был смертельно уязвлен тем, что только что умерший и заслуживший на земле высокие почести философ заявил, что не признает его существования, потому что беспристрастное рассуждение не может совместить традиционно приписываемые богу всемогущество и всеблагость. «Никто не может отрицать существования зла,— сказал философ нравоучительно.— В таком случае, если бог не в силах предотвратить зло, он не всемогущ, а если он в силах это сделать, но не делает, он не всеблаг». И всевышний не знал ответа на этот далеко не новый вопрос, потому что даже он «не в состоянии превратить дважды два в пять»[1]. Что ж, это уже знакомая нам тема теодицеи, над которой писатель раздумывал годами. Но его изобретательный талант находит неожиданный сюжетный ход, предельно драматизирующий эту проблему.

Следующими перед всевышним предстали идеально благочестивые люди, которые «боролись с грехом столь же яростно, как Иаков боролся с ангелом божьим, и в конце концов они победили». Ради христианской святости Джон и Рут умертвили в себе благороднейшую взаимную любовь. «С разбитыми сердцами, но гордые своей невинностью, они расстались. Они принесли на алтарь господа, словно священную жертву, свои надежды на счастье, радость жизни и красоту мира». Но какой

---

[1] Отметим точность этой аналогии: проблема теодицеи никакими логическими, рационалистическими средствами не может быть решена. Суть ее — в понимании социальной природы и обусловленности «языка» религии.

была цена этой победы? Рут «с окаменевшим сердцем обратилась к господу и добрым делам. Она была неутомима. Она ухаживала за больными и помогала бедным... Ее вера была неистовой и ограниченной, ее доброта — жестокой, ибо зиждилась не на любви, а на рассудке, она стала деспотичной, нетерпеливой и мстительной». А для Джона жизнь потеряла всякий смысл, им овладела неугасимая ненависть к жене, которую он тщательно скрывал. Но и Мэри стала желчной и сварливой, потому что не могла простить ему той жертвы, которую он принес ради нее.

И вот, наконец, тени этих внутренне опустошенных существ предстали на божий суд, уверенные в непременном вознаграждении. Но дрогнуло сердце всевышнего. «Неужели же,— спросил он,— ради этого сотворил он этот мир, где восходящее солнце освещает своими лучами бескрайние морские просторы и снег искрится на вершинах гор, неужели ради этого весело журчат ручьи, сбегая с холмов, и колышутся от полуденного ветерка золотые колосья?» И он дунул, навсегда уничтожив стоявшие перед ним души, и затем бросил наблюдавшему эту сцену философу: «Ты не можешь не согласиться, что в данном случае я очень удачно соединил мое всемогущество с моей всеблагостью».

Не исключено, что кому-то эта история покажется забавной выдумкой, отмеченной характерной для произведений Моэма непредсказуемой развязкой. Но суть дела сложнее: в сжатой форме здесь намечено то действительно гуманистическое решение проблемы, которое Моэм все настойчивее утверждал в своих произведениях.

Да, вопрос о том, почему всемогущий бог посылает страдания им же созданным существам, уже в юношеские годы приобрел для писателя волнующую окраску. «И я нашел только одно объяснение, которое говорит что-то как воображению, так и чувству.

Это доктрина о переселении душ». Почему же? «Свои лишения,— разъясняет писатель,— можно переносить без ропота, невозможно спокойно переносить чужие несчастья, которые кажутся незаслуженными. Будь Карма правдой, мы могли бы сострадать чужому горю, но переносить его стойко». Однако тут же он решительно заявляет: «Я могу лишь сожалеть, что поверить в это учение для меня так же невозможно, как и в солипсизм, о котором я говорил выше».

В чем же причина? Развернутый ответ писатель дает лишь через 6 лет — в романе «Острие бритвы» (1944), одном из центральных его произведений, в котором наиболее четко выражена нравственная позиция автора. Беспощадно-саркастически выписанному образу Эллиота Томпсона, потратившего жизнь на пустую светскую мишуру, здесь противопоставлен Ларри Даррел, пожалуй, наиболее любимый, почти «идеальный» герой писателя. Для нас наиболее интересен один эпизод: спор автора (он выступает под собственным именем) с Ларри о проблеме зла. Построен он довольно неожиданно: свои прежние сомнения и выводы автор вкладывает в уста Ларри, а сам выступает в роли их беспристрастного оппонента.

Как в свое время юноша Моэм, Ларри после гибели друга, спасшего его от смерти, задумался над целью дальнейшей жизни, над концепцией бога. Но им овладели знакомые нам сомнения. «Я хотел веры, но не мог поверить в бога, который ничем не лучше порядочного человека». Монахи говорили, что бог «сотворил мир для вящей славы своей. Мне это не казалось такой уж достойной целью»; он постоянно слышал, как они взывали к отцу небесному, чтобы он дал им хлеб насущный. «Разве дети на земле просят своих отцов, чтобы те их кормили?..» «Мне не верилось, что бог может уважать человека, который с помощью грубой лести домо-

гается у него спасения души». «Раз он их создал способными на грех, значит, такова была его воля... Если мир создал всеблагой бог, зачем он создал зло... Я отказывался поверить во всемудрого бога, лишенного здравомыслия». И т. д.

Он попадает в Индию, и местная религия приводит его в восторг, он переживает моменты просветления и даже, кажется, решил главную проблему. «Вам не приходило в голову, что перевоплощение одновременно и объясняет и оправдывает земное зло? ...Если ты способен убедить себя, что это зло — неизбежное следствие прошлого, тогда ты можешь жалеть людей, можешь и должен по мере сил облегчать их страдания, но причин возмущаться у тебя не будет». Это логическое развитие идей, которые С. Моэм высказал в книге «Подводя итоги». Но теперь он их отвергает: индуизм не разрешает, а лишь видоизменяет проблему зла, и Ларри в конце концов с этим вынужден согласиться. «Понимаете, труднее всего объяснить, почему и зачем Брахман, то есть бытие, Блаженство и Сознание, сам по себе неизменный, вечно пребывающий в покое... зачем он создал видимый мир». Шанкара, самый мудрый из индийских мудрецов, объявил, что это неразрешимая загадка, другие обычно говорят, что Абсолют создал мир для забавы, без какой-нибудь цели. «...Но,— продолжает Ларри,— когда вспомнишь потопы и голод, землетрясения и ураганы и все болезни, которым подвержено тело, моральное чувство в тебе восстает, что все эти ужасы могли быть сделаны ради забавы». Так что проблема зла остается. «Может быть, разрешить ее невозможно,— признает Ларри,— а может быть, у меня на это не хватает ума. Рамакришна утверждал, что мир — забава бога... С этим я никак не могу согласиться».

Так рассуждает даже мягкий благородный Ларри. Мнение самого Моэма теперь более категорично: «Сам

я из «праха земного»; я могу только восхищаться светлым горением столь исключительного человека». Итак, в рамках теологии проблема зла неразрешима, и, повторим убеждение Моэма, «разумный человек должен отвергнуть идею бога».

Однако писатель ясно видел, что для многих людей религия остается надежной опорой собственного мировоззрения, помогающей без особых раздумий преодолевать житейские невзгоды. Моэм — не моралист и не осуждает тех, для кого вера в бога — незаменимый посох, умело приспособленный к повседневным нуждам. Другое дело, если вера становится фанатичной, целиком подчиняет все чувства и переживания. Тогда она становится не только причиной человеческих трагедий, но и противоречит смыслу христианских проповедей. Это не так явственно выступает на Западе, где христианство пронизало собой быт и впитало его в себя. Иными оказываются последствия встречи с другими культурами.

Моэм выступал на литературном поприще, когда Англия еще оставалась ведущей колониальной империей и на карте мира господствовал зеленый цвет ее заморских владений. Захват колоний диктовался реальными политическими и экономическими интересами. Однако они освящались мифом о великой «цивилизаторской» миссии Запада, о внутреннем долге белого колонизатора, верного кодексу «офицера и джентльмена». Моэм много сделал для развенчания этого мифа. Но, пожалуй, наибольшую ненависть и презрение писателя вызывали фанатики-миссионеры, которые стремились переделать туземцев изнутри, завладеть их душой, навязать им свои представления об истине и морали.

Писатель, конечно, прекрасно понимал, что их нашествие, в конечном счете, вызвано не энтузиазмом отдельных проповедников, а социально-экономическими, вполне «земными» причинами. Так, в рассказе «Гоно-

лулу» он как бы мимоходом замечает, что здесь первыми богачами являются Стабсы — потомки миссионеров. «Отцы принесли христианство канакам, а дети захватили их землю». Да, «небеса помогают тем, что помогает сам себе». «С тех пор, как жители этого острова восприняли христианство, они больше ничего не восприняли. Короли давали миссионерам землю, запасая сокровища на небесах. Это, конечно, было хорошей инвестицией». Но Моэм — не социолог и политический комментатор. Его интересуют те реальные люди, которые проводят такую политику, методы и результаты их работы. И здесь он остается верным своему представлению о человеке, способном и на высшие подвиги и на последнюю низость. С нескрываемой симпатией он пишет о католических монахинях, бесстрашно борющихся с холерой, о миссионерах, по-своему любящих местное население. Но он ненавидит бездушных фанатиков, искореняющих местную культуру и привычный образ жизни других народов.

Здесь прежде всего следует упомянуть ставший хрестоматийным рассказ «Дождь», который обычно расценивается как высшее проявление антиклерикализма писателя. История действительно некрасивая: посланец официальной религии, главой которой является сама королева, оказался в объятьях вульгарной проститутки! Именно эта развязка обычно рассматривается как апофеоз обличения благочестивых лжеаскетов: в душе все они, как изящно выражается торжествующая потаскуха, просто «свиньи». В одном, правда, мнения расходятся: была ли это тщательно продуманная ею операция или внезапный срыв вконец измучившего себя миссионера. Разумеется, такой финал рассказа ярок, эффектен, но эффект этот чисто внешний, а скандальная развязка представляется не только искусственной, немотивированной, но, если угодно, смягчающей содержательность и силу обличения: неистовый фа-

натик, не устоявший перед чарами дешевой проститутки, не столь уж зловещ. С. Цвейг был прав: самый опасный деспот — это деспот-аскет.

К тому же Дэвидсон вовсе не лицемер и не ханжа. Без малейшего колебания он пускается в грозящее смерью плавание, чтобы оказать медицинскую помощь больным туземцам, а после падения убивает себя. Так что пафос «Дождя», как нам представляется, вовсе не в обличении Дэвидсона как человека. Замысел автора глубже: индивиду, выводящему свой долг из представления о собственном избранничестве, чуждо чувство нормального человеческого сострадания, у него атрофируются естественные критерии добра и зла, и он становится способным на беспредельную жестокость и бесчеловечность. Так, Дэвидсон вполне искренне упивается сознанием, будто несет религию любви и прощения, спасает заблудшие души. Фактически же он осуществляет полицейское насилие над людьми, глумится над их вековой, сложившейся культурой и чувством собственного достоинства. Такую оценку в рассказе «Сосуд гнева» точно формулирует голландский резидент, осуждающий чрезмерную ретивость местного евангелиста: «Он считал, что обычаи страны вполне отвечали потребностям туземного населения, и его выводили из себя энергичные попытки миссионера разрушить образ жизни, который очень хорошо оправдывал себя на протяжении столетий».

Но тот — младенец по сравнению с неистовым Дэвидсоном. «Когда мы приехали туда,— рассказывает последний,— они совершенно не понимали, что такое грех. Они нарушали заповеди одну за другой, не сознавая, что творят зло. Я бы сказал, что самой трудной задачей передо мной было привить туземцам понятие о грехе». Поскольку же он одержим идеей спасти их «вопреки им самим», то считал допустимыми любые

средства — даже угрозу смерти. Он установил штрафы, поскольку был уверен, что «единственный способ заставить человека понять греховность какого-либо поступка — наказывать его за этот поступок». Штрафы за непосещение «спасающей» церкви, за «неприличную одежду, за танцы...». И местным жителям ничего не оставалось, как становиться праведниками. «Я мог бы исключить их из церковной общины... В конечном счете это означало голодную смерть». Эта бесчеловечность отчетливо проявляется в стычке с проституткой Томпсон.

Дэвидсон преследует ее (а мы вполне можем предположить, что ею она стала не по собственной воле) не ради порядка в доме или стремления изменить ее образ жизни (она согласна вести себя тихо и даже «покончить со своим ремеслом»). Он набрасывается на нее, как посланец провидения, который считает себя вправе вмешиваться в жизнь любого человека: «Если бы она скрылась на краю света, я и там настиг бы ее». Судьба ее как живого, реального человеческого существа, попавшего в беду, миссионера совершенно не волнует. Ему недостаточно ни ее раскания, ни даже трехлетнего заключения в американской тюрьме. Он должен сломать ее как человека, вселить в душу свинцовую тяжесть греха и нравственного юродства. «Я хочу, чтобы кара, принятая ею из рук человека, была ее жертвой богу. Я хочу, чтобы она приняла эту кару с радостным сердцем. Ей дана возможность, которая ниспосылается лишь немногим из нас. Господь неизреченно добр и неизреченно милосерден». В аналогичном амплуа предстает и мисс Джонс из рассказа «Сосуд гнева». Она в восторге от «обращения» Рыжего Тэда. «...Если бы не холера,— говорит она,— то мы никогда не узнали друг друга. Я вижу в этом явный перст божий». Но ей в голову не может прийти мысль, естественная для каждого, кто сохранил хоть частицу

человеколюбия: «обращение» это куплено ценой смерти шестисот невинных людей.

Моэм, таким образом, постигает самую суть дела: подчинение морали теологическому подходу неизбежно уродует ее, отнимает у человека право свободно и независимо определять свое поведение, право, без которого личность существовать не может. Напомним, что об одном из персонажей «Парижских тайн» К. Маркс отмечает, что тот «даже не возвышается до точки зрения самостоятельной морали, которая, по крайней мере, покоится на сознании *человеческого достоинства*. Его мораль, напротив, покоится на сознании человеческой слабости. Он представитель *теологической* морали» (Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч.— Т. 29.— С. 219)[1].

Но могут ли высокие чувства сострадания, справедливости произрастать на иной, не божественной почве? Этот вопрос преследовал писателя всю жизнь, и его положительный ответ на него с годами звучал все тверже. Так, много пережившая и «повзрослевшая» Китти из «Узорного покрова» (1925) восхищается самопожертвованностью французских монахинь, подвергающих себя смертельной опасности, борясь с холерой. Вместе с тем она видит, что они исходят из долга принятой им веры, которая неизбежно обезличивает, иссушает

---

[1] Вообще говоря, для понимания сути рассказа С. Моэма крайне поучителен блестящий анализ воздействия «жалкого, поседевшего в предрассудках попа Лапорта» на проститутку Марию, персонаж упомянутого романа Э. Сю. При всех несомненных различиях авторов этих произведений, сюжета, развязки (а Мария умирает в монастыре) цель религиозной проповеди оказывается принципиально сходной: заставить человека «превратить все человеческие и естественные отношения в *потусторонние отношения к богу*», сделать его рабом «сознания своей греховности», когда самоистязание становится благом, а раскаяние — славой, и индивид «может быть уверен в своем *спасении и милосердии* бога лишь в том случае, если *совершенно* отдаст себя богу, *совершенно* умрет для мира и мирских интересов».

человеческие чувства. И когда она почувствовала особое внимание монахинь, узнавших, что она ждет ребенка, внимание, диктуемое мыслью о вечности, ей хотелось крикнуть: «Неужели вам невдомек, что я — живая женщина, несчастная, одинокая, что меня нужно утешить, подбодрить? Неужели вы ни на минуту не можете забыть о боге, уделить мне немножко сочувствия? Не того христианского сочувствия, которое у вас припасено для всех страждущих, а простого, человеческого, личного?»

Тогда возникает мысль о «трагической святости» избранного ими пути. Да, эти «поразительные женщины» отказывались от всех земных радостей: дома, родины, любви, детей, свободы. «И ради чего? Что их ждет взамен? Жизнь, полная самопожертвования и лишений, послушание, изнуряющая работа и молитва. Этот мир для них поистине место изгнания. Жизнь — крест, который они несут добровольно, но в сердце их не умирает ожидание — да что там, это куда сильнее,— не ожидание, а страстное желание смерти, которая откроет перед ними жизнь бесконечную». Отсюда характерное чувство: «...Хотя их образ жизни внушал ей такое уважение, вера, толкавшая их на такой образ жизни, оставляла ее равнодушной». И после всех кругов земного ада, который ей довелось пройти, она обрела свободу и мужество и ее главной заботой стало желание воспитать дочь «свободной и самостоятельной»: «Хочу, чтоб она была бесстрашной и честной, чтоб была личностью, независимой от других, уважающей себя».

Да и нравственно-религиозные поиски Ларри не привели его к принятию догматической религиозной веры. Они лишь укрепили его в давно выношенном убеждении, что искать утешения и поддержки нужно в собственной душе и никогда не предавать ее. И он возвращается к прежнему образу жизни — свободного и

независимого человека, презирающего все светские условности. Число подобных примеров можно умножить, но, наверное, в наиболее четкой и художественно впечатляющей форме свой взгляд писатель выразил в «Санатории». Рассказ этот поражает не только точностью образов и достоверным воссозданием специфической атмосферы лечебницы (Моэм сам прошел через туберкулезный санаторий), но каким-то светлым неотразимым человеколюбием, едва ли не романтическим утверждением силы и благородства естественных чувств. Отметим лишь один эпизод. Мысль о неизбежности смерти делает когда-то доброго, в общем, ничем не примечательного Честера завистливым эгоистом, тираном своей жены: она останется жить и после него. Такая метаморфоза, по мнению автора, неизбежна и типична. «Вся беда в скудости идеала... Трагедия нашего времени в том и состоит, что эти простые души утратили веру в бога, на которого уповали, и надежду на загробную жизнь и счастье, которого они лишены в этом мире; взамен же они ничего не приобрели».

Происходит, однако, неслыханное событие. Обреченный на скорую кончину Джорж Темплтон и Айви Бишоп, шансы на жизнь у которой сохраняются лишь в лечебнице, решают вступить в брак и покинуть санаторий. Эта новость перевернула души пациентов. «Даже самые равнодушные не могли без волнения думать об этих двух людях, которые так любят друг друга, что не испугались смерти... Казалось, каждый разделял радость этой счастливой четы. И не только весна наполнила эти больные сердца новой надеждой: великая любовь, охватившая мужчину и девушку, словно обогрела лучами все вокруг».

Оказалось, что Честер и без надежды на загробное воздание способен обрести прежнюю человечность. «Прости меня, дорогая,— заговорил он...— Я хотел при-

чинить тебе страдание, потому что страдал сам. Но теперь с этим покончено. То, что произошло с Темплтоном и Айви Бишоп... не знаю, как это назвать... заставило меня по-новому взглянуть на вещи. Я больше не боюсь смерти. Мне кажется, смерть для человека значит меньше, гораздо меньше, чем любовь. И я хочу, чтобы ты жила и была счастлива. Я больше не завидую тебе и ни на что не жалуюсь. Теперь я рад, что умереть суждено мне, а не тебе. Я желаю тебе всего самого хорошего, что есть в мире. Я люблю тебя».

4

Завершает сборник роман «Каталина» (1947), который на русском языке полностью публикуется впервые[1]. Бытует мнение, что это произведение не представляет исторического интереса и не является существенной частью творческого наследия писателя. Однако для нас это произведение представляет особый интерес, поскольку лишний раз подтверждает, какое значительное место в творчестве Моэма занимала тема религии. Это последний роман писателя, и крайне симптоматично, что в нем он как бы подводит итоги своим многолетним размышлениям над природой религиозной веры, пытается в художественной форме обобщить оценки, содержащиеся в других произведениях, а в целом ряде случаев заметно развивает суждения, лишь намеченные ранее.

Но при всей своей, так сказать, идеологической простоте произведение это весьма необычное, и однозначно определить его просто невозможно. Роман никак не относится к жанру исторической документалистики

---

[1] Журнальный вариант опубликован в журнале «Наука и религия» (1983.— № 9—12).

(никаких документов автор не приводит). Известно, что писатель часто вовсе не претендует на описание исторической реальности — он ее создает, как бы подразумевая, что могло быть и так. Но Моэм отказывается от подобной претензии. На равных правах с другими земными персонажами в «Каталине» появляется дева Мария, да и незримый бог оказывает определяющее воздействие на развитие описанной истории. А чего стоит эпизод, когда влюбленная парочка встречает по дороге Дон Кихота с неразлучным Санчо Пансой и всемерно знаменитый благороднейший рыцарь непринужденно бражничает на постоялом дворе, охотно делясь со случайными постояльцами своими незаурядными познаниями!

Стиль романа также весьма своеобразен. Строго реалистические картины непосредственно соседствуют с заведомо фантастическими эпизодами, характерная для Моэма саркастически-ироническая манера изложения сменяется едва ли не сентиментальными сценами, а описания быта — глубокомысленными философскими рассуждениями. Создается ощущение, что писатель захотел создать модель, образец особого мира, где его представления о ценностях торжествуют не только, так сказать, в принципе, но и в самой жизни. Таким образом, в «Каталине» много от притчи, когда авторское Я доминирует над поведением героев, а все соображения и критерии (скажем, обоснованность сочетания реалистических и заведомо фантастических сцен) отступают перед задачей донести до читателя авторскую концепцию. А поэтому при всей сложности и запутанности сюжета в поступках героев угадывается предсказуемость, завербованность авторским замыслом, и повороты этой «почти невероятной истории» последовательно приближают «счастливый конец»: житейское, зримое торжество нравственных принципов художника.

Можно лишь восхищаться, что в столь почтенном возрасте Моэм проявил тонкое проникновение в суровую духовную атмосферу испанского общества XVI века, когда «одно неосторожно брошенное слово являлось достаточной причиной для ареста, за которым следовали недели, месяцы, а то и годы тюрьмы и пыток, прежде чем немногим счастливчикам удавалось доказать свою невиновность». Вместе с тем, как показывает писатель, никакие репрессии и духовный гнет не могли искоренить того, что М. Бахтин называл народной «карнавальной культурой», полной искренности, доброты, нехитрых радостей и здравого смысла. Моэм искусно стилизует тип произведений того времени с их «чудесами», «знамениями», религиозным фанатизмом и вместе с тем в полной мере сохраняет присущий ему юмор в описании самых трагических эпизодов, как обычно, в немногих словах передавая сложность человеческих страстей и щедрость красок страны, которую он всегда любил.

Стержнем романа остается излюбленная тема: противопоставление религиозного фанатизма и естественных человеческих переживаний, величие людей, живущих по собственной склонности, и тех, кто находится во власти опустошающего душу религиозного фанатизма, даже если это приводит к завидному процветанию и официальной славе.

Завязка романа проста: Каталине является дева Мария и предсказывает ей излечение от увечья, разрушившего ее судьбу: «...Сын Хуана Суареса де Валеро, который лучше всех служил богу, поможет тебе. Он возложит на тебя руки во имя отца, сына и святого духа, прикажет тебе бросить костыль и идти. Ты бросишь костыль и пойдешь». Но у Хуана Суареса де Валеро три совсем непохожих сына, и способность совершить «чудо» приобретает принципиальный смысл:

она характеризует истинное земное призвание христианина, смысл веры и образец благочестивой жизни. Причем критерий объективный — чудо, да и судья предельно авторитетный — сам всевышний, от которого оно зависит.

Для самой Каталины, образцовых прихожан и служителей церкви выбор однозначен: это Бласко де Валеро, епископ Сеговии, всю жизнь посвятивший себя борьбе за чистоту веры и уже при жизни почитаемый за святого. С нескрываемым сарказмом писатель поддерживает эту версию, основанную на удивительных заслугах и подвигах прославленного иерарха. В своем «священном» неистовстве он, например, потребовал от мирян «доносить о том, что может привести к греху или преступлению в ереси. Каждому из присутствующих он вменял в долг показывать на ближнего своего, сыну — на отца, жене — на мужа». Страстный призыв возымел надлежащее действие, и вскоре в «местное отделение Святой палаты посыпались доносы» и буйно запылали костры с корчившимися на них «еретиками». А когда властей стало беспокоить процветание трудолюбивых морисков и они уже склонялись к мысли — использовать для их истребления машину инквизиции, то фра Бласко в блестящей проповеди обнаружил редкое великодушие. Он предложил «отправить морисков на Ньюфаундленд, предварительно кастрировав всех мужчин, чтобы они умерли там естественной смертью». Возможно, это предложение и стало причиной, почему он получил «пост инквизитора в таком важном для Испании городе, как Валенсия». С уверенностью, подкрепленной горячей молитвой, ибо перед ним открывалась возможность совершить великий подвиг во славу всевышнего и Святой палаты, он взялся за полное уничтожение еретиков, «и страх, как осенний туман, поглотил город». Моэм саркастически отмечает: «И как не упомянуть о мило-

сердии инквизиторов. Не смерти еретика желал он, но спасения его бессмертной души».

Аббатиса Беатрис де Сан Доминго проявила безудержную энергию, чтобы прославить свой монастырь, на ступеньках которого дева Мария разговаривала с Каталиной, чтобы организовать «исцеление». Но чуда не произошло — выбор пал не на того.

На авансцену выступает брат епископа, человек не менее заслуженный и известный. «Ему не потребовалось много времени, чтобы понять, что сильный всегда прав. И он беззастенчиво грабил захваченные города и брал взятки за оказываемые услуги» и стал почитаемым военачальником. Он уверенно доказывает свой приоритет в святости. «Ты сжег на кострах каких-нибудь две дюжины еретиков,— говорит он епископу,— а я во славу господа убивал их тысячами, разрушал дома и сжигал посевы. Я предавал мечу цветущие города, не щадя ни стариков, ни женщин, ни детей». Его жертвами были голландцы, которые «предали веру и короля и заслужили смерть. Никто не сможет отрицать, что я хорошо служил господу богу». Что ж, доводы неотразимы, а чудо снова не свершилось.

Но то, что поставило в тупик признанных авторитетов, с самого начала было ясно Доминго, беспутному брату матери Каталины. По причине упрямства, распущенности и пристрастия к выпивке он в свое время отказался от священного сана. Именно ему, богохульнику и похабнику, сразу же открылся тайный смысл божественного пророчества, который мог вызвать лишь истерический смех у богочестивых христиан: «лучше всех служил богу» не аскетический фанатик и не беспринципный грабитель-рыцарь, но третий брат, Мартин, пекарь, который добросовестно служил людям, проявлял доброту и сострадание, был единственным, кто заботился о родителях, а главное — был естественным

в своих переживаниях и поступках и «не тяготился своей судьбой». И если у бога есть здравый смысл (излюбленная идея Моэма), считал Доминго, то именно его он должен был иметь в виду.

Так конкретизируется принципиальное кредо писателя: не пустая светская мишура, не респектабельность, за которой скрывается ханжество, не заемная мудрость, а собственные нравственные убеждения, духовная независимость и свобода — таковы высшие ценности жизни. Больше того, если в человеке осталась хоть частица совести, то такие простые чувства и теплота способны взять верх над самыми фанатическими порывами или, во всяком случае, представлять для них постоянную угрозу. В «Узорном покрове» родовитая аббатиса сохранила свою «драматическую святость». В «Каталине» автор настроен более решительно. Когда закосневшая в церковно-светских интригах и сжегшая, казалось, все мосты, связывающие ее с миром человеческих переживаний, Беатрис де Сан Доминго решила принудить Каталину стать монахиней, а та ответила, что любит жениха больше, чем жизнь, чего аббатисе не понять, потому что она «никогда не испытывала страданий и блаженства любви», несгибаемая «невеста Христова» разразилась слезами: «Как ей могло прийти в голову разбить сердце бедняжке, по собственному опыту зная, что это значит для юной души». И она сделала все, чтобы помочь девушке.

Не устоял перед нравственным гневом автора и ревностный епископ, который, кстати сказать, и был тем юношей, который страстно любил аббатису и вызывал у нее взаимное чувство. Толчком к этому послужило театральное представление. Хотя в те времена в театре игрались пьесы преимущественно на религиозные сюжеты, естественность человеческих чувств и переживаний актеров противостояла казенной церковности,

была формой выражения духовного мира простых людей. С. Моэм придает этой конфронтации принципиальное значение (кстати сказать, она во многом определяет и фабулу романа), а поэтому в союзники берет самого Рыцаря Печального Образа, который не только охраняет сон юных влюбленных, но и авторитетно одобряет их вступление в труппу бродячих актеров: «Те, кто пишет пьесы, и те, кто играет их, заслуживают нашей любви и уважения, ибо они умножают добро».

Епископ был сражен игрой Каталины. «Столь живым было это повествование, столь удачны подобранные слова и сладкозвучные стихи, что я не мог заставить себя не слушать»,— исповедовался он Доминго.— Когда я смотрел на актрису, продолжал он, «луч света пронзил темную ночь, в которой я блуждал столько лет. Он проник в мое сердце, и я застыл в блаженстве... В тот незабываемый момент я прикоснулся к мудрости бога и познал его тайны. Лишь добро осталось во мне, отринув все зло». И Доминго обратно летел словно на крыльях. «Магия театра,— пробормотал Доминго, довольно хмыкнув.— Искусство тоже может творить чудеса». Ибо именно он, никому не известный драматург, ничтожный писец, написал строки, так глубоко тронувшие епископа...»

Да и долг, повинуясь которому епископ истреблял «еретиков», он, оказывается, понимал не по-божески. Его незапятнанное служение было омрачено «грехом», который, как он полагал, и был причиной неудавшегося чуда. В свое время он сблизился с добрым и честным греком, почитателем античных философов, что считалось смертным грехом. Схваченный инквизицией и подвергнутый страшным пыткам, он не отказался от своих взглядов и даже не испытал гнева на своих мучителей. «Вы действовали по велению совести,— успокаивал он епископа,— а что еще можно требовать от человека».

Не страшили его и вечные муки: «У бога много имен... Но среди множества приписываемых ему качеств главным, как указывал еще Сократ... является справедливость. Он, несомненно, понимает, что человек верит не в то, во что должен, а в то, во что может, и я просто не могу представить, что он будет карать свои создания за поступки, в которых они не виноваты».

Бессильный спасти его, фра Бласко засвидетельствовал, что перед смертью грек признал свои заблуждения. И прежде чем предать огню, его неприметно задушили — гуманная услуга, которую инквизиция, шантажируя обреченные жертвы, оказывала раскаявшимся «еретикам». Но, оказывается, прав был свободомыслящий грек. Явившись епископу накануне его смерти, он поведал, что не в ад, а на острова блаженных попала его душа. «Там он нашел Сократа, окруженного, как всегда, юношами-учениками, задающего вопросы и отвечающего на них. Видел он мирно беседующих Платона и Аристотеля, Софокла, упрекающего Эврипида за то, что тот погубил драму своими новациями, и многих, многих других». Словом, именно тех закоренелых «еретиков», за чтение работ которых епископ без всяких колебаний предавал живые человеческие существа костру.

* * *

Подошел конец повествованию, и в сложных сюжетных поворотах рельефно выделилась судьба двух пар, наделенных высшим земным даром — даром благородной взаимной любви. Но распорядились им они по-разному. Аббатиса и епископ отбросили его ради неистового служения божественному промыслительству. И лишь на склоне земного существования постоянно дремавший внутри напор внутренних сил заставил каждого по-

своему задуматься: а не бесплодной была эта жертва? Для Каталины и ее возлюбленного Диего Мартинеса подобные переживания особой роли не играли: они поступили так, как их призывали взаимные чувства, а поэтому им стали доступны нехитрые, но естественные земные радости и хлопоты.

Описанием судьбы этих пар С. Моэм сурово распрощался со своей юношеской верой и ее фанатическими глашатаями.

Не исключено, что читатель, отмеченный особой проницательностью, сухо спросит: «А что, это действительно была дева Мария и действительно происходили чудеса?» В ответе не должно быть ни тени колебания: да, в «Каталине» все происходило так, как засвидетельствовал автор. Как было некое сверхъестественное создание в «Хромом бесе» Лесажа, Мефистофель в «Фаусте» Гете, как был Воланд в «Мастере и Маргарите» Булгакова, наделавший, как известно, в Москве много шума. И уж наверняка у Сервантеса был Дон-Кихот: иначе кто бы еще сражался с ветряными мельницами и предложил С. Моэму охранять сон Каталины и ее молодого мужа?

Л. Митрохин

РАССКАЗЫ

ДОЖДЬ

Скоро время ложиться, а завтра, когда они проснутся, уже будет видна земля. Доктор Макфейл закурил трубку и, опираясь на поручни, стал искать среди созвездий Южный Крест. После двух лет на фронте и раны, которая заживала дольше, чем следовало бы, он был рад поселиться на год в Тихой Апии, и путешествие уже принесло ему заметную пользу. Так как на следующее утро некоторым пассажирам предстояло сойти в Паго-Паго, вечером на корабле были устроены танцы, и в ушах у доктора все еще отдавались резкие звуки пианолы. Теперь, наконец, на палубе воцари-

лось спокойствие. Неподалеку он увидел свою жену, занятую разговором с Дэвидсонами, и неторопливо направился к ее шезлонгу. Когда он сел под фонарем и снял шляпу, оказалось, что у него огненно-рыжие волосы, плешь на макушке и обычная для рыжих людей красноватая веснушчатая кожа. Это был человек лет сорока, худой, узколицый, аккуратный и немного педант. Он говорил с шотландским акцентом, всегда негромко и спокойно.

Между Макфейлами и Дэвидсонами — супругами-миссионерами — завязалась пароходная дружба, возникающая не из-за близости взглядов и вкусов, а благодаря неизбежно частым встречам. Больше всего их объединяла неприязнь, которую все четверо испытывали к пассажирам, проводившим дни и ночи в курительном салоне за покером, бриджем и вином. Миссис Макфейл немножко гордилась тем, что они с мужем были единственными людьми на борту, которых Дэвидсоны не сторонились, и даже сам доктор, человек застенчивый, но отнюдь не глупый, в глубине души чувствовал себя польщенным. И только потому, что у него был критический склад ума, он позволил себе поворчать, когда они в этот вечер ушли в свою каюту.

— Миссис Дэвидсон говорила мне, что не знает, как бы они выдержали эту поездку, если бы не мы,— сказала миссис Макфейл, осторожно выпутывая из волос накладку.— Она сказала, что, кроме нас, им просто не с кем было бы здесь познакомиться.

— По-моему, миссионер — не такая уж важная птица, чтобы чваниться.

— Это не чванство. Я очень хорошо ее

понимаю. Дэвидсонам не подходит грубое общество курительного салона.

— Основатель их религии не был так разборчив,— со смешком заметил доктор.

— Сколько раз я просила тебя не шутить над религией,— сказала его жена.— Не хотела бы я иметь твой характер, Алек. Ты ищешь в людях только дурное.

Он искоса посмотрел на нее своими бледно-голубыми глазами, но промолчал. Долгие годы супружеской жизни убедили его, что ради мира в семье последнее слово следует оставлять за женой. Он кончил раздеваться раньше ее и, забравшись на верхнюю полку, устроился почитать перед сном.

Когда на следующее утро доктор вышел на палубу, земля была совсем близко. Он жадно смотрел на нее. Узкая полоска серебряного пляжа сразу сменялась крутыми горами, вплоть до вершин покрытыми пышной растительностью. Среди зелени кокосовых пальм, спускавшихся почти к самой воде, виднелись травяные хижины самоанцев и кое-где белели церквушки. Миссис Дэвидсон вышла на палубу и остановилась рядом с доктором. Она была одета в черное, на шее — золотая цепочка с крестиком. Это была маленькая женщина с тщательно приглаженными тусклыми каштановыми волосами и выпуклыми голубыми глазами за стеклами пенсне. Несмотря на длинное овечье лицо, она не казалась простоватой, а, наоборот, настороженной и энергичной. У нее были быстрые птичьи движения. Самым примечательным в ней был голос — высокий, металлический, лишенный всякой интонации; он бил по барабанным перепонкам с неумолимым

однообразием, раздражая нервы, как безжалостное жужжание пневматического сверла.

— Вы, наверное, чувствуете себя почти дома,— сказал доктор Макфейл с обычной слабой, словно вымученной улыбкой.

— Видите ли, наши острова непохожи на эти — они плоские. Коралловые. А эти — вулканические. Нам осталось еще десять дней пути.

— В здешних краях это то же, что на родине — соседний переулок,— пошутил доктор.

— Ну, вы, разумеется, преувеличиваете, однако в Южных морях расстояния действительно кажутся другими. В этом отношении вы совершенно правы.

Доктор Макфейл слегка вздохнул.

— Я рада, что наша миссия не на этом острове,— продолжала она.— Говорят, здесь почти невозможно работать. Сюда заходит много пароходов, а это развращает жителей; и, кроме того, здесь стоят военные корабли, что дурно влияет на туземцев. В нашем округе нам не приходится сталкиваться с подобными трудностями. Ну, разумеется, там живут два-три торговца, но мы следим, чтобы они вели себя как следует, а в противном случае мы их так допекаем, что они бывают рады уехать.

Поправив пенсне, она устремила на зеленый остров беспощадный взгляд.

— Стоящая перед здешними миссионерами задача почти неразрешима. Я неустанно благодарю бога, что по крайней мере это испытание нас миновало.

Округ Дэвидсона охватывал группу островов к северу от Самоа; их разделяли большие расстояния, и ему нередко приходилось совершать

на пироге далекие поездки. В таких случаях его жена оставалась управлять миссией. Доктор Макфейл вздрогнул, представив себе, с какой неукротимой энергией она, вероятно, это делает. Она говорила о безнравственности туземцев с елейным негодованием, но не понижая голоса. Ее понятия о нескромности были несколько своеобразными. В самом начале их знакомства она сказала ему:

— Представьте себе, когда мы только приехали, брачные обычаи на наших островах были столь возмутительны, что я ни в коем случае не могу вам их описать. Но я расскажу миссис Макфейл, а она расскажет вам.

Затем он в течение двух часов смотрел, как его жена и миссис Дэвидсон, сдвинув шезлонги, вели оживленный разговор. Прохаживаясь мимо них, чтобы размяться, он слышал возбужденный шепот миссис Дэвидсон, напоминавший отдаленный рев горного потока, и, видя побледневшее лицо и полураскрытый рот жены, догадывался, что она замирает от блаженного ужаса. Вечером, когда они ушли к себе в каюту, она, захлебываясь, передала ему все, что услышала.

— Ну, что я вам говорила? — торжествуя, вскричала миссис Дэвидсон на следующее утро.— Ужасно, не правда ли? Теперь вас не удивляет, что я сама не осмелилась рассказать вам все это? Несмотря даже на то, что вы доктор.

Миссис Дэвидсон пожирала его глазами. Она жаждала убедиться, что достигла желаемого эффекта.

— Не удивительно, что вначале у нас опустились руки. Не знаю, поверите ли вы, когда я скажу, что во всех деревнях нельзя было отыскать ни одной порядочной девушки.

Она употребила слово «девушка» в строго техническом значении.

— Мы с мистером Дэвидсоном обсудили положение и решили, что в первую очередь надо положить конец танцам. Эти туземцы жить не могли без танцев.

— В молодости я и сам был не прочь поплясать,— сказал доктор Макфейл.

— Я так и подумала вчера вечером, когда услышала, как вы приглашали миссис Макфейл на тур вальса. Я не вижу особого вреда в том, что муж танцует с женой, но все же я была рада, когда она отказалась. Я считаю, что при данных обстоятельствах нам лучше держаться особняком.

— При каких обстоятельствах?

Миссис Дэвидсон бросила на него быстрый взгляд сквозь пенсне, но не ответила.

— Впрочем, у белых это не совсем то,— продолжала она,— хотя я вполне согласна с мистером Дэвидсоном, когда он говорит, что не понимает человека, который может спокойно стоять и смотреть, как его жену обнимает чужой мужчина, и я лично ни разу не танцевала с тех пор, как вышла замуж. Но туземные танцы — совсем другое дело. Они не только сами безнравственны, они совершенно очевидно приводят к безнравственности. Однако, благодарение богу, мы с ними покончили, и вряд ли я ошибусь, если скажу, что в нашем округе уже восемь лет как танцев нет и в помине.

Теперь пароход приблизился ко входу в бухту, и миссис Макфейл тоже поднялась на палубу. Пароход круто повернул и медленно вошел в гавань. Это была большая, почти замкнутая бухта,

в которой мог свободно поместиться целый флот, а вокруг нее отвесно уходили ввысь зеленые горы. У самого пролива, там, куда с моря еще достигал бриз, виднелся окруженный садом дом губернатора. С флагштока лениво свисал американский флаг. Они миновали два-три аккуратных бунгало и теннисный корт и причалили к застроенной складами пристани. Миссис Дэвидсон показала Макфейлам стоявшую ярдах в трехстах от стенки шхуну, на которой им предстояло отправиться в Апию. По пристани оживленно сновали веселые добродушные туземцы, собравшиеся со всего острова, кто — поглазеть, а кто — продать что-нибудь пассажирам, направляющимся дальше, в Сидней; они принесли ананасы, огромные связки бананов, циновки, ожерелья из раковин или зубов акулы, чаши для кавы и модели военных пирог. Среди них бродили аккуратные, подтянутые американские моряки с чисто выбритыми, веселыми лицами; в стороне стояла кучка портовых служащих. Пока выгружали багаж, Макфейлы и миссис Дэвидсон разглядывали толпу. Доктор Макфейл смотрел на кожу детей и юношей, пораженную фрамбезией — уродливыми болячками, напоминавшими застарелые язвы, и его глаза блестели от профессионального интереса, когда он впервые в жизни увидел больных слоновой болезнью — огромные бесформенные руки, чудовищные волочащиеся ноги. И мужчины и женщины были в лава-лава.

— Очень неприличный костюм,— сказала миссис Дэвидсон.— Мистер Дэвидсон считает, что его необходимо запретить в законодательном порядке. Как можно требовать от людей нравственности, если они носят только красную тряпку на чреслах?

— Костюм весьма подходящий для здешнего климата,— отозвался доктор, вытирая пот со лба.

Теперь, когда они очутились на суше, жара, несмотря на ранний час, стала невыносимой. Закрытый со всех сторон горами, Паго-Паго задыхался.

— На наших островах,— продолжала миссис Дэвидсон своим пронзительным голосом,— мы практически искоренили лава-лава. В них ходят только несколько стариков. Все женщины носят длинные балахоны, а мужчины — штаны и рубашки. В самом начале нашего пребывания там мистер Дэвидсон написал в одном из отчетов: «Обитатели этих островов по-настоящему проникнутся христианским духом только тогда, когда всех мальчиков старше десяти лет заставят носить штаны».

Миссис Дэвидсон, птичьим движением повернув голову, взглянула на тяжелые серые тучи, которые, клубясь, поднимались над входом в бухту. Упали первые капли дождя.

— Нам лучше где-нибудь укрыться,— сказала она.

Они последовали за толпой под большой навес из гофрированного железа, и начался ливень. Они простояли там некоторое время, а затем к ним присоединился мистер Дэвидсон. Правда, на пароходе он несколько раз вежливо побеседовал с Макфейлами, но, не разделяя любви своей жены к обществу, большую часть времени проводил за чтением. Это было молчаливый, мрачный человек, и чувствовалось, что, стараясь быть любезным, он только выполняет возложенный на себя долг христианина; характер у него был замкнутый,

чтобы не сказать — угрюмый. Его внешность производила странное впечатление. Он был очень высок и тощ, с длинными, словно развинченными руками и ногами, впалыми щеками и торчащими скулами; при такой худобе его полные чувственные губы казались особенно удивительными. Он носил длинные волосы. Его темные, глубоко посаженные глаза были большими и печальными, а красивые руки с длинными пальцами наводили на мысль о большой физической силе. Но особенно поражало вызываемое им ощущение скрытого и сдерживаемого огня. В нем было что-то грозное и смутно тревожное. Это был человек, с которым дружеская близость невозможна.

Теперь он принес неприятную новость. На острове свирепствовала корь — болезнь для канаков очень серьезная и часто смертельная,— один из матросов шхуны, на которой они должны были плыть дальше, тоже заболел. Его свезли на берег и положили в карантинное отделение госпиталя, но из Апии по телеграфу отказались принять шхуну, пока не будет установлено, что больше никто из команды не заразился.

— Это означает, что нам придется пробыть здесь не меньше десяти дней.

— Но ведь меня ждут в Апии,— сказал доктор Макфейл.

— Ничего не поделаешь. Если на шхуне больше никто не заболеет, ей разрешат отплыть с белыми пассажирами, туземцам же всякие плавания запрещены на три месяца.

— Здесь есть отель? — спросила миссис Макфейл.

— Нет,— с тихим смешком ответил Дэвидсон.

— Так что же нам делать?

— Я уже говорил с губернатором. На приморском шоссе живет торговец, который сдает комнаты, и я предлагаю, как только кончится дождь, пойти посмотреть, нельзя ли там устроиться. Не ждите особых удобств. Нам повезет, если мы найдем себе постели и крышу над головой.

Но дождь все не ослабевал, и в конце концов они тронулись в путь, накинув плащи и взяв зонтики. Поселок состоял из нескольких служебных зданий, двух лавочек и кучки туземных хижин, ютившихся среди плантаций и кокосовых пальм. Дом, о котором шла речь, находился в пяти минутах ходьбы от пристани. Это был стандартный дом в два этажа, с большой верандой на каждом и с крышей из гофрированного железа. Его владелец, метис по фамилии Хорн, женатый на туземке, вечно окруженной смуглыми детишками, торговал в лавке на нижнем этаже консервами и ситцем. В комнатах, которые он им показал, почти не было мебели. У Макфейлов стояла только старая расшатанная кровать под рваной москитной сеткой, колченогий стул и умывальник. Они оглядывались по сторонам в полном унынии. Дождь все лил и лил, не переставая.

— Я достану только самое необходимое,— сказала миссис Макфейл.

Когда она распаковывала чемодан, в комнату вошла миссис Дэвидсон. Она была полна кипучей энергии. Безрадостная обстановка совершенно на нее не подействовала.

— Я посоветовала бы вам как можно скорее взять иголку и заняться починкой москитной сет-

ки, — сказала она, — иначе вы всю ночь не сомкнете глаз.

— А здесь много москитов? — спросил доктор Макфейл.

— Сейчас как раз сезон для них. Когда вас пригласят в Апии на вечер к губернатору, вы увидите, что всем дамам дают наволочки, чтобы они могли спрятать в них свои... свои нижние конечности.

— Ах, если бы этот дождь прекратился хоть на минуту! — сказала миссис Макфейл. — При солнце мне было бы веселее наводить здесь уют.

— Ну, если вы собираетесь ждать этого, вам придется ждать долго. Паго-Паго — пожалуй, самое дождливое место на всем Тихом океане. Видите ли, горы и бухта притягивают влагу, а кроме того, сейчас вообще время дождей.

Она взглянула поочередно на Макфейла и на его жену, стоявших с потерянным видом в разных концах комнаты, и поджала губы. Она чувствовала, что ей придется за них взяться. Такая беспомощность вызывала в ней только раздражение, но при виде беспорядка у нее всегда начинали чесаться руки.

— Вот что: дайте мне иголку с ниткой, и я заштопаю вашу сетку, пока вы будете распаковывать вещи. Обед подадут в час. Доктор, вам следовало бы сходить на пристань приглядеть, чтобы ваш багаж убрали в сухое помещение. Вы же знаете, что такое туземцы — они вполне способны сложить его там, где его будет поливать дождь.

Доктор снова надел плащ и спустился по лестнице. В дверях стоял мистер Хорн. Он разгова-

ривал с боцманом привезшего их парохода и пассажиркой второго класса, которую доктор Макфейл несколько раз видел во время плавания. Боцман, приземистый, сморщенный и необыкновенно грязный человек, кивнул ему, когда он проходил мимо.

— Скверное дело вышло с корью, а, доктор? — сказал он.— Вы как будто уже устроились?

Доктор Макфейл подумал, что боцман слишком фамильярен, но он был застенчив, да и обижаться было не в его характере.

— Да, мы сняли комнату на втором этаже.

— Мисс Томпсон собирается плыть с вами в Апию, вот я и привел ее сюда.

Боцман большим пальцем указал на свою спутницу. Это была женщина лет двадцати семи, полная, с красивым, но грубым лицом, в белом платье и большой белой шляпе. Ее жирные икры, обтянутые белыми бумажными чулками, нависали над верхом белых лакированных сапожек. Она льстиво улыбнулась Макфейлу.

— Этот типчик хочет содрать с меня полтора доллара в день за какую-то конуру,— сказала она хриплым голосом.

— Послушай, Джо, я же тебе говорю, что она моя хорошая знакомая,— сказал боцман,— и больше доллара в день платить не может, ну и нечего тебе запрашивать больше.

Торговец был жирный, любезный и всегда улыбался.

— Ну, если вы так ставите вопрос, мистер Суон, я посмотрю, нельзя ли что-нибудь устроить. Я поговорю с миссис Хорн, и если мы решим, что можно сделать скидку, то сделаем.

— Со мной этот номер не пройдет,— сказала

мисс Томпсон.— Мы покончим все это дело сейчас. Я плачу за эту комнатушку доллар в день и ни шиша больше.

Доктор Макфейл улыбнулся. Его восхищала наглость, с какой она торговалась. Сам он был из тех людей, которые всегда платят столько, сколько с них требуют. Он предпочитает переплачивать, лишь бы не торговаться. Хорн вздохнул.

— Хорошо, ради мистера Суона я согласен.

— Вот это разговор,— сказала мисс Томпсон.— Ну, так заходите, и вспрыснем это дело. Берите мой чемоданчик, мистер Суон, в нем найдется неплохое виски. Заходите и вы, доктор.

— Благодарю вас, но мне придется отказаться,— ответил он.— Я иду на пристань приглядеть за багажом.

Он вышел под дождь. Над бухтой проносились косые полосы ливня, и противоположного берега почти не было видно. Он встретил несколько туземцев, одетых только в лава-лава; в руках у них были большие зонты. Они держались прямо, и их неторопливая походка была очень красива; проходя мимо, они улыбались ему и здоровались с ним на непонятном языке.

Он вернулся к самому обеду; стол для них был накрыт в гостиной торговца. Это была парадная комната, которой пользовались только в торжественных случаях, и вид у нее был нежилой и грустный. Вдоль стен были аккуратно расставлены стулья, обитые узорным плюшем, а на потолке висела позолоченная люстра, завернутая от мух в желтую папиросную бумагу. Дэвидсона не было.

— Он пошел с визитом к губернатору,—

объяснила миссис Дэвидсон,— и его, наверное, оставили там обедать.

Маленькая девочка-туземка внесла блюдо бифштексов по-гамбургски, а через некоторое время в комнату вошел сам хозяин, чтобы узнать, всем ли они довольны.

— Кажется, у нас появилась новая соседка, мистер Хорн? — сказал доктор Макфейл.

— Она только сняла комнату,— ответил торговец.— Столоваться она у меня не будет.

Он поглядел на обеих женщин с заискивающей улыбкой.

— Я поместил ее внизу, чтобы она вам не мешала. Она вас не побеспокоит.

— Она приехала на нашем пароходе? — спросила миссис Макфейл.

— Да, мэм, во втором классе. Она едет в Апию. Получила там место кассирши.

— А!

Когда торговец ушел, Макфейл сказал:

— Ей, наверно, скучно обедать одной у себя в комнате.

— Если она ехала вторым классом, то, надо полагать, это ее вполне устраивает,— сказала миссис Дэвидсон.— Я не совсем представляю себе, кто бы это мог быть.

— Я проходил мимо, когда боцман привел ее сюда. Ее фамилия Томпсон.

— Не она ли вчера танцевала с боцманом? — спросила миссис Дэвидсон.

— Пожалуй,— сказала миссис Макфейл.— Я еще тогда подумала: кто она такая? Она показалась мне чересчур развязной.

— Да, ничего хорошего,— согласилась миссис Дэвидсон.

Они заговорили о другом, а после обеда разошлись, чтобы вздремнуть, так как утром встали непривычно рано. Когда они проснулись, небо было по-прежнему затянуто серыми тучами, но дождь перестал, и они решили пройтись по шоссе, которое американцы провели вдоль берега бухты.

Когда они вернулись, их встретил Дэвидсон — он тоже только что вошел в дом.

— Нас могут задержать здесь на две недели,— недовольно сказал он.— Я возражал, но губернатор говорит, что ничего нельзя сделать.

— Мистеру Дэвидсону не терпится вернуться к своей работе,— сказала его жена, обеспокоенно поглядев на него.

— Мы отсутствовали целый год,— подтвердил он, меряя шагами веранду.— Миссия оставлена на миссионеров-туземцев, и я очень боюсь, что они все запустили. Это весьма достойные люди, я ни в чем не могу их упрекнуть: богобоязненные, благочестивые, истинные христиане — их христианство посрамило бы многих и многих так называемых христиан у нас на родине,— но до крайности бездеятельные. Они могут проявить твердость один раз, два раза, но быть твердыми всегда они не могут. Когда оставляешь миссию на миссионера-туземца, то, каким бы надежным он ни казался, через некоторое время непременно начнутся злоупотребления.

Мистер Дэвидсон остановился у стола. Его высокая сухопарая фигура и бледное лицо с огромными сверкающими глазами были очень внушительны, пламенные жесты и звучный низкий голос дышали глубочайшей искренностью.

— Я знаю, что мне предстоит большая работа.

Я стану действовать — и действовать безотлагательно. Если дерево сгнило, оно будет срублено и предано огню.

А вечером, после заменявшего ужин позднего чая, пока они сидели в чопорной гостиной — дамы с вязаньем, а доктор с трубкой,— миссионер рассказал им о своей работе на островах.

— Когда мы приехали туда, они совершенно не понимали, что такое грех,— говорил он.— Они нарушали заповеди одну за другой, не сознавая, что творят зло. Я бы сказал, что самой трудной задачей, стоявшей передо мной, было привить туземцам понятие о грехе.

Макфейлы уже знали, что Дэвидсон провел пять лет на Соломоновых островах еще до того, как познакомился со своей будущей женой. Она была миссионером в Китае, и они встретились в Бостоне, куда приехали во время отпуска на съезд миссионеров. После брака они получили назначение на эти острова, где и трудились с тех пор на ниве господней.

Разговаривая с мистером Дэвидсоном, доктор и его жена каждый раз удивлялись мужеству и упорству этого человека. Он был не только миссионером, но и врачом, и его помощь в любое время могла потребоваться на одном из островов группы. В сезон дождей даже вельбот — ненадежное средство передвижения по бушующим валам Тихого океана, а за ним часто присылали просто пирогу, и тогда опасность бывала очень велика. Если его звали к больному или раненому, он никогда не колебался. Десятки раз ему приходилось всю ночь напролет вычерпывать воду, чтобы избежать гибели, и порою миссис Дэвидсон уже теряла надежду вновь его увидеть.

— Иногда я просто умоляю его не ездить,— сказала она,— или хотя бы подождать, пока море немного утихнет, но он ничего не слушает. Он упрям, и, если уж примет решение, его ничто не может остановить.

— Как мог бы я учить туземцев уповать на господа, если бы сам страшился уповать на него? — вскричал Дэвидсон.— Но я не страшусь, не страшусь. Присылая за мной в час беды, они знают, что я приеду, если это в человеческих силах. И неужели вы думаете, что господь оставит меня, когда я творю волю его? Ветер дует по его велению, и бурные волны вздымаются по его слову.

Доктор Макфейл был робким человеком. Он так и не сумел привыкнуть к визгу шрапнели над окопами, и, когда он оперировал раненых на передовых позициях, по его лбу, затуманивая очки, катился пот — так напряженно он заставлял слушаться свои дрожащие руки. Он поглядел на миссионера с легким трепетом.

— Я был бы рад, если бы мог сказать, что никогда не боялся.

— Я был бы рад, если бы вы могли сказать, что верите в бога,— возразил Дэвидсон.

Почему-то в этот вечер мысли миссионера то и дело возвращались к первым дням их пребывания на островах.

— Порой мы с миссис Дэвидсон смотрели друг на друга, а по нашим щекам текли слезы. Мы работали без устали дни и ночи напролет, но труд наш, казалось, не приносил никаких плодов. Я не знаю, что бы я делал без нее. Когда у меня опускались руки, когда я готов был отчаяться, она ободряла меня и поддерживала во мне мужество.

Миссис Дэвидсон потупила глаза на вязанье, и ее худые щеки слегка порозовели. Она не могла говорить от избытка чувств.

— Нам не от кого было ждать помощи. Мы были одни среди тьмы, и тысячи миль отделяли нас от людей, близких нам по духу. Когда уныние и усталость овладевали мной, она откладывала свою работу, брала Библию и читала мне, и мир нисходил в мою душу, как сон на глаза младенца, а закрыв наконец священную книгу, она говорила: «Мы спасем их вопреки им самим». И я чувствовал, что господь снова со мной, и отвечал: «Да, с божьей помощью я спасу их. Я должен их спасти».

Он подошел к столу и стал перед ним, словно перед аналоем.

— Видите ли, безнравственность была для них так привычна, что невозможно было объяснить им, как дурно они поступают. Нам приходилось учить их, что поступки, которые они считали естественными,— грех. Нам приходилось учить их, что не только прелюбодеяние, ложь и воровство — грех, но что грешно обнажать свое тело, плясать, не посещать церкви. Я научил их, что девушке грешно показывать грудь, а мужчине грешно ходить без штанов.

— Как вам это удалось? — с некоторым удивлением спросил доктор Макфейл.

— Я учредил штрафы. Ведь само собой разумеется, что единственный способ заставить человека понять греховность какого-то поступка — наказывать его за этот поступок. Я штрафовал их, если они не приходили в церковь, и я штрафовал их, если они плясали. Я штрафовал их, если их одежда была неприлична. Я установил тариф,

и за каждый грех приходилось платить деньгами или работой. И в конце концов я заставил их понять.

— И они ни разу не отказались платить?

— А как бы они это сделали? — спросил миссионер.

— Надо быть большим храбрецом, чтобы осмелиться противоречить мистеру Дэвидсону,— сказала его жена, поджимая губы.

Доктор Макфейл тревожно поглядел на Дэвидсона. То, что он услышал, глубоко возмутило его, но он не решался высказать свое неодобрение вслух.

— Не забывайте, что в качестве последней меры я мог исключить их из церковной общины.

— А они принимали это близко к сердцу?

Дэвидсон слегка улыбнулся и потер руки.

— Они не могли продавать копру. И не имели доли в общем улове. В конечном счете это означало голодную смерть. Да, они принимали это очень близко к сердце.

— Расскажи ему про Фреда Олсона,— сказала миссис Дэвидсон.

Миссионер устремил свои горящие глаза на доктора Макфейла.

— Фред Олсон был датским торговцем и много лет прожил на наших островах. Для торговца он был довольно богат и не слишком-то обрадовался нашему приезду. Понимаете, он привык делать там все, что ему заблагорассудится. Туземцам за их копру он платил, сколько хотел, и платил товарами и водкой. Он был женат на туземке, но открыто изменял ей. Он был пьяницей. Я дал ему возможность исправиться, но он не воспользовался ею. Он высмеял меня.

Последние слова Дэвидсон произнес глубоким басом и минуты две молчал. Наступившая тишина была полна угрозы.

— Через два года он был разорен. Он потерял все, что накопил за двадцать пять лет. Я сломил его, и в конце концов он был вынужден прийти ко мне, как нищий, и просить у меня денег на проезд в Сидней.

— Видели бы вы его, когда он пришел к мистеру Дэвидсону,— сказала жена миссионера.— Прежде это был крепкий, бодрый мужчина, очень толстый и шумный; а теперь он исхудал, как щепка, и весь трясся. Он сразу стал стариком.

Дэвидсон невидящим взглядом посмотрел за окно во мглу. Снова лил дождь.

Вдруг внизу раздались какие-то звуки; Дэвидсон повернулся и вопросительно поглядел на жену. Это громко и хрипло запел граммофон, выкашливая разухабистый мотив.

— Что это? — спросил миссионер.

Миссис Дэвидсон поправила на носу пенсне.

— Одна из пассажирок второго класса сняла здесь комнату. Наверное, это у нее.

Они замолкли, прислушиваясь, и вскоре услышали шарканье ног — внизу танцевали. Затем музыка прекратилась и до них донеслись оживленные голоса и хлопанье пробок.

— Должно быть, она устроила прощальный вечер для своих знакомых с парохода,— сказал доктор Макфейл.— Он, кажется, отходит в двенадцать?

Дэвидсон ничего не ответил и поглядел на часы.

— Ты готова? — спросил он жену.

Она встала и свернула вязанье.

— Да, конечно.

— Но ведь сейчас рано ложиться? — заметил доктор.

— Нам еще надо заняться чтением,— объяснила миссис Дэвидсон.— Где бы мы ни были, мы всегда перед сном читаем главу из Библии, разбираем ее со всеми комментариями и подробно обсуждаем. Это замечательно развивает ум.

Супружеские пары пожелали друг другу спокойной ночи. Доктор и миссис Макфейл остались одни. Несколько минут они молчали.

— Я, пожалуй, схожу за картами,— сказал наконец доктор.

Миссис Макфейл посмотрела на него с некоторым сомнением. Разговор с Дэвидсонами оставил у нее неприятный осадок, но она не решалась сказать, что, пожалуй, не стоит садиться за карты, когда Дэвидсоны в любую минуту могут войти в комнату. Доктор Макфейл принес свою колоду, и его жена, почему-то чувствуя себя виноватой, стала смотреть, как он раскладывает пасьянс. Снизу по-прежнему доносился шум веселья.

На следующий день немного прояснилось, и Макфейлы, осужденные на две недели безделья в Паго-Паго, принялись устраиваться. Они сходили на пристань, чтобы достать из своих чемоданов книги. Доктор сделал визит главному врачу флотского госпиталя и сопровождал его при обходе. Они оставили свои визитные карточки у губернатора. На шоссе они повстречали мисс Томпсон. Доктор снял шляпу, а она громко и весело крикнула ему: «С добрым утром, доктор!» Как и накануне, она была в белом платье, и ее лакированные белые сапожки на высоких каблу-

ках и жирные икры, нависающие над их верхом, как-то не вязались с окружающей экзотической природой.

— Признаться, я не сказала бы, что ее костюм вполне уместен,— заметила миссис Макфейл.— Она мне кажется очень вульгарной.

Когда они вернулись домой, мисс Томпсон играла на веранде с темнокожим сынишкой торговца.

— Поговори с ней,— шепнул доктор жене.— Она здесь совсем одна, и просто нехорошо ее игнорировать.

Миссис Макфейл была застенчива, но она привыкла слушаться мужа.

— Если не ошибаюсь, мы соседи,— сказала она довольно неуклюже.

— Просто жуть застрять в такой дыре, правда? — ответила мисс Томпсон.— И я слыхала, что мне еще повезло с этой комнатенкой. Не хотела бы я жить в туземной хибаре, а кое-кому приходится попробовать и этого. Не понимаю, почему здесь не заведут гостиницы.

Они обменялись еще несколькими словами. Мисс Томпсон, громкоголосая и словоохотливая, явно была склонна поболтать, но миссис Макфейл быстро истощила свой небогатый ассортимент общих фраз и сказала:

— Пожалуй, нам пора домой.

Вечером, когда они собрались за чаем, Дэвидсон, войдя, сказал:

— Я заметил, что у этой женщины внизу сидят двое матросов. Непонятно, когда она успела с ними познакомиться.

— Она, кажется, не очень разборчива,— отозвалась миссис Дэвидсон.

Все они чувствовали себя усталыми после пустого, бестолкового дня.

— Если нам придется провести две недели таким образом, не знаю, что с нами будет,— сказал доктор Макфейл.

— Необходимо заполнить день различными занятиями, распределенными по строгой системе,— ответил миссионер.— Я отведу определенное число часов на серьезное чтение, определенное число часов на прогулки, какова бы ни была погода — в дождливый сезон не приходится обращать внимание на сырость,— и определенное число часов на развлечения.

Доктор Макфейл боязливо поглядел на своего собеседника. Планы Дэвидсона подействовали на него угнетающе. Они снова ели бифштекс по-гамбургски. По-видимому, повар не умел готовить ничего другого. Зато внизу заиграл граммофон. Дэвидсон нервно вздрогнул, но ничего не сказал. Послышались мужские голоса. Гости мисс Томпсон подхватили припев, а вскоре зазвучал и ее голос — громкий и сиплый. Раздались веселые крики и смех. Наверху все четверо старались поддерживать разговор, но невольно прислушивались к звяканью стаканов и шуму сдвигаемых стульев. Очевидно, пришли еще гости. Мисс Томпсон устраивала вечеринку.

— Как только они там помещаются? — неожиданно сказала мисс Макфейл, перебивая своего мужа и миссионера, обсуждавших какую-то медицинскую проблему.

Эти слова показали, о чем она думала все это время. Дэвидсон поморщился, и стало ясно, что, хотя он говорил о науке, его мысли работали в том же направлении. Вдруг, прервав доктора, который

довольно вяло рассказывал о случае из своей фронтовой практики во Фландрии, он вскочил на ноги с громким восклицанием.

— Что случилось, Альфред? — спросила миссис Дэвидсон.

— Ну, конечно же! Как я сразу не понял? Она из Иуэлеи.

— Не может быть.

— Она села на пароход в Гонолулу. Нет, это несомненно. И она продолжает заниматься своим ремеслом здесь. Здесь!

Последнее слово он произнес со страстным возмущением.

— А что такое Иуэлеи? — спросила миссис Макфейл.

Сумрачные глаза Дэвидсона обратились на нее, и его голос задрожал от отвращения.

— Чумная язва Гонолулу. Квартал красных фонарей. Это было позорное пятно на нашей цивилизации.

Иуэлеи находился на окраине города. Вы пробирались в темноте боковыми улочками мимо порта, переходили шаткий мост, попадали на заброшенную дорогу, всю в рытвинах и ухабах, и затем вдруг оказывались на свету. По обеим сторонам дороги располагались стоянки для машин, виднелись табачные лавки и парикмахерские, сияли огнями и позолотой бары, в которых гремели пианолы. Всюду чувствовалось лихорадочное веселье и напряженное ожидание. Вы сворачивали в один из узких проулков направо или налево — дорога делила Иуэлеи пополам — и оказывались внутри квартала. Вдоль широких и прямых пешеходных дорожек тянулись домики, аккуратно выкрашенные в зеленый цвет. Квартал

был распланирован, как дачный поселок. Эта респектабельная симметрия, чистота и щеголеватость выглядели отвратительной насмешкой, ибо никогда еще поиски любви не были столь систематизированы и упорядочены. Несмотря на горевшие там и сям фонари, дорожки были погружены во мрак, если бы не свет, падавший на них из открытых окон зеленых домиков. По дорожкам прогуливались мужчины, разглядывая женщин, сидевших у окон с книгой или шитьем и чаще всего не обращавших на прохожих ни малейшего внимания. Как и женщины, мужчины принадлежали ко всевозможным национальностям. Среди них были американские матросы с кораблей, стоявших в порту; военные моряки с канонерок, пьяные и угрюмые; белые и черные солдаты из расположенных на острове частей; японцы, ходившие по двое и по трое; канаки; китайцы в длинных халатах и филиппинцы в нелепых шляпах. Все они были молчаливы и словно угнетены. Желание всегда печально.

— На всем Тихом океане не было более вопиющей мерзости,— почти кричал Дэвидсон.— Миссионеры много лет выступали с протестами, и наконец за дело взялась местная пресса. Полиция не желала ударить палец о палец. Вы знаете их обычную отговорку. Они заявляют, что порок неизбежен и, следовательно, самое лучшее, когда он локализован и находится под контролем. Просто им платили. Да, платили. Им платили хозяева баров, платили содержатели притонов, платили сами женщины. В конце концов они все-таки были вынуждены принять меры.

— Я читал об этом в газетах, которые пароход взял в Гонолулу,— сказал доктор Макфейл.

— Иуэлеи, это скопище греха и позора, перестал существовать в день нашего прибытия туда. Все его обитатели были переданы в руки властей. Не понимаю, как я сразу не догадался, кто такая эта женщина.

— Теперь, когда вы об этом заговорили,— сказала миссис Макфейл,— я вспоминаю, что она поднялась на борт за несколько минут до отплытия. Помню, я еще подумала, что она поспела как раз вовремя.

— Как она смела явиться сюда! — негодующе вскричал Дэвидсон.— Я этого не потерплю!

Он решительно направился к двери.

— Что вы собираетесь делать? — спросил Макфейл.

— А что мне остается? Я собираюсь положить этому конец. Я не позволю превращать этот дом в... в...

Он искал слово, которое не оскорбило бы слуха дам. Его глаза сверкали, а бледное лицо от волнения побледнело еще больше.

— Судя по шуму, там не меньше четырех мужчин,— сказал доктор.— Не кажется ли вам, что идти туда сейчас не совсем безопасно?

Миссионер бросил на него исполненный презрения взгляд и, не говоря ни слова, стремительно вышел из комнаты.

— Вы плохо знаете мистера Дэвидсона, если думаете, что страх перед грозящей ему опасностью может помешать ему исполнить свой долг,— сказала миссис Дэвидсон.

На ее скулах выступили красные пятна; она нервно сжимала руки, прислушиваясь к тому, что происходило внизу. Они все прислушивались. Они услышали, как он сбежал по деревянным ступень-

кам и распахнул дверь. Пение мгновенно смолкло, но граммофон все еще продолжал завывать пошлый мотивчик. Они услышали голос Дэвидсона и затем звук падения какого-то тяжелого предмета. Музыка оборвалась. Очевидно, он сбросил граммофон на пол. Затем они опять услышали голос Дэвидсона — слов они разобрать не могли,— затем голос мисс Томпсон, громкий и визгливый, затем нестройный шум, словно несколько человек кричали разом во всю глотку. Миссис Дэвидсон судорожно вздохнула и еще крепче стиснула руки. Доктор Макфейл растерянно поглядывал то на нее, то на жену. Ему не хотелось идти вниз, но он опасался, что они ждут от него именно этого. Затем послышалась какая-то возня. Шум стал теперь более отчетливым. Возможно, Дэвидсона тащили из комнаты. Хлопнула дверь. Наступила тишина, и они услышали, что Дэвидсон поднимается по лестнице. Он прошел к себе.

— Пожалуй, я пойду к нему,— сказала миссис Дэвидсон.

Она встала и вышла из комнаты.

— Если я вам понадоблюсь, кликните меня,— сказала миссис Макфейл и, когда жена миссионера закрыла за собой дверь, прибавила: — Надеюсь, с ним ничего не случилось.

— И что он суется не в свое дело? — сказал доктор Макфейл.

Они просидели несколько минут в молчании, и вдруг оба вздрогнули: внизу снова вызывающе завопил граммофон и хриплые голоса принялись с издевкой выкрикивать непристойную песню.

На следующее утро миссис Дэвидсон была бледна. Она жаловалась на головную боль и

выглядела постаревшей. Она сказала миссис Макфейл, что миссионер всю ночь не сомкнул глаз и был страшно возбужден, а в пять часов встал и ушел из дому. Во время вчерашнего столкновения его облили пивом, и вся его одежда была в пятнах и дурно пахла. Но когда миссис Дэвидсон заговорила о мисс Томпсон, в ее глазах вспыхнул мрачный огонь.

— Она горько пожалеет о том дне, когда насмеялась над мистером Дэвидсоном,— сказала она.— У мистера Дэвидсона чудесное сердце, и не было человека, который, придя к нему в час нужды, ушел бы не утешенным, но он беспощаден к греху, и его праведный гнев бывает ужасен.

— А что он сделает? — спросила миссис Макфейл.

— Не знаю, но ни за какие сокровища мира не захотела бы я очутиться на месте этой твари.

Миссис Макфейл поежилась. В торжествующей уверенности маленькой миссис Дэвидсон было что-то пугающее. Они собирались в это утро совершить прогулку и вместе спустились по лестнице. Дверь в нижнюю комнату была открыта, и они увидели мисс Томпсон в замызганном халате — она что-то разогревала на жаровне.

— Доброе утро! — окликнула она их.— Как мистер Дэвидсон? Ему полегчало?

Они прошли мимо молча, подняв головы, словно не замечая ее. Но когда она насмешливо захохотала, обе покраснели. Миссис Дэвидсон, не выдержав, обернулась.

— Не смейте заговаривать со мной,— взвизгнула она.— Если вы посмеете меня оскорбить, вас вышвырнут отсюда.

— Я ведь не приглашала мистера Дэвидсона навестить меня, как по-вашему?

— Не отвечайте ей,— поспешно прошептала миссис Макфейл.

Они заговорили только тогда, когда она уже не могла их услышать.

— Бесстыжая дрянь! — вырвалось у миссис Дэвидсон.

Она задыхалась от ярости.

Возвращаясь с прогулки, они встретили мисс Томпсон, которая направлялась к набережной. Она была в своем обычном одеянии. Огромная белая шляпа с безвкусными яркими цветами была оскорбительна. Проходя мимо, мисс Томпсон весело окликнула их, и два американских матроса, стоявшие неподалеку, широко ухмыльнулись, когда дамы ответили ей ледяным взглядом. Едва они добрались до дому, как снова пошел дождь.

— Надо полагать, ее наряд порядком пострадает,— сказала миссис Дэвидсон со жгучим сарказмом.

Дэвидсон пришел, когда они уже доедали обед. Он промок насквозь, но не захотел переодеваться. Он сидел в угрюмом молчании, почти не прикоснувшись к еде, и не отрываясь следил за косыми струями дождя. Когда миссис Дэвидсон рассказала ему о двух встречах с мисс Томпсон, он ничего не ответил. Только по еще более помрачневшему лицу можно было догадаться, что он ее слышал.

— Как вы думаете, не следует ли потребовать, чтобы мистер Хорн выселил ее? — спросила миссис Дэвидсон.— Нельзя же допускать, чтобы она над нами издевалась.

— Но ведь ей больше некуда идти,— сказал доктор.

— Она может поселиться у какого-нибудь туземца.

— В такую погоду туземная хижина — вряд ли удобное жилье.

— Я много лет жил в туземной хижине,— сказал миссионер.

Когда темнокожая девочка принесла жареные бананы — их ежедневный десерт,— мистер Дэвидсон обратился к ней:

— Узнайте у мисс Томпсон, когда я могу к ней зайти.

Девочка робко кивнула и вышла.

— Зачем тебе нужно заходить к ней, Альфред? — спросила его жена.

— Это мой долг. Я ничего не хочу предпринимать, пока не дам ей возможность исправиться.

— Ты ее не знаешь. Она тебя оскорбит.

— Пусть оскорбляет. Пусть плюет на меня. У нее есть бессмертная душа, и я должен сделать все, что в моих силах, чтобы спасти ее.

В ушах миссис Дэвидсон все еще звучал насмешливый хохот проститутки.

— Она пала слишком низко.

— Слишком низко для милосердия божьего? — Его глаза неожиданно засияли, а голос стал мягким и нежным.— О нет. Пусть грешник погряз в грехе более черном, чем сама пучина ада, но любовь господа нашего Иисуса все же достигнет до него.

Девочка вернулась с ответом.

— Мисс Томпсон приказала кланяться, и, если только преподобный Дэвидсон придет не в рабочие часы, она будет рада видеть его в любое время.

Эти слова были встречены гробовым молчанием, а доктор поспешил подавить улыбку.

Он знал, что его жене не понравится, если он сочтет наглость мисс Томпсон забавной.

До конца обеда все молчали. Потом дамы встали и взяли свое вязанье (миссис Макфейл трудилась над очередным шарфом — с начала войны она связала их бесчисленное множество), а доктор закурил трубку. Но Дэвидсон не двинулся с места и только рассеянно глядел на стол. Через некоторое время он поднялся и, не говоря ни слова, вышел из комнаты. Они услышали его шаги на лестнице и вызывающее «войдите», которым мисс Томпсон ответила на его стук. Он оставался у нее около часа. А доктор Макфейл смотрел в окно. Этот дождь начинал действовать ему на нервы. Он не был похож на английский дождик, который мягко шелестит по траве: он был беспощаден и страшен, в нем чувствовалась злоба первобытных сил природы. Он не лил, он рушился. Казалось, хляби небесные разверзлись; он стучал по железной крыше с упорной настойчивостью, которая сводила с ума. В нем была затаенная ярость. Временами казалось, что еще немного — и вы начнете кричать; а потом вдруг наступала страшная слабость — словно все кости размягчались, — и вас охватывала безнадежная тоска.

Когда миссионер снова вошел в гостиную, Макфейл повернул к нему голову и обе женщины подняли глаза от рукоделия.

— Я сделал все, что мог. Я призывал ее раскаяться. Она закоснела во зле.

Он умолк, и доктор Макфейл увидел, как его глаза потемнели, а бледное лицо стало суровым и непреклонным.

— Теперь я возьму бичи, которыми господь

наш Иисус выгнал продающих и покупающих из храма всевышнего.

Он начал ходить взад и вперед по комнате. Его рот был крепко сжат, черные брови сдвинуты.

— Если бы она скрылась на краю света, я и там настиг бы ее.

Вдруг он резко повернулся и вышел. Они услышали, как он снова спустился вниз.

— Что он собирается делать? — спросила миссис Макфейл.

— Не знаю.— Миссис Дэвидсон сняла пенсне и протерла стекла.— Когда он трудится во славу божию, я никогда не задаю ему вопросов.

Она вздохнула.

— Что с вами?

— Он себя убивает. Он не знает, что значит щадить себя.

О первых результатах деятельности миссионера доктор Макфейл узнал от метиса-торговца, в доме которого они жили. Он окликнул доктора, когда тот проходил мимо лавки, и вышел на крыльцо поговорить с ним. На его жирном лице была тревога.

— Преподобный Дэвидсон напустился на меня за то, что я сдал комнату мисс Томпсон,— сказал он.— Но ведь я же не знал, кто она, когда договаривался с ней. Когда люди хотят снять у меня комнату, я интересуюсь только одним — есть ли у них чем платить. А она заплатила мне за неделю вперед.

Доктор Макфейл предпочел не высказывать своего мнения.

— В конце концов это ваш дом. Мы вам очень благодарны, что вы нас приютили.

Хорн посмотрел на него с некоторым сомнением. Он еще не решил, насколько доктор Макфейл сочувствует миссионеру.

— Миссионеры всегда стоят друг за друга,— начал он неуверенно.— Если они разозлятся на торговца, можно сразу прикрывать дело.

— Он потребовал, чтобы вы ее выгнали?

— Нет. Он сказал, что, пока она будет вести себя прилично, он не может этого требовать. Он сказал, что не хочет поступать несправедливо по отношению ко мне. Я обещал, что посетители к ней больше ходить не будут. Я ей только что об этом объявил.

— И как же она это приняла?

— Обругала меня.

Торговец смущенно поежился. Разговор с мисс Томпсон не доставил ему никакого удовольствия.

— Ну, я думаю, она сама куда-нибудь переедет. Вряд ли она захочет оставаться здесь, если ей нельзя будет приглашать гостей.

— Переехать ей некуда, только к какому-нибудь туземцу, а из них ее теперь никто не примет, раз она не в ладах с миссионерами.

Доктор Макфейл посмотрел на непрерывно струящийся дождь.

— Пожалуй, нет смысла дожидаться, чтобы прояснилось.

Вечером в гостиной Дэвидсон стал рассказывать им о давних днях, когда он учился в колледже. Он был беден и смог закончить курс только благодаря тому, что подрабатывал в каникулы. Внизу было тихо. Мисс Томпсон сидела в своей комнатушке одна. И вдруг заиграл граммофон. Она завела его назло, стараясь забыть о своем одиночестве, но подпевать было некому, и музыка зву-

чала тоскливо. Это был словно зов о помощи. Дэвидсон и бровью не повел. Не меняя выражения, он продолжал свой рассказ. Граммофон все играл. Мисс Томпсон ставила одну пластинку за другой. Казалось, темнота и безмолвие пугали ее. Ночь была безветренной и душной. Макфейлы легли, но долго не могли уснуть. Они лежали рядом и с открытыми глазами слушали злобное пение москитов над сеткой.

— Что это?— вдруг прошептала миссис Макфейл.

Из-за деревянной перегородки до них донесся голос — голос Дэвидсона. Он звучал не затихая, монотонно и торжественно. Миссионер молился вслух. Он молился о душе мисс Томпсон.

Прошло два-три дня. Теперь, когда они встречали мисс Томпсон на шоссе, она не приветствовала их с иронической сердечностью и не улыбалась: словно не замечая их, она угрюмо проходила мимо, задрав голову и хмуря подведенные брови. Торговец рассказал Макфейлу, что она пыталась найти другую комнату, но не смогла. Каждый вечер она проигрывала все свои пластинки, но это притворное веселье уже никого не обманывало. Бойкие мелодии звучали надрывно, словно фокстрот отчаяния. Когда она завела граммофон в воскресенье, Дэвидсон послал к ней Хорна с просьбой немедленно прекратить музыку, поскольку сегодня — день господень. Граммофон умолк, и в доме воцарилась тишина, нарушаемая только ровным стуком дождя по железной крыше.

— Мне кажется, она все больше нервничает,— сказал торговец Макфейлу на следующий день.— Она не знает, что задумал мистер Дэвидсон, и боится.

Макфейл уже видел ее в это утро и сразу заметил, что вся ее самоуверенность исчезла. Вид у нее был затравленный. Хорн искоса поглядел на него.

— Вы, наверно, не знаете, что мистер Дэвидсон предпринял по этому поводу? — осторожно спросил он.

— Не имею ни малейшего представления.

Вопрос Хорна смутил доктора — ему и самому казалось, что миссионер занят какой-то таинственной деятельностью. Ему чудилось, что Дэвидсон упрямо и осторожно плетет сеть вокруг этой женщины, чтобы, когда все будет готово, внезапно затянуть веревку.

— Он велел мне передать ей, — сказал торговец, — что, если он ей понадобится, пусть она в любое время пошлет за ним, и он непременно придет.

— И что же она ответила?

— Ничего не ответила. Я не дожидался. Я только сказал ей то, что он велел сказать, и ушел. Я боялся, что она примется плакать.

— Одиночество действует на нее угнетающе, — сказал доктор. — А тут еще дождь! От этого у кого угодно разыграются нервы, — продолжал он сердито. — Что он, никогда не прекращается на этом чертовом острове?

— В дождливый сезон льет почти без передышки. У нас в год выпадает триста дюймов осадков. Все дело в форме бухты. Можно подумать, что она притягивает дождь со всего океана.

— Черт бы побрал эту бухту с ее формой, — сказал доктор.

Он почесал место, укушенное москитом. Его душило раздражение. Когда дождь кончался и вы-

глядывало солнце, остров превращался в оранжерею, полную влажных, тяжелых, удушливых испарений, и вас охватывало странное ощущение, что все кругом яростно растет. А в туземцах, которых считают беззаботными и счастливыми, как дети, благодаря их татуировке и крашеным волосам, начинало сквозить что-то зловещее; и, услышав за спиной шлепанье их босых ног, вы инстинктивно оборачивались. Вы чувствовали, что в любую минуту они могут оказаться рядом и молниеносно всадить вам между лопаток длинный нож. Как знать, какие черные мысли прячутся за их широко расставленными глазами? Они чем-то напоминали изображения на стенах египетских храмов, и от них веяло древним ужасом.

Миссионер приходил и снова уходил. Он был занят, но чем — Макфейлы не знали. Хорн сказал доктору, что он каждый день посещает губернатора, и как-то раз Дэвидсон сам заговорил о нем.

— Он производит впечатление человека решительного, но на поверку оказывается, что у него нет никакой твердости.

— Другими словами, он не желает безоговорочно подчиняться вашим требованиям? — шутливо сказал доктор.

Миссионер не улыбнулся.

— Я требую только одного — чтобы он поступил, как должно. Прискорбно, что есть люди, которым приходится напоминать об этом.

— Но ведь могут быть разные мнения, что считать должным.

— Если бы у больного началась гангрена ступни, могли бы вы равнодушно смотреть, как кто-то раздумывает, ампутировать ее или нет?

— Гангрена — вещь вполне реальная.

— А грех?

Что именно сделал Дэвидсон, скоро перестало быть тайной. Все четверо только что пообедали, дамы и доктор собирались по обыкновению пойти прилечь, пока не спадет жара,— Дэвидсон презирал эту изнеживающую привычку. Внезапно дверь распахнулась, и в комнату ворвалась мисс Томпсон. Она обвела всех взглядом и затем шагнула к Дэвидсону.

— Что ты, погань, наплел на меня губернатору?

Она заикалась от бешенства. На секунду воцарилась тишина. Затем миссионер пододвинул ей стул.

— Садитесь, пожалуйста, мисс Томпсон. Я давно надеялся еще раз побеседовать с вами.

— Сволочь ты поганая.

Она обрушила на него поток гнусных и оскорбительных ругательств. Дэвидсон не спускал с нее внимательного взгляда.

— Меня не трогает брань, которой вы сочли нужным осыпать меня, мисс Томпсон,— сказал он,— но я прошу вас не забывать, что здесь присутствуют дамы.

Теперь к ее гневу уже примешивались слезы. Лицо ее покраснело и распухло, словно ее что-то душило.

— Что случилось?— спросил доктор Макфейл.

— Ко мне заходил какой-то тип и сказал, чтобы я убиралась отсюда со следующим пароходом.

Блеснули ли глаза миссионера? Его лицо оставалось невозмутимым.

— Едва ли вы могли ожидать, что при данных обстоятельствах губернатор разрешит вам остаться здесь.

— Это твоя работа,— взвизгнула она.— Нечего вилять. Это твоя работа.

— Я не собираюсь вас обманывать. Я действительно убеждал губернатора принять меры, единственно совместимые с его долгом.

— Ну что ты ко мне привязался? Я же тебе ничего не сделала.

— Поверьте, даже если бы вы причинили мне вред, я не питал бы к вам ни малейшего зла.

— Да что я, хочу, что ли, оставаться в этой дыре? Я привыкла жить в настоящих городах!

— В таком случае я не понимаю, на что вы, собственно, жалуетесь.

С воплем ярости она выбежала из комнаты. Наступило короткое молчание. Потом заговорил Дэвидсон.

— Очень приятно, что губернатор все-таки решился действовать. Он слабоволен и без конца тянул и откладывал. Он говорил, что здесь она, во всяком случае, больше двух недель не пробудет, а потом уедет в Апию, которая находится в британских владениях и к нему отношения не имеет.

Миссионер вскочил и зашагал по комнате.

— Просто страшно становится при мысли, как люди, облеченные властью, стремятся уклониться от ответственности. Они рассуждают так, словно грех, творимый не у них на глазах, перестает быть грехом. Самое существование этой женщины — позор, и что изменится, если ее переправят на другой остров? В конце концов мне пришлось говорить прямо.

Дэвидсон нахмурился и выставил подбородок. Он весь дышал неукротимой решимостью.

— Я вас не совсем понимаю,— сказал доктор.

— Наша миссия пользуется кое-каким влиянием в Вашингтоне. Я сказал губернатору, что жалоба на его халатность вряд ли принесет ему большую пользу.

— Когда она должна уехать?— спросил доктор.

— Пароход из Сиднея в Сан-Франциско зайдет сюда в следующий вторник. Она отплывет на нем.

До вторника оставалось пять дней. Когда на следующий день Макфейл возвращался из госпиталя, куда он от нечего делать ходил почти каждое утро, на лестнице его остановил метис.

— Извините, доктор Макфейл. Мисс Томпсон нездорова. Вы к ней не зайдете?

— Разумеется.

Хорн проводил доктора в ее комнату. Она сидела на стуле, безучастно сложив руки, и смотрела перед собой. На ней было ее белое платье и большая шляпа с цветами. Макфейл заметил, что ее кожа под слоем пудры кажется желтовато-землистой, а глаза опухли.

— Мне очень жаль, что вы прихворнули,— сказал он.

— А, да я вовсе не больна. Я это просто сказала, чтобы повидать вас. Меня отсылают на пароходе, который едет во Фриско.

Она поглядела на него, и он заметил, что в ее глазах внезапно появился испуг. Ее руки судорожно сжимались и разжимались. Торговец стоял в дверях и слушал.

— Да, я знаю,— сказал доктор.

Она глотнула.

— Ну, мне не очень-то удобно ехать сейчас во Фриско. Вчера я ходила к губернатору, но меня к нему не пустили. Я видела секретаря, и он сказал, что я должна уехать с этим пароходом и никаких разговоров. Ну, я решила все-таки добраться до губернатора и сегодня утром ждала у его дома, пока он не вышел, и заговорила с ним. Сказать по правде, он не очень-то хотел со мной разговаривать, но я от него не отставала, и наконец он сказал, что позволит мне дождаться парохода в Сидней, если преподобный Дэвидсон будет согласен.

Она замолчала и с тревогой посмотрела на доктора Макфейла.

— Я не вижу, чем я, собственно, могу вам помочь,— сказал он.

— Да я подумала, может, вы согласитесь спросить его. Господом богом клянусь, я буду вести себя тихо, если он позволит мне остаться. Я даже никуда из дому не буду выходить, если это ему нужно. Всего-то две недели.

— Я спрошу его.

— Он не согласится,— сказал Хорн.— И не надейтесь.

— Скажите ему, что я могу получить в Сиднее работу — то есть честную. Ведь я не многого прошу.

— Я сделаю, что смогу.

— Сразу придете сказать мне, как дела? Мне надо знать твердо, а то я себе просто места не нахожу.

Это поручение пришлось доктору не слишком по вкусу, и он — что, вероятно, было для него характерно — не стал выполнять его сам. Он рассказал жене о разговоре с мисс Томпсон и попро-

сил ее поговорить с миссис Дэвидсон. По его мнению, требование миссионера было неоправданно суровым, и он считал, что не случится ничего страшного, если мисс Томпсон разрешат остаться в Паго-Паго еще на две недели. Но его дипломатия привела к неожиданным результатам. Миссионер сам явился к нему.

— Миссис Дэвидсон сказала мне, что вы имели беседу с мисс Томпсон.

Такая прямолинейность вызвала у доктора Макфейла раздражение, как у всякого застенчивого человека, которого заставляют пойти в открытую. Он почувствовал, что начинает сердиться, и покраснел.

— Не вижу, какая разница, если она уедет в Сидней, а не в Сан-Франциско, и раз она обещала вести себя здесь прилично, то, по-моему, незачем портить ей жизнь.

Миссионер устремил на него суровый взгляд.

— Почему она не хочет вернуться в Сан-Франциско?

— Я не спрашивал,— запальчиво ответил доктор.— Я считаю, что лучше всего поменьше совать нос в чужие дела.

Возможно, этот ответ был не слишком тактичен.

— Губернатор отдал распоряжение, чтобы ее отправили с первым же пароходом. Он только выполнил свой долг, и я не стану вмешиваться. Ее присутствие здесь — угроза для острова.

— Я считаю, что вы злой и жестокий человек.

Дамы с тревогой посмотрели на доктора, но они напрасно боялись, что вспыхнет ссора,— миссионер только мягко улыбнулся.

— Мне очень грустно, что вы считаете меня таким, доктор Макфейл. Поверьте, мое сердце

обливается кровью от жалости к этой несчастной, но ведь я только стараюсь выполнить свой долг.

Доктор ничего не ответил. Он угрюмо посмотрел в окно. Дождь утих, и на другом берегу бухты среди деревьев можно было разглядеть хижины туземной деревушки.

— Я, пожалуй, воспользуюсь тем, что дождь перестал, и пройдусь немного,— сказал он.

— Прошу вас, не сердитесь на меня за то, что я не могу выполнить ваше желание,— сказал Дэвидсон с печальной улыбкой.— Я вас очень уважаю, доктор, и не хотел бы, чтобы вы думали обо мне дурно.

— Ваше мнение о самом себе, наверное, столь высоко, что мое вас не очень огорчит,— отрезал доктор.

— Сдаюсь!— засмеялся Дэвидсон.

Когда доктор Макфейл, сердясь на себя за неоправданную грубость, спустился с лестницы, мисс Томпсон поджидала его у приоткрытой двери своей комнаты.

— Ну,— сказала она,— вы с ним говорили?

— Да, но, к сожалению, он отказывается что-нибудь сделать,— ответил доктор, смущенно отводя глаза.

И тут же, услышав рыдание, он бросил на нее быстрый взгляд. Он увидел, что ее лицо побелело от ужаса, и испугался.

Вдруг ему в голову пришла новая мысль.

— Но пока не отчаивайтесь. Я считаю, что с вами поступают безобразно, и сам пойду к губернатору.

— Сейчас?

Он кивнул. Ее лицо просветлело.

— Вы меня здорово выручите. Если вы за-

молвите за меня словечко, он наверняка позволит мне остаться. Я, ей-богу, ничего такого себе не позволю, пока я тут.

Доктор Макфейл сам не понимал, почему он вдруг решил обратиться к губернатору. Он был совершенно равнодушен к судьбе мисс Томпсон, но миссионер задел его за живое, а раз рассердившись, он долго не мог успокоиться. Он застал губернатора дома. Это был крупный, красивый мужчина, бывший моряк, со щеточкой седых усов над верхней губой и в белоснежном мундире.

— Я пришел к вам по поводу женщины, которая сняла комнату в одном доме с нами,— сказал доктор.— Ее фамилия Томпсон.

— Я уже слышал о ней вполне достаточно, доктор Макфейл,— ответил губернатор, улыбаясь.— Я распорядился, чтобы она выехала в следующий вторник, и больше ничего сделать не могу.

— Я хотел просить вас, нельзя ли разрешить ей подождать парохода из Сан-Франциско, чтобы она могла уехать в Сидней. Я поручусь за ее поведение.

Губернатор продолжал улыбаться, но глаза его сузились и стали серьезными.

— Я был бы очень рад оказать вам услугу, доктор, но приказ отдан и не может быть изменен.

Доктор изложил дело со всей убедительностью, на какую был способен, но губернатор совсем перестал улыбаться. Он слушал угрюмо, глядя в сторону. Макфейл увидел, что его слова не производят никакого впечатления.

— Мне очень неприятно причинять неудобства даме, но мисс Томпсон придется уехать во вторник, и говорить больше не о чем.

— Но какая разница?

— Извините меня, доктор, но я обязан объяснять свои решения только моему начальству.

Макфейл внимательно посмотрел на него. Он вспомнил намек Дэвидсона на пущенную им в ход угрозу и почувствовал в поведении губернатора какое-то непонятное смущение.

— Черт бы побрал Дэвидсона. И что он сует нос не в свое дело! — с жаром воскликнул он.

— Говоря между нами, доктор, я не стану утверждать, что у меня сложилось особенно благоприятное мнение о мистере Дэвидсоне, но не могу не признать, что он имел полное право указать мне на опасность, которую представляет пребывание женщины, подобной мисс Томпсон, на острове, где военнослужащие живут среди туземного населения.

Он поднялся, и доктор Макфейл тоже был вынужден встать.

— Прошу извинить меня. Мне надо кое-чем заняться. Кланяйтесь, пожалуйста, миссис Макфейл.

Доктор ушел от него в полном унынии. Он знал, что мисс Томпсон будет ждать его, и, чтобы не пришлось самому сообщать ей о своей неудаче, вошел в дом с черного хода и осторожно, как преступник, прокрался по лестнице.

За ужином он чувствовал себя неловко и говорил мало, зато миссионер был очень оживлен и общителен. Доктору Макфейлу показалось, что взгляд Дэвидсона несколько раз останавливался на нем с добродушным торжеством. Неожиданно ему пришло в голову, что Дэвидсон знает о его безрезультатном визите к губернатору. Но откуда? В той власти, которой обладал этот человек, было что-то зловещее. После ужина доктор увидел на ве-

ранде Хорна и вышел к нему, сделав вид, что хочет поболтать с ним.

— Она спрашивает, говорили ли вы с губернатором,— шепнул торговец.

— Да. Он отказал. Мне ужасно жаль, но я больше ничего сделать не могу.

— Я так и знал. Они боятся идти против миссионеров.

— О чем вы разговариваете?— весело спросил Дэвидсон, подходя к ним.

— Я как раз говорил, что вряд ли вам удастся выехать в Апию раньше чем через три недели,— без запинки ответил торговец.

Он ушел, а они вернулись в гостиную. После еды мистер Дэвидсон посвящал один час развлечениям. Вскоре послышался робкий стук в дверь.

— Войдите,— сказала миссис Дэвидсон своим пронзительным голосом.

Дверь осталась закрытой. Миссис Дэвидсон встала и открыла ее. На пороге стояла изменившаяся до неузнаваемости мисс Томпсон. Это была уже не нахальная девка, которая насмехалась над ними на шоссе, а измученная страхом женщина. Ее волосы, всегда тщательно уложенные в прическу, теперь свисали космами. На ней были шлепанцы и заношенные, измятые блузка и юбка. Она стояла в дверях, не решаясь войти; по лицу ее струились слезы.

— Что вам надо?— резко спросила миссис Дэвидсон.

— Можно мне поговорить с мистером Дэвидсоном?— прерывающимся голосом сказала она.

Миссионер встал и подошел к ней.

— Входите, входите, мисс Томпсон,— сказал он сердечным тоном.— Чем я могу служить вам?

Она вошла.

— Я... я извиняюсь за то, что наговорила вам тогда, и за... за все остальное. Я, наверное, была на взводе. Прошу у вас прощения.

— О, это пустяки. У меня спина крепкая и не переломится от пары грубых слов.

Она сделала движение к нему, отвратительное в своей приниженности.

— Вы меня разделали вчистую. Совсем сломали. Вы не заставите меня вернуться во Фриско?

Его любезность мгновенно исчезла, голос стал суровым и жестким.

— Почему вы не хотите возвращаться туда?

Она вся съежилась.

— Да ведь там у меня родня. Не хочу я, чтобы они меня видели вот такой. Я поеду, куда вы скажете. Только не туда.

— Почему вы не хотите возвращаться в Сан-Франциско?

— Я же вам сказала.

Он наклонился вперед, устремив на нее огромные сверкающие глаза, словно стараясь заглянуть ей в самую душу. Вдруг он резко перевел дыхание.

— Исправительный дом.

Она взвизгнула и, упав на пол, обхватила его ноги.

— Не отсылайте меня туда. Господом богом клянусь, я стану честной. Я все это брошу.

Она выкрикивала бессвязные мольбы, и слезы ручьями катились по накрашенным щекам. Он наклонился к ней и, приподняв ее голову, заглянул ей в глаза.

— Так, значит, исправительный дом?

— Я смылась, а то бы меня зацапали,— отрывисто шептала она.— Если я попадусь быкам, мне припаяют три года.

Он отпустил ее, и она, снова упав на пол, разразилась отчаянными рыданиями. Доктор Макфейл встал.

— Это меняет дело,— сказал он.— Теперь вы не можете требовать, чтобы она вернулась туда. Она хочет начать жизнь снова, не отнимайте же у нее этой последней возможности.

— Я хочу предоставить ей ни с чем не сравнимую возможность. Если она раскаивается, пусть примет свое наказание.

Она не уловила истинного смысла его слов и подняла голову. В ее опухших от слез глазах мелькнула надежда.

— Вы меня отпустите?

— Нет. Во вторник вы отплывете в Сан-Франциско.

У нее вырвался стон ужаса, перешедший в глухой, хриплый визг, в котором не было уже ничего человеческого. Она стала биться головой об пол. Доктор Макфейл кинулся ее поднимать.

— Ну, ну, так нельзя. Пойдите к себе и прилягте. Я дам вам лекарство.

Он поднял ее и кое-как отвел вниз. Он был очень зол на миссис Дэвидсон и на свою жену за то, что они не захотели вмешаться. Метис стоял на площадке, и с его помощью доктору удалось уложить ее на кровать. Она стонала и судорожно всхлипывала. Казалось, она вот-вот лишится чувств. Доктор сделал ей укол. Злой и измученный, он поднялся в гостиную.

— Я наконец уговорил ее лечь.

Обе женщины и Дэвидсон сидели так же, как он их оставил. Очевидно, пока его не было, они не разговаривали и не шевелились.

— Я ждал вас,— сказал Дэвидсон странным, отсутствующим голосом.— Я хочу, чтобы вы все помолились вместе со мной о душе нашей заблудшей сестры.

Он взял с полки Библию и сел за обеденный стол. Посуда после ужина еще не была убрана, и, чтобы освободить место, ему пришлось отодвинуть чайник. Сильным голосом, звучным и глубоким, он прочел им главу, в которой говорится о том, как к Христу привели женщину, взятую в прелюбодеянии.

— А теперь преклоните вместе со мной колени и помолимся о душе возлюбленной сестры нашей Сэди Томпсон.

Он начал с жаром молиться, прося бога сжалиться над грешницей. Миссис Макфейл и миссис Дэвидсон встали на колени, закрыв лицо руками. Захваченный врасплох, доктор неуклюже и неохотно последовал их примеру. Миссионер молился с яростным красноречием. Он был в исступлении, по его щекам струились слезы. А снаружи лил дождь, лил не ослабевая, с упорной злобой, в которой было что-то человеческое.

Наконец миссионер умолк. На мгновение воцарилась тишина, потом он сказал:

— А теперь прочтем «Отче наш».

Они прочитали эту молитву и вслед за ним поднялись с колен. Лицо миссис Дэвидсон стало бледным и умиротворенным. На душе у нее, видимо, было легко и спокойно. Но доктора и миссис Макфейл внезапно охватило смущение. Они не знали, куда девать глаза.

— Я, пожалуй, спущусь поглядеть, как она себя чувствует,— сказал доктор Макфейл.

Когда он постучал к ней, дверь открыл Хорн. Мисс Томпсон сидела в качалке и тихонько плакала.

— Почему вы встали?— воскликнул доктор.— Я же велел вам лежать.

— Мне не лежится. Я хочу видеть мистера Дэвидсона.

— Бедняжка, зачем вам это? Вы не сможете его убедить.

— Он сказал, что придет, если я за ним пошлю.

Макфейл кивнул торговцу.

— Сходите за ним.

Они молча ждали, пока Хорн поднимался наверх. Дэвидсон вошел.

— Извините, что я попросила вас спуститься сюда,— сказала она, мрачно глядя на него.

— Я ожидал, что вы пошлете за мной. Я знал, что господь услышал мою молитву.

Секунду они глядели друг на друга, потом она отвела глаза. Она смотрела в сторону все время, пока говорила.

— Я вела грешную жизнь. Я хочу покаяться.

— Хвала господу! Он внял нашим молитвам!

Он повернулся к Макфейлу и торговцу.

— Оставьте меня наедине с ней. Скажите миссис Дэвидсон, что наши молитвы были услышаны.

Они вышли и закрыли за собой дверь.

— Мда-а-а!— сказал торговец.

В эту ночь доктор Макфейл никак не мог заснуть; когда миссионер прошел к себе, он погля-

дел на часы. Было два. И все-таки Дэвидсон лег не сразу — через разделявшую их деревянную перегородку доктор слышал, как он молится, пока сам наконец не уснул.

Когда они встретились на следующее утро, вид миссионера удивил доктора. Дэвидсон был бледнее, чем обычно, и выглядел утомленным, но глаза его пылали нечеловеческим огнем. Казалось, его переполняла безмерная радость.

— Вы не могли бы теперь же спуститься к Сэди? — сказал он.— Боюсь, что ее тело еще не нашло исцеления, но ее душа — ее душа преобразилась.

Доктор чувствовал себя расстроенным и опустошенным.

— Вы долго пробыли у нее вчера,— сказал он.

— Да. Ей трудно было остаться одной, без меня.

— Вы так и сияете,— сказал доктор раздраженно.

В глазах Дэвидсона засветился экстаз.

— Мне была ниспослана величайшая милость. Вчера я был избран вернуть заблудшую душу в любящие объятия Иисуса.

Мисс Томпсон сидела в качалке. Постель не была убрана. В комнате царил беспорядок. Она не позаботилась одеться и сидела в грязном халате, кое-как зашпилив волосы в пучок. Ее лицо распухло и оплыло от слез, хотя она обтерла его мокрым полотенцем. Вид у нее был неряшливый и неприглядный.

Когда доктор вошел, она безучастно посмотрела на него. Она была совсем разбита и измучена.

— Где мистер Дэвидсон? — спросила она.

— Он скоро придет, если он вам нужен,—

кисло ответил доктор.— Я зашел узнать, как вы себя чувствуете.

— А, да ничего со мной нет. Не беспокойтесь обо мне.

— Вы что-нибудь ели?

— Хорн принес мне кофе.

Она беспокойно посмотрела на дверь.

— Вы думаете, он скоро придет? Мне не так страшно, когда он со мной.

— Вы все-таки уезжаете во вторник?

— Да, он говорит, что я должна уехать. Пожалуйста, скажите ему, чтобы он пришел поскорее. Вы ничем мне помочь не можете. Кроме него, мне теперь никто не может помочь.

— Очень хорошо,— сказал доктор Макфейл.

Следующие три дня миссионер почти все время проводил у Сэди Томпсон. Он встречался с остальными только за столом. Доктор Макфейл заметил, что он почти ничего не ест.

— Он не щадит себя,— жаловалась миссис Дэвидсон.— Он того и гляди заболеет. Но он не думает о себе.

Сама она тоже побледнела и осунулась. Она говорила миссис Макфейл, что совсем не спит. Когда миссионер уходил от мисс Томпсон и поднимался к себе, он молился до полного изнеможения, но даже и после этого засыпал лишь ненадолго. Часа через два он вставал, одевался и шел гулять на берег. Ему снились странные сны.

— Сегодня утром он сказал мне, что видел во сне горы Небраски,— сообщила миссис Дэвидсон.

— Любопытно,— сказал доктор Макфейл.

Он вспомнил, что видел их из окна поезда, когда ехал по Соединенным Штатам. Они напоминали огромные кротовые кучи, округлые и гладкие, и

круто поднимались над плоской равниной. Доктор Макфейл вспомнил, что они показались ему похожими на женские груди.

Лихорадочное возбуждение, снедавшее Дэвидсона, было невыносимо даже для него самого. Но всепобеждающая радость поддерживала его силы. Он с корнем вырывал последние следы греха, еще таившиеся в сердце бедной женщины. Он читал с ней Библию и молился с ней.

— Это просто чудо,— сказал он как-то за ужином.— Это истинное возрождение. Ее душа, которая была чернее ночи, ныне чиста и бела, как первый снег. Я исполнен смирения и трепета. Ее раскаяние во всем, содеянном ею, прекрасно. Я не достоин коснуться края ее одежды.

— И у вас хватит духа послать ее в Сан-Франциско? — спросил доктор.— Три года американской тюрьмы! Мне кажется, вы могли бы избавить ее от этого.

— Как вы не понимаете! Это же необходимо. Неужели вы думаете, что мое сердце не обливается кровью? Я люблю ее так же, как мою жену и мою сестру. И все время, которое она проведет в тюрьме, я буду испытывать те же муки, что и она.

— А, ерунда! — досадливо перебил доктор.

— Вы не понимаете, потому что вы слепы. Она согрешила и должна пострадать. Я знаю, что ей придется вытерпеть. Ее будут морить голодом, мучить, унижать. Я хочу, чтобы кара, принятая ею из рук человеческих, была ее жертвой богу. Я хочу, чтобы она приняла эту кару с радостным сердцем. Ей дана возможность, которая ниспосылается лишь немногим из нас. Господь неизреченно добр и неизреченно милосерд.

Дэвидсон задыхался от волнения. Он уже не

договаривал слов, которые страстно рвались с его губ.

— Весь день я молюсь с ней, а когда я покидаю ее, я снова молюсь, весь отдаваясь молитве, молюсь о том, чтобы Христос даровал ей эту великую милость. Я хочу вложить в ее сердце столь пылкое желание претерпеть свою кару, чтобы, даже если бы я предложил ей не ехать, она сама настояла бы на этом. Я хочу, чтобы она почувствовала в муках тюремного заключения смиренный дар, который она слагает к ногам благословенного Искупителя, отдавшего за нее жизнь.

Дни тянулись медленно. Все обитатели дома, думавшие только о несчастной, терзающейся женщине в нижней комнате, жили в состоянии неестественного напряжения. Она была словно жертва, которую готовят для мрачного ритуала какой-то кровавой языческой религии. Ужас совершенно парализовал ее. Она ни на минуту не отпускала от себя Дэвидсона; только в его присутствии к ней возвращалось мужество, и она в рабском страхе цеплялась за него. Она много плакала, читала Библию и молилась. Порой, дойдя до полного изнеможения, она впадала в апатию. В такие минуты тюрьма действительно казалась ей спасением — по крайней мере это была конкретная реальность, которая положила бы конец ее пытке. Ее смутный страх становился все более мучительным. Отрекшись от греха, она перестала заботиться о своей внешности и теперь бродила по комнате в пестром халате, неумытая и растрепанная. В течение четырех дней она не снимала ночной рубашки, не надевала чулок. Вся комната была замусорена. А дождь все лил и лил с жестокой настойчивостью. Казалось, небеса должны были уже истощить все

запасы воды, но он по-прежнему падал, прямой и тяжелый, и с доводящей до исступления монотонностью барабанил по крыше. Все стало влажным и липким. Стены и лежавшие на полу башмаки покрыла плесень. Бессонными ночами сердито ныли москиты.

— Если бы дождь перестал хоть на день, еще можно было бы терпеть,— сказал доктор.

Все как избавления ждали вторника, когда должен был прийти пароход из Сиднея. Напряжение становилось невыносимым. Жалость и негодование были вытеснены из души доктора Макфейла единственным желанием — поскорее отделаться от несчастной. Приходится принимать неизбежное. Он чувствовал, что, когда этот пароход наконец отчалит, ему станет легче дышать. На борт ее должен был доставить чиновник канцелярии губернатора. Он зашел вечером в понедельник и попросил мисс Томсон собраться к одиннадцати часам следующего утра. У нее был Дэвидсон.

— Я присмотрю, чтобы все было готово. Я сам намерен проводить ее.

Мисс Томпсон молчала.

Когда доктор Макфейл задул свечу и осторожно забрался под москитную сетку, он испустил вздох облегчения.

— Ну, слава богу, все кончилось. Завтра в это время ее здесь уже не будет.

— Миссис Дэвидсон тоже будет рада. Она говорит, что он совсем замучил себя,— сказала миссис Макфейл.— Она изменилась до неузнаваемости.

— Кто?

— Сэди. Я бы не поверила, что возможно. Невольно проникаешься смирением.

Доктор Макфейл не ответил и вскоре уснул. Он был очень утомлен и спал крепче обычного.

Его разбудило чье-то прикосновение. Он испуганно вскочил и увидел рядом с кроватью Хорна. Торговец приложил палец к губам и поманил его за собой. Обычно он носил парусиновый костюм, но на этот раз был бос и одет только в лава-лава, как туземец. От этого он неожиданно стал похож на дикаря, и доктор, выбираясь из постели, заметил, что все его тело покрыто татуировкой. Хорн вышел на веранду. Доктор Макфейл слез с кровати и последовал за ним.

— Не шумите,— шепнул торговец.— Вы очень нужны. Накиньте на себя что-нибудь и наденьте башмаки.

Доктор подумал, что случилось что-то с мисс Томпсон.

— В чем дело? Захватить инструменты?

— Скорее, ради бога, скорее.

Доктор Макфейл прокрался в спальню, надел поверх пижамы плащ и сунул ноги в туфли на резиновой подошве. Он вернулся к торговцу, и они на цыпочках спустились по лестнице. Наружная дверь была открыта, перед ней стояли несколько туземцев.

— В чем дело? — повторил доктор.

— Пойдемте,— сказал Хорн.

Он вышел, и доктор последовал за ним. Туземцы кучкой шли позади. Они пересекли шоссе и вышли к пляжу. Ярдах в двадцати пяти доктор заметил группу туземцев, толпившихся вокруг чего-то, лежавшего у самой воды. Они ускорили шаг; туземцы расступились перед доктором. Торговец тащил его вперед. Затем он увидел труп, лежавший наполовину в воде, наполовину на пес-

ке,— труп Дэвидсона. Доктор Макфейл нагнулся — он был не из тех, кто теряется в трудную минуту,— и перевернул его. Горло было перерезано от уха до уха, а правая рука все еще сжимала роковую бритву.

— Он совсем остыл,— сказал доктор.— Он умер уже довольно давно.

— Один из них только что заметил его — по дороге на работу,— пришел и сказал мне. Как вы думаете, он сам это сделал?

— Да. Надо послать за полицией.

Хорн сказал что-то на местном наречии, и двое юношей пустились бежать со всех ног.

— Его нельзя трогать до прихода полиции,— добавил доктор.

— Я не позволю отнести его в мой дом. Я не хочу, чтобы он лежал в моем доме.

— Вы сделаете то, что вам скажут,— резко ответил доктор.— Но я полагаю, его отправят в морг.

Они стояли и ждали. Торговец достал из складок своей лава-лава две папиросы и протянул одну доктору. Они курили и глядели на труп. Доктор не мог понять, что́ произошло.

— Как, по-вашему, почему это он? — спросил Хорн.

Доктор пожал плечами. Вскоре подошли с носилками туземные полицейские под командой белого матроса, а за ними два морских офицера и флотский врач. Они принялись деловито распоряжаться.

— Надо бы поставить в известность его жену,— сказал один из офицеров.

— Раз вы пришли, я пойду домой и оденусь. Я позабочусь, чтобы ей сообщили. По-моему, ей не

стоит на него смотреть, пока его не приведут в порядок.

— Пожалуй, да,— сказал флотский врач.

Когда доктор Макфейл поднялся к себе, его жена кончала одеваться.

— Миссис Дэвидсон страшно беспокоится о муже,— сказала она, едва увидев его.— Он не ложился всю ночь. Она слышала, как он ушел от мисс Томпсон в два часа, но он вышел из дому. Если он столько времени гулял, то, конечно, будет смертельно измучен.

Доктор Макфейл рассказал ей о несчастье и попросил осторожно подготовить миссис Дэвидсон.

— Но почему он это сделал? — спросила она в ужасе.

— Не знаю.

— Я не могу. Не могу.

— Надо.

Она испуганно посмотрела на него и вышла. Он слышал, как она вошла в комнату миссис Дэвидсон. Подождав минуту, чтобы собраться с силами, он начал бриться и одеваться. Потом сел на кровать и стал ждать жену. Наконец она вернулась.

— Она хочет видеть его.

— Его отнесли в морг. Нам, пожалуй, следует проводить ее. Как она это приняла?

— По-моему, ее словно оглушило. Она не плакала. Но она дрожит как осиновый лист.

— Нужно пойти немедленно.

Когда они постучались, миссис Дэвидсон сразу вышла к ним. Она была очень бледна, но не плакала. В ее спокойствии доктору почудилось что-то неестественное. Не обменявшись ни единым словом, они молча пошли по шоссе. Когда они при-

близились к моргу, миссис Дэвидсон заговорила:

— Я хотела бы побыть с ним одна.

Они отступили в сторону. Туземец открыл перед ней дверь и закрыл ее, когда она вошла. Они сели и стали ждать. Подошли несколько белых и шепотом заговорили с ними. Доктор снова рассказал о трагедии все, что знал. Наконец дверь тихо отворилась, и миссис Дэвидсон вышла.

— Теперь можно идти,— сказала она.

Ее голос был ровен и строг. Доктор Макфейл не понял выражения ее глаз. Ее бледное лицо было сурово. Они шли медленно, не нарушая молчания, и наконец приблизились к повороту, за которым находился дом Хорна. Миссис Дэвидсон ахнула, и все трое остановились как вкопанные. Их слух поразили немыслимые звуки. Граммофон, который столько времени молчал, хрипло и громко играл разухабистую песенку.

— Что это? — испуганно вскричала миссис Макфейл.

— Идемте,— сказала миссис Дэвидсон.

Они поднялись на крыльцо и вошли в переднюю. Мисс Томпсон стояла в дверях своей комнаты, болтая с матросом. В ней произошла внезапная перемена. Это уже не была насмерть перепуганная женщина последних дней. Она облачилась в свой прежний наряд: на ней было белое платье, над лакированными сапожками нависали обтянутые бумажными чулками икры, волосы были уложены в прическу, и она надела свою огромную шляпу с яркими цветами. Ее щеки были нарумянены, губы ярко накрашены, брови черны, как ночь. Она стояла выпрямившись. Перед ними была прежняя наглая девка. Увидев их, она громко, насмешливо захохотала, а затем, когда миссис Дэвидсон неволь-

но остановилась, набрала слюны и сплюнула. Миссис Дэвидсон попятилась, и на ее щеках запылали два красных пятна. Потом, закрыв лицо руками, она бросилась вверх по лестнице. Доктор Макфейл был возмущен. Оттолкнув мисс Томпсон, он вбежал в ее комнату.

— Какого черта вы себе позволяете? — закричал он.— Остановите эту штуку.

Он подошел к граммофону и сбросил пластинку.

— А ну, лекарь, не распускай рук. Что тебе понадобилось в моей комнате?

— То есть как? — закричал он.— То есть как?

Она подбоченилась. В ее глазах было неописуемое презрение, а в ответе — безграничная ненависть:

— Эх вы, мужчины! Поганые свиньи. Все вы одинаковы. Свиньи! Свиньи!

Доктор Макфейл ахнул. Он понял.

ГОНОЛУЛУ

Мудрый путешественник странствует лишь в своем воображении. Один старый француз (точнее савояр) написал книгу под названием «Voyage autour de ma chambre»[1]. Я не читал этой книги и даже не знаю, о чем она, но ее заглавие будоражит мою фантазию. Подобным образом я мог бы совершить кругосветное путешествие. Ико-

[1] «Путешествие вокруг моей комнаты» *(фр.)*.— Примеч. перев.

на, стоящая на каминной полке, может перенести меня в Россию с ее бескрайними березовыми рощами и куполами белых церквей. Катит свои волны широкая Волга, и на краю беспорядочно разбросанной деревни, в пивнушке сидят и выпивают бородатые мужики в грубых тулупах. Я стою на невысоком холме, с которого Наполеон впервые смотрел на Москву, и вижу этот огромный город. Я спущусь вниз и увижу людей, которых я знаю значительно ближе, чем многих моих друзей,— Алешу и Вронского и многих других. Мой взгляд упал на фарфоровую безделушку, и я почувствовал острый аромат Китая. Меня несут в паланкине по узкой тропке меж рисовых полей, или же я огибаю гору, поросшую деревьями. Мои носильщики весело болтают в это ясное утро, пробираясь по тропе с нелегкой ношей, и время от времени до меня доносится далекий, таинственный, глухой удар монастырского колокола. На улицах Пекина пестрая толпа, расступающаяся, чтобы дать дорогу каравану мягко ступающих верблюдов, которые несут груз шкур и неведомых снадобий из каменистых пустынь Монголии. В Англии, в Лондоне, зимой бывают предвечерние часы, когда тяжелые облака низко нависают над городом, и свет такой тусклый, что сердце болезненно сжимается, но тогда, посмотрев в окно, вы можете увидеть купы кокосовых пальм на берегу кораллового острова. И вот вы идете по берегу, и солнце зажигает серебристый песок таким ослепительным светом, что вам больно смотреть. Над головой щебечут пичужки, и неумолчный прибой разбивается о рифы. Самые прекрасные путешествия — это те, которые вы совершаете, сидя у камина, ибо тогда вы не утрачиваете иллюзий.

Впрочем, есть люди, которые добавляют в кофе соль. Они говорят, что это придает особый привкус, необычный и чарующий аромат. Точно так же есть места, окруженные ореолом романтики, взглянув на которые мы испытываем неизбежное разочарование, но это придает им своеобразную пикантность. Вы ожидали увидеть нечто прекрасное, а сложившееся у вас впечатление неизмеримо более сложно, чем может дать простое созерцание красоты. Это подобно слабостям великих людей, которые делают их менее замечательными, но зато более интересными.

К Гонолулу я совсем не был подготовлен. Он так далеко находится от Европы, столь долгое путешествие нужно проделать до него от Сан-Франциско, такие таинственные и чарующие ассоциации связаны с его именем, что я сначала с трудом верил своим глазам. Я, конечно, не предполагал, что в своем воображении создал точную картину того, что меня ожидает, но то, что я обнаружил, явилось большой неожиданностью. Гонолулу — типичный западный город. Лачуги соседствуют с каменными особняками; за полуразрушенным остовом дома следует шикарный магазин с сияющими витринами; электрические трамваи грохочут по улицам; а по мостовым несутся автомобили — «бьюики», «паккарды», «форды». Магазины переполнены всевозможными плодами американской цивилизации. В каждом третьем доме — банк, в каждом пятом — агентство пароходной компании.

Невообразимая смесь людей заполняет улицы. Американцы, несмотря на климат, носят черные пиджаки, высокие накрахмаленные воротнички, соломенные шляпы, мягкие шляпы и котелки. Канаки, светло-коричневые, с курчавыми волосами,

довольствуются лишь рубашкой и парой брюк, а вот метисы щеголяют яркими галстуками и лакированными кожаными штиблетами. Японцы с подобострастными улыбками вышагивают в чистых и аккуратных белых парусиновых костюмах, а их жены в национальных одеждах семенят шага на два позади с детишками, привязанными за спиной. Японские дети в ярких платьицах с бритыми головками похожи на причудливых кукол. Можно встретить и китайцев. Мужчины, упитанные и цветущие, выглядят чудно в американских костюмах, но женщины очаровательны, с туго зачесанными черными волосами, уложенными столь тщательно и аккуратно, что невозможно даже на минуту представить их в беспорядке, их туники и брюки — белые, бледно-голубые или черные — чисты и опрятны. Наконец, попадаются филиппинцы, мужчины в огромных соломенных шляпах, женщины в ярко-желтых муслиновых платьях с большими пышными рукавами.

Это — место встречи Востока и Запада. Здесь соприкасаются необычайная новизна и невообразимая древность. И если вы не обнаружили ожидаемой романтики, вы все же прикоснулись к чему-то своеобразному и таинственному. Все эти странные люди живут рядом друг с другом, говорят на разных языках, по-разному думают; они верят в разных богов и по-разному оценивают мир; лишь две страсти у них общие — любовь и голод. И порой, глядя на них, вы ощущаете их мощную жизненную силу. Хотя воздух столь нежен, а небо такое голубое, вы чувствуете, не знаю почему,— горячую страсть, которая трепетно пульсирует в толпе. Хотя полисмен-туземец, стоящий на углу на возвышенной площадке, указываю-

щий белой дубинкой направление транспорту, создает атмосферу респектабельности, вы не можете отделаться от впечатления, что эта респектабельность — лишь поверхность, под которой тьма и тайна. Вас охватывает трепет, замирает сердце, совсем как в ночном лесу, когда тишину вдруг нарушит глухой настойчивый удар барабана. Вы можете ожидать всего что угодно.

Я остановился на странностях Гонолулу лишь потому, что, как мне кажется, это дает отправную точку истории, которую я хочу рассказать. Это история о первобытном суеверии, и меня поразило то, что подобные пережитки сохранились в цивилизованной стране, хотя, быть может, и не отличающейся самостоятельной культурой, но все же достаточно развитой. Трудно поверить, что в городе, где так привычны телефоны, трамваи и ежедневные газеты, могут происходить столь невероятные вещи: даже мысль об этом кажется несуразной. И друг, который показывал мне Гонолулу, был так же необычен, как и сам город, поразивший меня сразу же своими удивительными чертами.

Он был американец, звали его Уинтером, я передал ему рекомендательное письмо из Нью-Йорка. Это был человек в возрасте между сорока и пятьюдесятью, с поредевшими черными волосами, седыми на висках, с резкими чертами худощавого лица. Его глаза поблескивали за стеклами больших очков в роговой оправе, благодаря которым он казался несколько застенчивым, но вовсе не забавным. Он был высоким и очень худым. Он родился в Гонолулу, его отец держал магазин, в котором продавался трикотаж и всевозможные товары, от теннисной ракетки до брезента, словом,

все, что мог потребовать любой модник. Это был процветающий бизнес, и я легко могу понять негодование старика Уинтера, когда его сын, отказавшись войти в дело, объявил свое решение стать актером. Мой друг провел двадцать лет на сцене, иногда в Нью-Йорке, но чаще в бродячих труппах, поскольку не обладал большим талантом; но наконец, будучи неглупым, пришел к заключению, что лучше продавать носки и подтяжки в Гонолулу, чем играть маленькие роли в Кливленде, Огайо. Он бросил сцену и занялся бизнесом. Я думаю, после долгих лет рискованного существования он сполна наслаждается, разъезжая в большом автомобиле и живя в прекрасном доме рядом с площадкой для гольфа; и я не сомневаюсь, что, войдя теперь в компанию отца, он ведет дело компетентно. Однако совсем порвать с искусством он все же не смог и, оставив сцену, занялся живописью. Он взял меня к себе в студию и показал свои работы. Вообще-то они были неплохими, однако я ожидал совсем другого. Он не рисовал ничего, кроме натюрмортов, очень маленьких картин, быть может, восемь на десять; и писал их очень нежно, тщательно отделывая. У него проявлялось очевидное пристрастие к деталям. Его фрукты напоминали вам фрукты на картинах Гирландайо. Отдавая должное его терпению, вы в то же время не могли отделаться от впечатления ловкости художника. Я предполагаю, что его несостоятельность как актера объясняется тем, что его игре, изучению которой он уделил много времени и сил, никогда не хватало ни смелости, ни широты, столь необходимых для успеха у публики.

Меня забавляло, как он с видом собственника и в то же время иронично показывал мне город.

В глубине души он полагал, что ни один город в Соединенных Штатах не может сравниться с Гонолулу, но вполне ясно хотел показать свое насмешливое к нему отношение. Он водил меня вокруг разных зданий и переполнялся удовлетворением, когда я выражал свое восхищение их архитектурой. Он показывал мне дома богачей.

— Это дом Стабса,— говорил он.— Его строительство обошлось в сто тысяч долларов. Стабсы — одно из наших славнейших семейств. Старший Стабс появился здесь как миссионер больше семидесяти лет назад.

Он слегка замялся и глянул на меня блестящими глазами через большие круглые очки.

— Все наши лучшие семьи — семьи миссионеров,— сказал он.— Вы еще не совсем гонолулец, если ваш отец или дед не обращали язычников.

— Неужели?

— Знаете ли вы Библию?

— Разумеется,— ответил я.

— Там есть высказывание о том, что отцы ели кислый виноград, а у детей оскомина на зубах. Я полагаю, в Гонолулу это звучит по-иному. Отцы принесли христианство канакам, а дети захватили их землю.

— Небеса помогают тем, кто помогает себе сам,— пробормотал я.

— Конечно, так. С тех пор как жители этого острова восприняли христианство, они больше ничего не восприняли. Короли давали миссионерам землю, запасая сокровища на небесах. Это, конечно, было хорошей инвестицией. Один миссионер оставил этот бизнес — я полагаю, что можно вполне назвать это бизнесом, никого не обижая,— и стал земельным агентом, но это исключение.

В основном же коммерческой стороной предприятия интересовались уже их сыновья. О, это замечательно иметь отца, который пришел сюда пятьдесят лет назад распространять веру.

Он взглянул на свои часы.

— Ого! Они остановились. Значит, как раз время выпить по коктейлю.

Мы помчались по великолепному шоссе, обрамленному красным пурпурным покрывалом цветущей мальвы, и вернулись в город.

— Вы еще не побывали в баре «Юниэн»?

— Пока нет.

— Отправимся туда.

Я знал, что это одна из достопримечательностей Гонолулу, и входил туда с живым любопытством. Вы попадаете в бар через узкий переулок, идущий от Кинг-стрит, заполненный деловыми конторами, так что жаждущие души, возможно, поддерживают с ними связи лишь ради того, чтобы заглянуть в салун. Это большая квадратная комната с тремя входами, напротив, во всю стену, тянется стойка, а в углах отгорожены два маленьких кабинета. Легенда утверждает, что они были построены для короля Калакауа, чтобы тот мог пить, скрытый от глаз своих подданных. Приятно думать, что, быть может, пару раз этот черный как смоль властитель сидел за бутылкой с Робертом Луисом Стивенсоном. Во всяком случае на стене висел его портрет, написанный маслом, в богатой золотой раме; впрочем, тут также были две гравюры с изображением королевы Виктории. Кроме того, на стене были старинные гравюры восемнадцатого века (одна их них, бог знает откуда взявшаяся здесь, воспроизводит театральную декорацию Де Уайльда) и олеографии из рождественского прило-

жения к «Графику» и «Иллюстрейтид Лондон ньюс» двадцатилетней давности. Все это дополнялось рекламными плакатами виски, джина, шампанского и пива, наконец, фотографиями бейсбольных команд и туземных оркестров.

Казалось, это место не имеет никакого отношения к тому современному, энергичному миру, который я оставил за стенами этого заведения на яркой бурлящей улице, и принадлежит к ушедшему и увядающему. Отдавало позавчерашним днем. Тусклое и мутноватое освещение создавало атмосферу тайны, и можно было вообразить, что это самое подходящее место для всякого рода темных дел. Я вспомнил более мрачные времена, когда жизнь была в руках безжалостных людей и жестокие деяния расцвечивали их монотонное существование.

Когда я вошел, бар был достаточно заполнен. Возле стойки кучка бизнесменов обсуждала дела, в углу сидели два канака за бутылкой виски. Два или три человека, вероятно, торговцы, играли в кости. Остальная публика явно состояла из моряков — капитанов, первых помощников и инженеров. За стойкой деловито смешивали коктейли «Гонолулу», которыми славилось это заведение, два одетых в белое метиса, темнокожие, толстые, гладко выбритые, с курчавыми черными волосами и большими блестящими глазами.

Уинтер, казалось, был знаком чуть ли не со всеми присутствующими. Когда мы подошли к стойке, невысокий толстый человек в очках, стоящий в отдалении от других, предложил ему выпить.

— Да нет, капитан, лучше присоединяйтесь к нам,— сказал Уинтер.

Он повернулся ко мне.

— Я хочу вас познакомить с капитаном Батлером.

Мы обменялись рукопожатием, потом разговорились. Однако мое внимание отвлекалось окружающей обстановкой, я не очень слушал своего собеседника, и, выпив по коктейлю, мы разошлись. Когда на обратном пути мы с Уинтером снова сидели в машине, он сказал:

— Я рад, что мы наткнулись на Батлера. Я хотел, чтобы вы с ним встретились. Что вы о нем думаете?

— Не знаю даже, что можно о нем думать,— ответил я.

— Верите ли вы в сверхъестественное?

— Я в этом не уверен,— усмехнулся я.

— Весьма странная вещь произошла с Батлером год или два назад. Вы должны расспросить его об этом.

— Какого рода история?

Уинтер оставил мой вопрос без ответа.

— Я сам себе не могу объяснить это. Но сомневаться в фактах не приходится. Вас интересуют подобные вещи?

— Подобные чему?

— Ну, заклинания, магия и все такое.

— Я ни с чем подобным не сталкивался.

Уинтер на мгновение умолк.

— Я собирался рассказать вам эту историю. Но лучше, чтобы вы услышали ее из уст самого капитана. Что у вас намечено на вечер?

— Пока ничего.

— Отлично. Я постараюсь повидаться с капитаном и договориться о встрече на его судне.

Уинтер рассказал кое-что о нем. Капитан Бат-

лер провел всю свою жизнь на Тихом океане. Он знавал лучшие времена: служил старшим офицером, а потом и капитаном на пассажирском судне, курсировавшем вдоль побережья Калифорнии. Однако судно потерпело крушение, утонуло несколько пассажиров.

— Я полагаю, он был пьян,— сказал Уинтер.

Конечно, организовали расследование, капитана лишили удостоверения, и он решил отправиться подальше. Несколько лет он болтался в Южных морях, но теперь он командовал лишь небольшой шхуной, которая плавала между Гонолулу и другими островами архипелага. Шхуна принадлежит китайцу, для которого тот факт, что у шкипера нет удостоверения, служит веским основанием платить ему меньше, ну а иметь у себя на службе белого человека всегда было престижно.

Теперь, кое-что услышав о нем, я попытался вспомнить, как он выглядел. Я припомнил его круглые очки и круглые голубые глаза за их стеклами и так постепенно мысленно воссоздал его облик. Это был маленький человек, округлый, пухлый, с круглым, подобным луне, лицом и маленьким толстым носом. У него были короткие блестящие волосы и чисто выбритое красное лицо, пухлые руки с ямочками на суставах пальцев и короткие толстые ноги. Это был жизнерадостный человек, а его трагическое прошлое, казалось, должно было оставить на нем шрамы. Хотя ему было года тридцать четыре или тридцать пять, он выглядел значительно моложе. Узнав все это, особенно же о катастрофе, которая так резко разрушила его жизнь, я пообещал себе, что, когда вновь с ним увижусь, буду значительно внимательнее к нему. Очень любопытно наблюдать различные

эмоциональные реакции у разных людей. Некоторые люди, пройдя грозные сражения, опасность неминуемой смерти и невообразимые ужасы, сохраняют свой дух незатронутым, в то время как для других дрожащая лунная дорожка на пустынном море или пение птицы в лесной чаще может явиться причиной потрясения столь сильного, что целиком переворачивает их жизнь. Свидетельствует ли это о силе или слабости, недостатке воображения или же неустойчивости характера? Я не знаю. Когда я вызвал в своем воображении сцену кораблекрушения, с пронзительными криками тонущих, со всем ее ужасом, а затем последовавшее тяжелейшее испытание — расследование, глубокое горе тех, кто потерял близких, и резкие высказывания газет в адрес капитана, которые ему пришлось прочитать, его стыд и позор, я вдруг с неприятным чувством вспомнил, как капитан Батлер в разговоре со мной с открытым бесстыдством распространялся о гавайских школьницах, об Иуэлеи, районе красных фонарей, и о своих удачных авантюрах. Он охотно смеялся, а мне казалось, что после пережитого он никогда не должен был засмеяться вновь. Я вспомнил его красивые белые зубы — пожалуй, единственное, что его украшало. Он начал интересовать меня, и, думая о его веселой бесшабашности, я совершенно забыл о той истории, из-за которой я должен был с ним снова встретиться. Я хотел увидеть его скорее для того, чтобы разобраться в нем, понять, что он за человек.

Уинтер все устроил, и после обеда мы отправились к причалу. Нас уже ожидала корабельная шлюпка, и мы поплыли. Шхуна стояла на якоре по ту сторону гавани, неподалеку от волнолома.

Мы пристали к шхуне, и я услышал звуки юкэлеле. Мы вскарабкались по лестнице.

— Видимо, он у себя в каюте,— сказал Уинтер, идущий впереди.

Каюта была маленькая, грязная, с неприбранными постелями, у одной стены был закреплен стол, а вдоль всех стен шла широкая скамья, на которой спали, по всей вероятности, пассажиры, достаточно неблагоразумные, чтобы отправиться в путешествие на таком судне. От керосиновой лампы исходил мутноватый свет. Туземная девушка играла на юкэлеле, а Батлер полулежал, положив ей голову на плечо и обняв рукой за талию.

— Вы уж простите, что побеспокоили вас, капитан,— шутливо сказал Уинтер.

— Хорошо сделали, что пришли,— сказал Батлер, приподнимаясь и пожимая нам руки.— Чем могу быть полезен?

Сгущалась теплая ночь, через открытую дверь на почти совсем синем небе виднелись бесчисленные звезды. Капитан Батлер был в майке, обнажавшей его пухлые белые руки, и невероятно грязных штанах. Ноги его были босы, зато кудрявую голову украшала чрезвычайно старая и потерявшая какую-либо форму фетровая шляпа.

— Позвольте вас представить моей девушке. Разве она не первый сорт?

Мы пожали руку действительно очень хорошенькой девушке. Она была гораздо выше капитана, и даже «мамаше Хаббард», этому балахону, который миссионеры последнего поколения напялили на сопротивлявшихся туземок в интересах благопристойности, не удавалось скрыть красоту ее форм. Трудно было предположить, что с годами

она может стать тучной, ибо сейчас она была полна грации и изящества. Ее шоколадная кожа была шелковисто-нежной, глаза — прекрасны. Ее густые и мягкие черные волосы обвивали голову тугой косой. Приветствуя нас, она была очаровательно естественна и обнажала в улыбке маленькие белые ровные зубы. Без всякого сомнения, она была необыкновенно привлекательной. И легко было видеть, что капитан был влюблен в нее по уши. Он не мог оторвать от нее глаз и все время норовил коснуться ее. Его было легко понять; странным казалось другое: девушка отвечала ему взаимностью. Ее глаза светились нежностью, и губы слегка приоткрывались, как будто она с трудом сдерживает вздох страсти. Это волновало. И даже немного трогало, и я ничего не мог поделать с этим ощущением. Какое чудо создало эту влюбленную пару? Я уже жалел, что Уинтер меня привел сюда. И мне стало казаться, что грязная каюта преобразилась и теперь представлялась самым подходящим и естественным местом, где могла проявиться вся чрезмерность страсти. Я думал, что никогда не забуду эту шхуну из гавани Гонолулу, стоящую под погрузкой среди других судов и, однако же, под этим огромным звездным небом столь далекую от всего мира. И я представлял этих возлюбленных плывущими вместе через пустынные просторы Тихого океана от одного зеленого холмистого острова к другому. Легкий ветер романтики нежно овеял мое лицо.

И все же Батлер был самым неподходящим человеком в мире для романтической истории, трудно было увидеть, чем он мог вызвать любовь. В той одежде, какая была сейчас на нем, он выглядел еще толще, чем всегда, а его круглые очки

придавали его лицу вид жеманного херувима. Он больше напоминал пропившегося священника. Его речь была приправлена причудливыми американизмами, и именно поэтому, не в состоянии воспроизвести ее без утраты живости, я намереваюсь пересказать историю, которую несколько позже мне поведал Батлер, своими собственными словами. К тому же он не способен завершить фразу, не употребив при этом крепких выражений, и хотя они были вполне приличными и могли оскорбить разве что женское ухо, в напечатанном виде все же они выглядели бы грубовато. Капитан был веселым человеком, и, быть может, этим объясняется его успех в любовных делах; ибо женщины (большинство из них — легкомысленные создания) с трудом выносят мужчин, которые относятся к ним слишком серьезно, и редко оказывают сопротивление шуту, способному вызвать у них смех. Их чувство юмора примитивно. Диана Эфесская всегда готова отбросить свое благоразумие ради красноносого комедианта, севшего на собственную шляпу. Я полагал, что капитан Батлер обладал шармом. Если бы я не знал трагической истории о кораблекрушении, я бы считал его самым беззаботным существом в мире.

Как только мы вошли, наш хозяин позвонил в колокольчик, и теперь появился кок-китаец, неся стаканы и несколько бутылок содовой. На столе уже стояла бутылка виски и пустой стакан капитана. Когда я увидел китайца, я буквально вздрогнул: никогда не встречал я более уродливого человека. Он был невысоким, но зато толстым и к тому же некрасиво хромал. Одет он был в куртку и штаны, некогда белые, а теперь невероятно грязные; копну его торчащих седых волос венчала

старая твидовая охотничья шляпа. Она выглядела бы уморительно на голове любого китайца, здесь же она представлялась просто чудовищной. Его широкое квадратное лицо было плоским, как если бы его приплюснули мощным ударом кулака, и покрыто глубокими оспинами; но самым отвратительным в его облике была ярко выраженная заячья губа, которая никогда не оперировалась, так что она поднималась углом к самому носу, обнажая огромный желтый клык. Это было ужасно. Он пришел с сигаретой в углу рта, и это, не знаю почему, придавало его лицу дьявольское выражение.

Он разлил виски и откупорил бутылку содовой.

— Не пролей, Джон,— сказал капитан.

Тот ничего не ответил и подал стакан каждому из нас. Затем вышел.

— Вижу, вы загляделись на моего китайца,— сказал Батлер с усмешкой на жирном, лоснящемся лице.

— Не хотелось бы с ним встретиться темной ночью,— сказал я.

— Он на самом деле грубоват,— согласился капитан с каким-то странным удовлетворением.— Но у него есть прекрасное качество. Готов в этом поклясться перед всем миром: стоит на него взглянуть — и тебя тут же потянет на выпивку.

Мой взгляд упал на тыкву, висевшую на стене прямо над столом, и я стал ее разглядывать. Я давно охотился за старой тыквой, и эта была получше, чем я где-либо до сих пор встречал.

— Мне ее подарил вождь одного из островов,— сказал капитан, наблюдая за мной.— Я оказал ему услугу, а он захотел меня отблагодарить.

— Он это сделал лучшим образом,— заметил я.

Я раздумывал, как осторожнее предложить капитану Батлеру продать мне ее, ведь вряд ли у него мог быть запас таких тыкв. Вдруг, как бы прочитав мои мысли, он сказал:

— Я бы не продал ее и за десять тысяч долларов.

— Еще бы,— добавил Уинтер.— Это было бы преступлением.

— Почему? — удивился я.

— Это целая история,— ответил Уинтер.— Не так ли, капитан?

— Ну конечно.

— Хотелось бы услышать ее.

— Ночь еще слишком юная,— сказал капитан.

Ночь уже явно созрела, когда Батлер удовлетворил мое любопытство, а между тем мы выпили порядочно виски, пока он живописал свои похождения в стародавние времена в Сан-Франциско и Южных морях. Наконец девушка уснула. Она свернулась калачиком на скамье, положив лицо на смуглую руку, и ее грудь мягко поднималась и опускалась вместе с дыханием. Во сне она выглядела печальной, но полной мрачной красоты.

Он нашел ее на одном из островов архипелага, среди которых плавал на своей старой ветхой шхуне в поисках груза. Канаки не любят работать, и работящие китайцы и ловкие японцы прибрали торговлю в свои руки. У ее отца был клочок земли, на котором он выращивал бананы и таро, и лодка, на которой он выходил ловить рыбу. Он был каким-то дальним родственником помощника капитана и однажды пригласил Батлера в свой маленький невзрачный домик провести свободный вечер. Они взяли с собой бутылку виски и юкэлеле. Капитан не отличался застенчивостью и, когда увидел де-

вушку, приударил за ней. Он бегло говорил на туземном наречии, ему не составило труда быстро преодолеть застенчивость девушки. Они провели вечер, танцуя и распевая песни, и кончилось тем, что оказались сидящими рядом, причем капитан обнимал ее за талию. Случилось так, что им пришлось задержаться на острове на несколько дней, и капитан, не любивший торопиться, не прилагал усилий, чтобы сократить время стоянки. Ему было весьма неплохо в маленькой уютной гавани, ну а впереди еще была долгая жизнь. По утрам и вечерам он плавал вокруг своего судна. На берегу была бакалейная лавка, где матросы могли опрокинуть стаканчик виски, и большую часть дня он проводил здесь за игрой в криббадж с хозяином-метисом. Вечером капитан со своим помощником отправлялся в дом, где жила красивая девушка, и они пели песни и рассказывали истории. Отец девушки сам предложил Батлеру взять ее с собой. Они по-дружески обсуждали дело, а девушка, прильнув к капитану, поощряла его пожатием руки и нежной улыбкой. Он уже полюбил ее, к тому же подумывал о семейном очаге. На море порой становится тоскливо, и как было бы славно иметь рядом с собой на этой старой посудине такое очаровательное маленькое создание. Посмотрев на дело практически, он обнаружил, что она могла бы и быть полезной, скажем, штопать ему носки и следить за бельем. Ему основательно надоело получать вещи, обращенные китайцем в лохмотья во время стирки, туземцы стирают гораздо лучше, а капитан, сходя на берег в Гонолулу, любил покрасоваться в элегантном полотняном костюме. Остановка была лишь за ценой. Отец хотел двести пятьдесят долларов, а капитан, не отличавшийся боль-

шим достатком, не мог тут же выложить такую сумму. Но он был широкой натурой, да и рядом было нежное лицо девушки, и не захотел торговаться. Он предложил дать сто пятьдесят долларов сразу же, а оставшуюся сотню через три месяца. Каждая сторона выдвигала свои доводы, и в этот вечер к соглашению не пришли, но капитан загорелся идеей и спать спокойно уже не мог. Снилась любимая девушка, и он пробуждался каждый раз от ощущения, будто к его губам прикасались ее мягкие чувственные губы. Наутро он себя проклинал за то, что, когда в последний раз был в Гонолулу, проиграл за ночь в покер столь нужные ему наличные. И если накануне ночью он был влюблен в девушку, то этим утром он обезумел от страсти.

— Слушай, Бэнанес,— сказал он помощнику,— я должен получить эту девушку. Ступай и скажи старику, что я принесу ему гроши сегодня вечером. Я считаю, что мы будем готовы отплыть на рассвете.

Мне непонятно, почему помощнику дали такое эксцентричное имя. Вообще-то его звали Уилер, но, хотя он носил эту английскую фамилию, в нем не было ни капли белой крови. Это был высокий, хорошо сложенный человек, правда, со склонностью к полноте, и с гораздо более темной кожей, чем обычно бывает у гавайцев. Он был далеко не молод, и его густые курчавые волосы уже поседели. На его верхние передние зубы были надеты золотые коронки. Он ими очень гордился. Он заметно косил, и это придавало его лицу некоторую угрюмость. Капитан, любивший хорошую шутку, находил в нем неистощимый источник для юмора и тем не менее сомневался, стоит ли смеяться над дефектом Бэнанеса, поскольку видел, что тот легко ра-

ним. Не в пример большинству туземцев Бэнанес был молчалив, и капитан Батлер мог бы его невзлюбить, если бы человек с таким добрым характером был способен невзлюбить кого-нибудь. Капитану нравилось находиться в море с теми, с кем можно поболтать, он был разговорчивым, общительным существом, и каково же ему было жить изо дня в день рядом с таким парнем, который никогда не раскрывает рта,— да впору только спиться! Чего он только ни делал, чтобы раскачать помощника! Он немилосердно вышучивал его — но что хорошего смеяться в одиночку, и капитан пришел к выводу, что ни пьяный, ни трезвый Бэнанес не был подходящей компанией для белого человека. Однако он был хорошим моряком, и капитан был достаточно практичен, чтобы знать цену помощника, которому можно доверять.

Ему нередко случалось во время плаванья вернуться с берега на корабль в таком виде, что он был годен лишь на то, чтобы свалиться на койку, и очень важно было знать, что он может там оставаться, пока не проспится после попойки, ибо на Бэнанеса можно было положиться. Но парень он был необщительный, а было бы таким удовольствием с кем-нибудь поболтать. Так что девушка была очень кстати. Кроме того, он не стал бы так напиваться, сходя на берег, если бы знал, что здесь, на борту, когда он вернется, его будет ждать очаровательная малютка.

Он пошел к своему приятелю лавочнику и за джином с содовой попросил у него взаймы. Лавочнику порой может понадобиться какая-нибудь услуга от капитана, и поэтому после пятнадцатиминутного разговора вполголоса (вовсе незачем трубить на весь свет о своих делах) капитан набил

карманы своих брюк пачками денег и той же ночью вернулся на корабль вместе с девушкой.

Все, к чему устремлялся в своих помыслах капитан Батлер, свершилось наяву. Пить он не бросил, но пьянствовать прекратил. Провести вечер с приятелями недурно, если две-три недели не появлялся в городе, но так же приятно было вернуться к своей малышке; он представлял, как он входит в свою каюту и застает ее сладко спящей, как склоняется над ней и она медленно раскрывает глаза и протягивает к нему руки: это было замечательно! Он понял, что выгодно употребил свои деньги и, будучи щедрым человеком, смог теперь делать девушке подарки: подарил ей гребни в серебряной оправе для ее длинных волос, золотую цепочку, искусственный рубин на палец. Все-таки здорово жить на свете!

Пролетел год, целый год, а она ему не надоела. Он был не из тех, кто копается в своих чувствах, но это было настолько удивительно, что привлекло его внимание. Должно быть, что-то чудесное заключалось в этой девушке. Капитан и без посторонней помощи мог сообразить, что привязался к девушке, чего никогда ранее с ним не случалось, и порой у него появлялась мысль, что вовсе неплохо было бы на ней жениться.

Однажды помощник не явился ни к обеду, ни к чаю. Во время обеда Батлер не обратил внимания на его отсутствие, но за чаем он спросил китайца-кока:

— Где помощник? Он не придет к чаю?

— Нет хотеть чай,— ответил кок.

— Не заболел ли он?

— Не знаю.

На следующий день Бэнанес вернулся, но был

он более мрачным, чем когда-либо, и капитан поинтересовался у девушки, не знает ли она, в чем дело. Она улыбнулась и пожала своими прелестными плечами. Она рассказала капитану, что Бэнанес влюбился в нее и огорчен ее отказом. Капитан обладал хорошим чувством юмора и не был ревнивым; ему показалось невероятно смешным, что Бэнанес мог влюбиться. У мужчины, столь косоглазого, как он, слишком мало шансов на взаимность. Во время чая капитан весело его поддразнивал. Делая вид, что он говорит в воздух, так, чтобы у помощника не возникло уверенности, что он все знает, капитан нанес ему несколько чувствительных ударов. Девушке, однако, все это не представлялось столь же смешным, и она вскоре попросила капитана прекратить шутки. Батлера удивила ее серьезность. Она пояснила, что он не знает ее народа. Когда в них возбуждается страсть, они способны на все. Она была слегка испугана. Для Батлера это было таким абсурдом, что он искренне расхохотался.

— Если он будет докучать тебе, ты только пригрози, что скажешь мне. Это отрезвит его.

— Я думаю, лучше выгнать его совсем.

— Ну это уж дудки. Я понимаю толк в моряках, и он моряк хороший. Но если он не оставит тебя в покое, я устрою ему хорошенькую взбучку, так, чтобы отбить охоту навсегда.

Может быть, девушка обладала мудростью, не свойственной ее полу. Она знала, что бесполезно спорить с мужчиной, если он уже для себя все решил, ибо это лишь увеличит его сопротивление, и приняла все как есть. И теперь на грязной шхуне, прокладывающей свой путь через спокойное море, меж цветущих островов, назревала мрач-

ная, напряженная драма, о которой маленький толстый капитан и не подозревал. Сопротивление девушки так разожгло Бэнанеса, что он перестал быть человеком, он был полон одним слепым желанием. Его любовь к ней выражалась не в ласке или радости, но в какой-то мрачной и дикой ярости. Ее презрение сменилось ненавистью, и, когда он обращался к ней с мольбой, она отвечала с горькой и резкой злобой. Но борьба шла невидимая, молчаливая, и когда капитан спросил ее немного позже, оставил ли Бэнанес ее в покое, девушка солгала.

Но однажды ночью, когда они стояли у Гонолулу, Батлер вернулся с берега как раз вовремя. Они отплывали на рассвете. Бэнанес на берегу наглотался туземной водки и был пьян. Капитан, налегая на весла, услышал звуки, поразившие его. Он вскарабкался по трапу. И увидел Бэнанеса, который старался взломать дверь каюты: он проклинал девушку, грозился ее убить, если она не впустит его.

— Ты что, черт возьми, вытворяешь! — закричал Батлер.

Помощник отпустил ручку двери, бросил на капитана взгляд, полный дикой ненависти, и, ни слова не говоря, хотел уйти.

— Постой. Так что ты собирался сделать с этой дверью?

Помощник все еще молчал. Он смотрел на капитана с мрачной бессмысленной яростью.

— Я отучу тебя от твоих дрянных штучек, грязный косоглазый ниггер,— сказал капитан.

Он был на добрый фут ниже помощника и не мог с ним потягаться, но он рассчитывал на поддержку туземной команды, и кроме того, у капитана был удобный кастет. Быть может, это не ору-

жие, каким должен пользоваться джентльмен, но ведь капитан Батлер не был джентльменом. Не привык он и иметь дела с джентльменами. Прежде чем Бэнанес мог что-нибудь сообразить, правая рука капитана выстрелила, и кулак со стальным кольцом угодил ему прямо в челюсть. Он грохнулся, как бык под топором.

— Это ему урок,— сказал капитан.

Бэнанес не шевельнулся. Девушка отперла каюту и вышла.

— Он умер?

— Нет.

Он позвал пару матросов и приказал отнести помощника на его койку. Он с удовлетворением потер руки, и его круглые голубые глаза сверкнули за стеклами очков. Но девушка была странно молчалива. Она обвила капитана руками, как бы стараясь защитить его от незримой беды.

Прошло два или три дня, пока Бэнанес поднялся на ноги, и когда он вышел из своей каюты, можно было видеть, что лицо его распухло и все в ссадинах. Несмотря на темную кожу, синяки были хорошо заметны. Батлер заметил, как он осторожно пробирался вдоль палубы, и окликнул его. Помощник молча направился к нему.

— Послушай-ка, Бэнанес,— сказал капитан, закрепляя очки на вспотевшем носу — жара стояла страшная.— Я не собираюсь тебя выгонять за это, но ты теперь должен знать, что если я бью — я бью больно. Не забывай этого и прекрати заниматься грязными делишками.

Потом он протянул руку и озарил помощника добродушной светлой улыбкой, в которой таилось обаяние капитана. Помощник взял протянутую руку, и его распухшие губы расплылись в дьяволь-

ской ухмылке. По мнению капитана, инцидент был окончательно исчерпан, и, когда они втроем сидели за обедом, он опять стал подшучивать над появившимся Бэнанесом. Тот ел с трудом, и его распухшее лицо еще больше было перекошено от боли, так что производил он действительно весьма отталкивающее впечатление.

Этим вечером, когда капитан сидел на верхней палубе, покуривая трубку, его сотрясла дрожь.

— Не понимаю, чего это меня знобит в такую ночь,— пробормотал он.— Может, я подхватил лихорадку? Целый день какое-то недомогание было.

Перед сном он принял хинин, и на следующее утро ему стало лучше, хотя и чувствовал он себя слегка ослабевшим, как после порядочной попойки.

— Видимо, с печенью не в порядке,— подумал капитан и принял таблетку.

Его совсем покинул аппетит в тот день, а к вечеру ему стало и вовсе скверно. Он прибегнул еще к одному средству, какое знал, — выпить две-три стопки горячего виски, но и это не оказалось действенным, и, когда на следующее утро он глянул в зеркало, совсем не узнал себя.

— Если я не поправлюсь к нашему возвращению на Гонолулу, придется позвать доктора Дэнби. Он-то меня поднимет на ноги.

Он уже не мог есть. Во всем теле он ощущал чрезвычайную вялость. Спал он крепко, но пробуждался совсем не отдохнувшим, наоборот, он чувствовал странное изнурение. И этому маленькому энергичному человеку, которому и в голову не могло прийти валяться в постели, приходилось прилагать огромные усилия, чтобы подняться со

своей койки. Через несколько дней он обнаружил, что не в силах преодолеть охватившую его слабость, и решил отлежаться.

— Бэнанес может присмотреть за судном,— сказал он.— Он теперь в норме.

Он про себя рассмеялся, вспомнив, как часто ему приходилось валяться безмолвным бревном в своей койке после ночной попойки с приятелями. Это было до того, как он обрел свою девушку. Он улыбнулся ей и пожал ее руку. Девушка была озадачена и встревожена. Он заметил, что она беспокоится за него, и старался ее утешить. За всю свою жизнь он не болел и дня, так что через неделю он будет в полном порядке.

— Я хочу, чтобы ты выгнал Бэнанеса,— сказала она.— Я чувствую, что он всему виной.

— Ну, подобной глупости я не сделаю, кто тогда поведет судно? Я понимаю толк в моряках, и он моряк хороший.— Его голубые глаза, теперь как бы выцветшие, с пожелтевшими белками, блеснули.— Уж не думаешь ли ты, малышка, что он пытался меня отравить?

Она не ответила, но, поговорив раза два с коком-китайцем, сама взяла на себя главную заботу о питании капитана. Но он ел очень мало, и ей с огромным трудом удавалось уговорить его выпить чашку супа раза два-три в день. Было очевидно, что он очень болен, он быстро терял в весе, его упитанная физиономия побледнела и осунулась. Он не испытывал никакой боли, но с каждым днем нарастала слабость и апатия. Слабость его изнуряла. Их плавание продолжалось на этот раз около четырех недель, и к приходу в Гонолулу капитан был не на шутку встревожен своим состоянием. Он не вставал с постели уже две

недели и чувствовал себя слишком слабым, чтобы подняться и отправиться к доктору. Он послал ему письмо с просьбой прийти на судно. Врач осмотрел его, но никак не мог объяснить его состояние. Температура была нормальной.

— Послушайте, капитан,— сказал он.— Я буду с вами совершенно откровенным. Я не знаю, что с вами, обследование, которое я провел, не позволяет мне установить диагноз. Вы должны отправиться в больницу, так чтобы мы держали вас под наблюдением. Никаких органических нарушений у вас нет, в этом я уверен, и, я полагаю, несколько недель в больнице приведут вас в порядок.

— Я не собираюсь покидать мое судно.

Китайцы-владельцы были странноватые типы, сказал он; если он оставит судно из-за болезни, хозяин судна может выгнать его, а ему никак нельзя терять работу. Пока он остается здесь, он застрахован контрактом, да и помощник у него первоклассный. К тому же он не хочет расстаться с девушкой. Никто не пожелал бы лучшей сиделки; если кто и смог бы вытащить его из болезни, то это лишь она. Все люди смертны, и единственное, в чем он нуждается,— чтобы его оставили в покое. Он и слушать не желал увещеваний врача, и наконец доктор уступил.

— Я выпишу вам рецепт,— сказал он неуверенно,— и посмотрим, станет ли вам лучше. А пока лучше оставайтесь в постели.

— Об этом не стоит беспокоиться, док,— отвечал капитан.— Я чувствую себя не сильнее кошки.

Но он верил в рецепт доктора так же мало, как сам доктор, и, когда остался один, утешался тем, что поджег его своей сигарой. А развлечься

чем-нибудь ему было необходимо, поскольку сигара ему казалась безвкусной, и он курил потому лишь, что хотел себя убедить, что не слишком-то он болен. Вечером несколько друзей, хозяев грузовых пароходов, прослышав, что он болен, пришли его навестить. Они обсуждали его состояние за бутылкой виски и ящиком филиппинских сигар. Один из них припомнил, как с его помощником приключилась подобная же странность и ни один врач в Соединенных Штатах не сумел его вылечить. И тут он прочитал в газете рекламу какого-то патентованного лекарства и подумал, что было бы невредно попробовать его. И окреп и выздоровел всего после двух бутылок этого средства. Но болезнь придала капитану Батлеру новую и странную прозорливость, и пока они говорили, он, казалось, читал их мысли. Они считали, что он умирает. И как только они ушли от него, капитану стало страшно.

Девушка увидела его беспомощность. И решила воспользоваться удобным случаем. Она убеждала его пригласить туземного лекаря, и он решительно отказывался, но теперь она буквально умоляла его. Он слушал с тревогой в глазах. Он колебался. Было очень странным, что доктор-американец не смог сказать, что с ним такое. Но он не хотел, чтобы она подумала, что он напуган. Если он позволит проклятому ниггеру прийти осмотреть себя, то лишь затем, чтобы успокоить ее. Он сказал ей, пусть поступает как хочет.

Туземный лекарь пришел на следующую ночь. Капитан лежал один, в полудреме, каюта освещалась смутным светом керосиновой лампы. Дверь мягко отворилась, и на цыпочках вошла девушка. Она оставила дверь открытой, и кто-то тихо

проскользнул вслед за ней. Капитан улыбнулся этой таинственности, но он был таким слабым, что улыбка оказалась не больше, чем слабым мерцанием в его глазах. Лекарь был маленький старичок, очень худой и морщинистый, с совершенно лысой головой и обезьяньим лицом. Он смахивал на сучковатое и согнувшееся старое дерево. Он мало походил на человека, но его глаза были яркими, и в полутьме казалось, что они вспыхивают красноватым пламенем. На нем были грязные хлопчатобумажные штаны, дангари, а верхняя часть тела оставалась обнаженной. Он присел на корточки и минут десять смотрел на капитана. Затем ощупал ладони его рук и ступни ног. Девушка испуганными глазами следила за его действиями. Не было произнесено ни слова. Потом лекарь попросил дать какую-нибудь вещь из одежды капитана. Девушка протянула ему старую фетровую шляпу, которую капитан постоянно носил; лекарь, крепко держа шляпу обеими руками, опустился обратно на пол и, раскачиваясь назад и вперед, тихо забормотал какую-то тарабарщину.

Наконец он издал слабый вздох и выронил шляпу. Он извлек из кармана своих штанов старую трубку и зажег ее. Девушка приблизилась к нему и села рядом. Он что-то прошептал ей, и она сильно вздрогнула. Несколько минут они торопливо вполголоса говорили, а затем оба поднялись. Она дала ему денег и открыла дверь. Он выскользнул так же бесшумно, как и вошел. Девушка тут же вернулась к капитану и склонилась прямо к его уху:

— Это враг молится о твоей смерти.

— Не болтай чепухи, деточка,— раздраженно сказал капитан.

— Это правда. Истинная правда! Вот почему американский доктор не способен ничего сделать. А наши люди могут. Я видела, как они это делают. Я думала, что ты в безопасности, раз ты белый человек.

— У меня нет врага.

— А Бэнанес?

— С какой стати он будет молиться о моей смерти?

— Ты должен был его прогнать до того, как он начал вредить.

— Ну, я полагаю, если меня всего-навсего сглазил Бэнанес, то я через несколько дней поднимусь и ко мне вернется аппетит.

Она некоторое время молчала и пристально смотрела на капитана.

— Неужели ты не понимаешь, что умираешь? — наконец произнесла она.

То же самое думали и приходившие его навещать два шкипера, только они не говорили это вслух. Мурашки пробежали по бледному лицу капитана.

— Доктор говорит, что у меня нет ничего серьезного. Я должен только вылежаться и буду здоров.

Она приблизила свои губы к самому уху капитана, как бы опасаясь, что ее может подслушать воздух.

— Ты умираешь, умираешь, умираешь. Ты уйдешь вместе со старым месяцем.

— Ну, это еще неизвестно.

— Ты умрешь со старым месяцем, если Бэнанес не умрет прежде.

Он был не из робкого десятка и уже пришел в себя, ошарашенный на минуту смыслом ее слов,

а в особенности той страстностью и таинственностью, с какими они были произнесены. Снова улыбка промелькнула в его глазах.

— Я думаю, у меня еще есть шанс, малышка.

— Остается двенадцать дней до новолуния.

Что-то в ее тоне насторожило его.

— Послушай, девочка моя, все это — чепуха. Я не верю ни одному твоему слову. Но я не хочу, чтобы ты проделывала свои обезьяньи трюки с Бэнанесом. Он не красавец, нет, но он первоклассный помощник.

Капитан мог бы сказать ей и больше, но он смертельно устал. Он внезапно почувствовал страшную слабость и впал в обморочное состояние. В это время суток он всегда чувствовал себя хуже. Он прикрыл глаза. Девушка с минуту продолжала за ним наблюдать, а потом выскользнула из каюты. Почти полная луна проложила серебристый путь через темное море. Она лила свой свет с безоблачного неба. Девушка смотрела на луну с ужасом, ведь она знала, что с ее исчезновением должен умереть человек. Его жизнь была в ее руках. Она могла спасти его, она одна могла спасти его, но враг был коварен, и она тоже должна быть коварной. Она почувствовала, что кто-то смотрит на нее, и не оборачивалась; скованная внезапным страхом, она по тени догадалась, что на нее устремлены пылающие глаза помощника капитана. Она не знала, что он способен предпринять; если бы он мог прочитать ее мысли, она бы уже погибла, и с отчаянным усилием она выкинула все из головы. Лишь смерть помощника спасла бы ее возлюбленного, и она готова была осуществить убийство. Она знала, что если заставить человека посмотреть в тыкву, наполненную водой,

а затем разбить его отражение, он должен умереть, как от удара молнии, ибо отражение — это его душа. Но никто лучше помощника не знал об этой опасности, так что на свое отражение он взглянул бы лишь в том случае, если бы величайшей хитростью усыпили его малейшие подозрения. Ни в коем случае он не должен знать, что у него есть враг, который следит за ним, дабы привести его к гибели. Она знала, что делать. Но времени оставалось мало, времени было ужасно мало. Она поняла, что помощник ушел. Она вздохнула свободнее.

Два дня спустя они отплыли. Оставалось десять дней до новолуния. На капитана Батлера было страшно смотреть. От него остались лишь кожа да кости, он не мог двигаться без посторонней помощи. Говорил он с трудом. Но девушка все еще не отважилась что-нибудь предпринять. Она знала, что должна быть терпеливой. Помощник коварен, очень коварен. Они подошли к одному маленькому острову архипелага и разгрузились, и теперь оставалось всего семь дней до решающего события. Наступил момент действовать. Девушка принесла несколько вещей из каюты, которую занимала с капитаном, и связала их в узел. Она отнесла узел в каюту на палубе, где они с Бэнанесом ели, и в обед, когда она вошла, он быстро обернулся, и она увидела, что он разглядывает вещи. Никто из них ничего не говорил, но она знала, что Бэнанес охвачен подозрениями. Она готовилась покинуть судно. Он насмешливо смотрел на нее. Постепенно, словно стремясь, чтобы капитан не догадался о ее намерениях, она перетащила в эту каюту все свои вещи и кое-что из одежды капитана и все это связала в узлы. Наконец Бэнанес прервал молчание. Он указал

рукой на мужской костюм, лежащий на палубе.

— Что ты собираешься делать с этим?

Она пожала плечами.

— Я собираюсь вернуться на свой остров.

Он рассмеялся, отчего его уродливое лицо перекосилось. Капитан умирал, и она задумала сбежать со всем, что могла унести в руках.

— А что ты сделаешь, если я скажу, что ты не можешь взять эти вещи? Они принадлежат капитану.

— Тебе-то от них какая польза,— ответила девушка.

Там на стене висела выдолбленная тыква. Это была та самая тыква, которую я увидел, войдя в каюту, и о которой мы говорили. Девушка сняла ее. Тыква была вся в пыли, и девушка, наполнив ее водой из кувшина, стала мыть ее руками.

— А что ты собираешься делать с этим?

— Я могу ее продать за пятьдесят долларов.

— Если ты хочешь ее взять, то должна заплатить мне.

— Чего ты хочешь?

— Ты знаешь, чего я хочу.

Легкая улыбка скользнула по ее губам. Девушка бросила быстрый взгляд на него и тут же отвернулась. Он тяжело дышал, охваченный желанием. Она приподняла плечи, как бы недоумевая. В диком прыжке он подскочил к ней и заключил в объятия. Она рассмеялась. Она обвила своими нежными, мягкими руками его шею и сладострастно отдалась ему.

Когда наступило утро, она разбудила его. Ранние солнечные лучи врывались в каюту. Он прижал ее к груди. Потом он сказал ей, что капитан протянет самое большее день-два и хозяину

судна не так-то легко будет найти другого белого капитана. Если Бэнанес согласится получать меньше денег, он получит это место, и девушка могла бы остаться с ним. Он смотрел на нее влюбленными глазами. Девушка прильнула к нему. Она целовала в губы, на чужеземный манер, так, как ее учил целоваться капитан. И пообещала остаться. Бэнанес был опьянен счастьем.

Итак, теперь или никогда.

Она поднялась и пошла к столу, чтобы причесаться. Зеркала не было, и она гляделась в свое отражение в воде, налитой в тыкву. Она прибрала свои роскошные волосы. Потом пригласила Бэнанеса подойти. Она указала на тыкву.

— Там что-то на дне,— сказала она.

Машинально, без тени подозрения, Бэнанес стал вглядываться в воду. Его лицо отражалось на гладкой поверхности. В мгновение ока она сильно ударила по воде обеими руками, окунув их до дна, так что вода выплеснулась через край. Отражение разлетелось на мелкие кусочки. Бэнанес отпрянул с хриплым криком и посмотрел на девушку. Она стояла перед ним с выражением торжествующей ненависти на лице. Ужас засветился в его глазах. Его грубые черты исказились в агонии, и, как если бы приняв сильный яд, он с глухим стуком громыхнулся на палубу. Жуткая судорога сотрясла его тело, и он затих. Она с безразличием склонилась над ним. Положила руку ему на сердце и затем оттянула его нижнее веко. Он был мертв.

Она вошла в каюту, где лежал капитан Батлер. На его щеках появилась легкая краска, и он удивленно на нее посмотрел.

— Что случилось?— прошептал он.

Это были первые слова, произнесенные им за двое суток.

— Ничего не случилось,— ответила она.

— Я чувствую себя как-то странно.

Потом его глаза закрылись, и он погрузился в сон. Он проспал весь день и всю ночь и, когда проснулся, попросил есть. Через две недели он поправился.

Мы с Уинтером возвращались на берег уже под утро, порядочно набравшись виски с содовой.

— Что вы думаете об всем этом?— спросил Уинтер.

— Вот это вопрос! Если вы хотите спросить, могу ли я предложить какое-нибудь объяснение этому, то отвечу — нет, не могу.

— Капитан верит каждому слову этой истории.

— Это ясно, но меня здесь больше всего заинтересовало вовсе не то, правда ли это и что все это означает; меня крайне интересует, что такое произошло с подобным человеком. Меня удивляет, чем мог этот маленький, в общем-то заурядный человек возбудить такую страсть в этом очаровательном создании. Когда я смотрел на нее, засыпающую под звуки голоса капитана, рассказывающего эту историю, у меня мелькнула мысль о силе любви, способной творить чудеса.

— Но это вовсе не та девушка,— сказал Уинтер.

— Черт возьми, что вы хотите сказать?

— Вы не обратили внимания на кока?

— Разумеется. Большего урода я в жизни не видел.

— Именно потому Батлер и взял его. Та девушка сбежала с китайцем-коком в прошлом году.

Это новый кок. Он у него всего около двух месяцев.

— Ну и ну, будь я проклят!

— Он полагает, что при таком коке-страшилище может не опасаться за девушку. Но я бы на его месте не обольщался. В этом китайце что-то есть. И когда он из кожи вон лезет, чтобы угодить женщине, он способен многого добиться.

СОСУД ГНЕВА

На свете не так много книг, содержащих больше фактических данных, чем «Руководства по навигации», изданные Гидрографическим департаментом по указанию специальной комиссии Адмиралтейства. Они представляют собой красивые тома, переплетенные (весьма непрочно) в разного цвета обложки, и самый дорогой из них — дешев. За четыре шиллинга вы можете купить «Лоцию Янцзыцзян», «содержащую описание Янцзыцзян и руководство по навигации от Усуна до самой верхней судоходной точки, включая реки Ханьцзян, Ялунцзян и Миньцзян», а за три шиллинга вы можете получить часть третью «Лоции восточного архипелага», «которая включает описание северо-восточной части Целебеса, проливов Молуккского и Джайлоло, а также морей Банда и Арафурского и северного, западного и юго-западного побережья Новой Гвинеи». Но не очень осмотрительно делать это, если вы человек с установившимися привычками, с которыми вам не хотелось

бы расстаться, или у вас есть занятие, прочно удерживающее вас на одном месте. Эти книги, казалось бы столь сухие, уносят вас в увлекательные путешествия духа, их деловой стиль, четкая последовательность, лаконичность изложения материала, строгий практицизм каждой строчки не могут скрыть ту поэтичность, которая, подобно бризу, насыщенному терпкими запахами и вызывающему странное томление всех чувств, стоит вам приблизиться к какому-либо из волшебных островов Восточных морей, наполняет тонким ароматом страницы путеводителей.

Они сообщают о якорных стоянках и пристанях, о том, какие припасы можно достать в том или ином месте, где запастить пресной водой, они рассказывают о маяках и буях, о приливах и отливах, о ветрах и погоде, которая вас ожидает. Они дают вам краткую информацию о населении и торговле. И поразительно, что за всеми этими сведениями, изложенными бесстрастно, без лишних слов, вы обнаруживаете так много другого. Чего же именно? Ну, хотя бы таинственность и красоту, романтику и волшебство неведомого. Можно ли, перелистывая страницы обычной книги, наткнуться на такой абзац: «Припасы. Сохранилось много тропической дичи; остров также служит пристанищем для большого числа морских птиц. В лагуне обитают черепахи и водится в изобилии различная рыба, в том числе кефаль, акулы, налимы. Рыболовную сеть нельзя использовать с достаточным эффектом, но имеется рыба, которую можно ловить удочкой. Небольшой запас консервов и спирта хранится в хижине для потерпевших кораблекрушение. Питьевую воду можно брать из родника вблизи пристани». Может ли

воображение желать лучшего материала, чем этот, чтобы отправиться в путешествие через пространство и время?

В том самом томе, из которого, я взял этот абзац, составители с такой же сдержанностью описывают Аласские острова. Они образуют группу или цепь островов, «большей частью низменных и покрытых лесом, простирающихся примерно на 75 миль с запада на восток и на 40 миль с севера на юг». Сведения о них, указывают составители, весьма скудны. Между различными группами островов есть проливы, и некоторые суда проходили через них, но проливы эти недостаточно исследованы, местонахождение подводных рифов еще не установлено, так что рекомендуется ими не пользоваться.

Население архипелага составляет примерно 8000 человек, из них 200— китайцев и 400— мусульмане. Остальные — язычники. На окруженном рифами главном острове Бару живет голландский резидент. Его белый дом с красной крышей, стоящий на вершине невысокого холма,— наиболее заметный ориентир для судов Голландской королевской почтовой пароходной компании, когда раз в два месяца они заходят сюда по пути в Макасар и раз в месяц — по пути в Мерауке (Голландская Новая Гвинея).

В определенный момент мировой истории резидентом на Аласских островах был минхер Эверт Грюйтер. Твердость, с какой он управлял местным населением, смягчалась присущим ему завидным чувством юмора. Он полагал, что занять столь высокий пост в двадцать семь лет было отличной шуткой, и теперь, в возрасте тридцати, она все еще забавляла его. Телеграфной связи между его остро-

вами и Батавией не было, и почта доставлялась с такой длительной задержкой, что даже если бы он обратился за советом, то ко времени его получения совет этот стал бы бесполезным, так что Грюйтер со спокойной душой поступал, как считал нужным, и уповал на то, что фортуна поможет избежать неприятностей с властями. Был он очень мал ростом, не более пяти футов четырех дюймов, и чрезвычайно толст, с цветущим цветом лица. Из-за жары он брился наголо, и при безволосом лице голова его казалась круглой и красной, а брови столь белесыми, что их едва можно было различить; маленькие голубые глазки непрестанно бегали. Он знал, что вид его не внушает почтения, но, памятуя о своем высоком положении, одевался с иголочки. Отправлялся ли он к себе в канцелярию, заседал ли в суде, или просто выходил на прогулку, он всегда облачался в белоснежный костюм. Его китель с блестящими медными пуговицами, плотно облегавший фигуру, выдавал то неприятное обстоятельство, что, несмотря на молодость, он уже отрастил круглое, выпирающее брюшко. Его добродушное лицо лоснилось от пота, и он постоянно обмахивался веером из пальмового листа.

Но у себя дома мистер Грюйтер предпочитал носить лишь саронг, и в этом одеянии, не совсем прикрывавшем его короткое пухлое белокожее тело, он походил на толстого забавного шестнадцатилетнего подростка. Вставал он рано, к шести часам его уже ждал завтрак. Всегда неизменный. Он состоял из ломтика папайи, холодной глазуньи из трех яиц, тонко нарезанного эдамского сыра и чашки черного кофе. Уписав все это, он закуривал толстую голландскую сигару, читал газеты,

если уже не просмотрел их много раз, и затем одевался, чтобы отправиться в канцелярию.

Однажды утром, именно в это время к нему в спальную вошел старший бой и доложил, что туан Джонс спрашивает, может ли он его принять. Мистер Грюйтер стоял перед зеркалом. Он уже надел брюки и любовался своей гладкой грудью. Выгнув спину и стараясь подобрать живот, он с большим удовлетворением звучно пошлепал себя по груди. Это была грудь настоящего мужчины. Когда бой доложил о посетителе, он заглянул в свои глаза, отраженные в зеркале, и обменялся с ними легкой иронической улыбкой. Он спросил себя, какого черта нужно посетителю. Эверт Грюйтер говорил на английском, голландском и малайском языках с одинаковой легкостью, но думал он на голландском. Ему это нравилось. Он считал голландский язык приятно грубоватым.

— Попроси туана подождать и скажи, что я сейчас выйду.

Он натянул китель на голое тело, застегнулся на все пуговицы и с важным видом вышел в гостиную. Его преподобие Оуэн Джонс поднялся.

— Доброе утро, мистер Джонс,— сказал резидент.— Полагаю, вы заглянули, чтобы пропустить со мной стаканчик джина с содовой прежде, чем я примусь за работу.

Мистер Джонс не улыбнулся.

— Я пришел к вам в связи с одним печальным обстоятельством, мистер Грюйтер,— ответил он.

Резидента не смутила ни серьезность посетителя, ни трагизм, звучавший в его словах. Его маленькие голубые глазки лучились благодушием.

— Садитесь, дорогой друг, и возьмите сигару.

Мистер Грюйтер прекрасно знал, что преподобный Оуэн Джонс не пьет и не курит, но ему нравилось, может быть, из своеобразного озорства, предлагать тому выпить и закурить при каждой встрече. Мистер Джонс покачал головой.

Мистер Джонс возглавлял баптистскую миссию на Аласских островах. Его штаб-квартира была расположена на Бару, самом большом и густонаселенном острове, но в его ведении находились и молитвенные дома на нескольких других островах, где подвизались его туземные помощники. Это был человек лет сорока, высокий, худощавый и меланхоличный, с удлиненным желтоватым лицом, словно сведенным гримасой. Его каштановые волосы уже поседели на висках, а над лбом образовалась залысина. До некоторой степени это придавало ему вид рассеянного интеллектуала. Мистер Грюйтер не любил его, но уважал. Он не любил его за узость взглядов и догматизм. Сам неунывающий язычник, он ценил плотские радости и стремился урвать их как можно больше — насколько позволяли обстоятельства; естественно, его выводил из терпения человек, осуждавший все удовольствия. Он считал, что обычаи страны вполне отвечали потребностям туземного населения, и его раздражали энергичные усилия миссионера разрушить образ жизни, который так хорошо оправдывал себя на протяжении столетий. Уважал же он его за честность, усердие и доброту. Мистер Джонс, австралиец валлийского происхождения, был единственным квалифицированным врачом на островах, и отрадно было сознавать, что в случае болезни нет нужды обращаться к китайскому врачу, и никто лучше резидента не знал, сколь полезным может оказаться искусство мистера Джонса

в сочетании с присущим ему щедрым милосердием. В случае эпидемии гриппа миссионер работал за десятерых, и разве что тайфун мог помешать ему переезжать с острова на остров, где нуждались в его помощи.

Он жил со своей сестрой в маленьком белом домике примерно в полумиле от деревни, и когда резидент прибыл на остров, Джонс поднялся на борт судна и пригласил его остановиться у них, пока дом Грюйтера не приведут в порядок. Резидент принял приглашение, но вскоре увидел, как скромно жила эта пара. Выдержать такое было сверх его сил. Чай и скудная еда три раза в день, а стоило ему закурить сигару, как мистер Джонс вежливо, но твердо попросил, пожалуйста, не курите, поскольку они с сестрой решительно не одобряли курения. Через двадцать черыре часа мистер Грюйтер переехал в свой дом. Он бежал, охваченный паникой, как из зачумленного города. Резидент любил пошутить и посмеяться, и общаться с человеком, который любую болтовню воспринимал с величайшей серьезностью и не считал возможным улыбнуться даже самому удачному анекдоту, было свыше его сил. Преподобный Оуэн Джонс был человек достойный, но как собеседник просто немыслим. Сестра была еще хуже. Чувство юмора отсутствовало у обоих. Но если миссионер был человеком меланхоличным, выполнявшим свой долг добросовестно, с твердым сознанием безнадежности всего сущего на земле, то мисс Джонс отличалась неистребимой жизнерадостностью. Она смотрела на вещи решительно оптимистически. Со свирепостью ангела мщения она выискивала в своих собратьях доброе начало. Мисс Джонс преподавала в миссионерской шко-

ле и помогала брату в его врачебной практике. Когда он делал операции, она вводила обезболивающие средства, и вообще исполняла функции медицинской сестры, сестры-хозяйки и сиделки в крошечной больнице, которую мистер Джонс по собственной инициативе организовал при миссии. Но резидент, этот упрямый коротышка, никогда не упускал возможности потешиться над упорной борьбой преподобного Оуэна со слабостями человеческой натуры и над безжалостным оптимизмом мисс Джонс. Он развлекался как мог. Голландские суда заходили три раза в два месяца на несколько часов, и тогда резидент мог побалагурить с капитаном и старшим механиком. Но настоящим праздником было редкое появление люгера с ловцами жемчуга с острова Четверга или из порта Дарвин. Он стоял у острова два-три дня. Большей частью ловцы жемчуга — грубоватые парни, но зато отчаянные; на борту у них было полно спиртных напитков, и каждый мог порассказать кучу интересных историй. Резидент всех их приглашал к себе домой и угощал превосходным обедом. Прием считался успешным только, если все так напивались, что не могли вернуться ночевать на люгер. Кроме миссионера, на острове Бару жил еще один белый, по прозвищу Рыжий Тед, но он, уж точно, был позором цивилизованного мира. Ничего хорошего о нем не скажешь. Он попросту компрометировал белую расу. И все же резиденту порой приходило в голову, что не будь Рыжего Теда, жизнь на острове была бы совсем невыносимой.

Как ни странно, но именно из-за этого негодника мистер Джонс, вместо того чтобы посвящать юных язычников в таинства баптистской

веры, явился в столь ранний час с визитом к мистеру Грюйтеру.

— Садитесь, мистер Джонс,— сказал резидент.— Чем могу быть полезен?

— Видите ли, я пришел поговорить с вами о человеке, которого все зовут Рыжим Тедом. Что вы собираетесь предпринять?

— Предпринять? А что случилось?

— Разве вы ничего не слышали? Я думал, сержант уже доложил вам.

— Мне не нравится, когда мои служащие являются ко мне домой без крайней надобности,— с подчеркнутой важностью сказал резидент.— В отличие от вас, мистер Джонс, я работаю для того, чтобы иметь досуг, и люблю наслаждаться своим досугом без помех.

Но мистер Джонс не терпел пустой болтовни, и его не интересовали абстрактные рассуждения.

— Вчера вечером произошел отвратительный скандал в одной из китайских лавок. Рыжий Тед разгромил лавку и чуть не убил китайца.

— Наверное, опять напился,— спокойно заметил резидент.

— Конечно. Разве он бывает в другом состоянии? Послали за полицией, и он набросился на сержанта. Потребовалось шесть человек, чтобы доставить его в тюрьму.

— Он здоровенный парень,— заметил резидент.

— Я полагаю, вы отправите его в Макасар.

Эверт Грюйтер, подобно миссионеру, принял оскорбленный вид, но в глазах его мелькали веселые огоньки. Он был не так глуп и уже догадался, куда клонит мистер Джонс.

— К счастью, я облечен достаточными полномочиями, чтобы лично справиться с создавшимся положением,— ответил он.

— Вы обладаете властью выслать кого угодно, мистер Грюйтер, и я уверен, что многих неприятностей можно избежать, если бы вам удалось навсегда избавиться от этого человека.

— Конечно, я обладаю властью, но убежден, что вы, во всяком случае, не захотите, чтобы я злоупотребил ею.

— Мистер Грюйтер, присутствие здесь этого человека — позор. С утра до ночи он пьян, притом доподлинно известно, что он находится в связи то с одной, то с другой туземкой.

— Это любопытный факт, мистер Джонс. Я неоднократно слышал, что, хотя злоупотребление алкоголем способствует возникновению плотского желания, оно препятствует его удовлетворению. То, что вы мне рассказываете о Рыжем Теде, видимо, не подтверждает эту теорию.

Лицо миссионера вспыхнуло.

— В данный момент у меня нет желания обсуждать вопросы физиологии,— холодно произнес он.— Поведение этого человека наносит неисчислимый урон престижу белой расы, и его пример серьезно подрывает наши постоянные усилия приучить жителей этих островов к менее порочному образу жизни. Он совсем пропащий человек.

— Прошу прощения за вопрос, но предпринимали ли вы попытки перевоспитать его?

— Как только он появился здесь, я сделал все возможное, чтобы установить с ним контакт. Он отвергал все мои поползновения. Когда вспых-

нул первый скандал, я пришел к нему и поговорил с ним начистоту. Он только бранился.

— Вряд ли кто-нибудь больше, чем я, ценит ту замечательную работу, которую вы и другие миссионеры проводите на этих островах, но уверены ли вы, что всегда следуете своему призванию с должным тактом?

Резидент остался доволен этой формулировкой. Чрезвычайно вежливая, она тем не менее содержала упрек, как он полагал, заслуженный. Миссионер Джонс с грустью посмотрел на него. Его печальные карие глаза светились искренностью.

— Был ли Иисус тактичен, когда взял бич и выгнал менял из храма? Нет, мистер Грюйтер. Такт — это отговорка, которой нерадивые пользуются, чтобы уклониться от выполнения своего долга.

Слова преподобного Джонса вызвали у резидента внезапную потребность осушить бутылочку пива. Миссионер с серьезным видом наклонился к нему.

— Мистер Грюйтер, прегрешения этого человека известны вам так же хорошо, как и мне. Нет надобности напоминать вам о них. Для него нет оправданий. Теперь он перешел все границы. Более удобного момента, чем этот, у вас не будет. Я прошу вас использовать свою власть и раз и навсегда изгнать его отсюда.

Глаза резидента заблестели ярче, чем обычно. Надо же, как интересно получается! Про себя он отметил, что человеческие существа значительно забавнее, когда нет необходимости воздавать им хвалу или осуждать их.

— Но, мистер Джонс, правильно ли я вас

понял? Вы просите, чтобы я дал вам обещание выслать этого человека до того, как выслушаю обвинения против него и узнаю, что он может сказать в свою защиту?

— Не знаю, как он может оправдаться.

Резидент поднялся со стула и ухитрился придать своим пяти футам и четырем дюймам известное достоинство.

— Я нахожусь здесь для того, чтобы отправлять правосудие в соответствии с законами голландского правительства. Позвольте заметить вам, что я весьма удивлен вашей попыткой повлиять на выполнение мною судейских функций.

Миссионер был слегка сбит с толку. Ему никогда и в голову не приходило, что этот коротышка, самонадеянный юнец, на десять лет моложе его, помыслит занять такую позицию. Он было раскрыл рот, чтобы объясниться и принести извинения, но резидент остановил его, подняв свою маленькую пухлую руку.

— Мне пора идти на службу, мистер Джонс. Будьте здоровы.

Ошеломленный миссионер поклонился и, не произнеся ни слова, покинул комнату. Он бы крайне удивился, если бы увидел, что стоило ему выйти, как резидент широко ухмыльнулся и показал нос его преподобию Оуэну Джонсу.

Несколькими минутами позже резидент спустился к себе в канцелярию. Старший клерк, голландец-полукровка, изложил ему свою версию вчерашнего скандала. Она в общем совпадала с рассказом мистера Джонса. Суд заседал сегодня.

— Вы будете разбирать дело Рыжего Теда первым, сэр? — спросил клерк.

— Не вижу для этого оснований. Есть два

или три дела, слушание которых было перенесено с прошлого заседания. Я рассмотрю дело Теда в надлежащем порядке.

— Я подумал, поскольку он белый, может, вы хотели бы поговорить с ним наедине, сэр?

— Величие закона в том, что он не знает различий между белыми и цветными, мой друг, — произнес мистер Грюйтер несколько напыщенно.

Суд помещался в большой квадратной комнате с деревянными скамьями, на которых вперемежку сидели местные жители различного происхождения — полинезийцы, буги, китайцы, малайцы; все они встали, когда открылась дверь и сержант объявил о прибытии резидента. Он вошел вместе с клерком и занял место за полированным сосновым столом, стоявшим на небольшом возвышении. За его спиной висела большая гравюра с изображением королевы Вильгельмины. Он быстро разделался с полдюжиной дел, и затем ввели Рыжего Теда. Арестованный стоял у скамьи подсудимых, в наручниках, между двумя стражниками. Резидент посмотрел на него с суровым видом, но в глазах его сверкали веселые искорки.

Рыжий Тед мучился с похмелья. Он стоял, слегка покачиваясь и тупо уставившись перед собой. Он был еще молод, лет тридцати, чуть выше среднего роста, довольно полный, с обрюзгшим красным лицом и копной курчавых рыжих волос. Он не вышел из потасовки невредимым. Под глазом темнел огромный синяк, разбитые губы распухли. На нем были шорты цвета хаки, очень грязные и рваные, а разодранная фуфайка держалась на плечах просто чудом. Сквозь огромную дыру виднелась густая поросль рыжих волос,

покрывавших его грудь, а также кожа поразительной белизны. Резидент пробежал глазами список проступков арестованного и перешел к свидетельским показаниям. После того, как он выслушал их и увидел китайца, которому Рыжий Тед разбил голову бутылкой, после того, как услышал возбужденный рассказ сержанта, который был сбит с ног, когда пытался арестовать Теда, после того, как были описаны опустошения, произведенные Рыжим Тедом, который в пьяной ярости крушил все, что попадало под руку, резидент повернулся к подсудимому и обратился к нему по-английски:

— Ну, Рыжий, что ты можешь сказать в свое оправдание?

— Я был пьян. Ничего не помню. Раз говорят, что я чуть его не убил, наверное, так и было. А убытки я возмещу, пусть только дадут мне срок.

— Ты возместишь,— сказал резидент,— но срок тебе дам я.

Он с минуту молча смотрел на Рыжего Теда. Преотвратительный субъект. Совсем пропащий человек. Он был ужасен. Нельзя было не содрогнуться от отвращения, глядя на него, и если бы мистер Джонс не был таким назойливым, то сейчас резидент непременно отдал бы приказ о его высылке.

— С тех пор как ты появился на островах, Рыжий, от тебя одни неприятности. Ты — позор для общества. Ты — неисправимый бездельник. Тебя не раз подбирали на улице мертвецки пьяным. Ты устраиваешь дебош за дебошем. Ты безнадежен. В последний раз, когда тебя доставили сюда, я предупредил: снова арестуют, поступлю с тобой по всей строгости. Теперь ты перешел

все границы и получишь за это сполна. Я осуждаю тебя на шесть месяцев принудительных работ.

— Меня?

— Тебя.

— Ей-богу, я убью вас, когда выйду.

Он разразился потоком непристойных и богохульных ругательств. Мистер Грюйтер слушал с презрительной миной. Ведь по-голландски можно ругаться похлеще, чем по-английски, и среди бранных выражений не было ни одного, которое резидент не мог бы перекрыть.

— Умолкни,— приказал он.— Я от тебя устал.

Резидент повторил свой приговор по-малайски, и отбивавшегося осужденного увели.

За второй завтрак мистер Грюйтер сел в превосходном настроении. Просто удивительно, какой занимательной может стать жизнь, если проявить немного изобретательности. Есть люди в Амстердаме и даже в Батавии и Сурабайе, которые считают его острова местом ссылки. Им невдомек, как здесь приятно и сколько забавного он в состоянии извлечь из такого, казалось бы, безнадежного материала. Его спрашивали, неужели ему не скучно без клуба, скачек и кино, без танцев, что устраиваются раз в неделю в казино, и без общества голландских женщин. Нисколько. Он любил комфорт. Прочная мебель в той комнате, где он сейчас сидел, вполне удовлетворяла его своей солидностью. Он любил читать французские романы фривольного содержания и с наслаждением поглощал их один за другим, не смущаясь мыслью, что это пустая трата времени. Ему представлялось величайшей роскошью попусту тратить время. А когда его

молодое воображение обращалось к любовным помыслам, старший бой приводил в дом миниатюрное темнокожее, с блестящими глазами создание в саронге. Он старательно избегал постоянной связи, полагая, что перемены сохраняют молодость души. Он наслаждался свободой и не был обременен чувством ответственности. Жара его не удручала, и обливание по нескольку раз в день холодной водой доставляло ему почти эстетическое удовольствие. Он играл на фортепьяно. Он писал письма друзьям в Голландию. И у него не возникало потребности в беседах с интеллектуалами. Он любил посмеяться, а для этого достаточно было поговорить с дураком и вовсе не обязательно с профессором философии. Себя же он считал очень мудрым человеком.

Как все добрые голландцы на Дальнем Востоке, он начинал ленч со стаканчика голландского джина, отличавшегося едким застарелым запахом, который не всякому был по вкусу, но мистер Грюйтер предпочитал его любому коктейлю. Потягивая джин, он, кроме прочего, чувствовал, что поддерживает традиции своей нации. Затем следовало неизменное голландское блюдо из риса. Оно подавалось ежедневно. Грюйтер наполнял глубокую тарелку рисом, и три боя, прислуживавших ему, по очереди подавали ему кэрри, другие приправы, яичницу. Вслед за тем каждый из них приносил еще по одному блюду: бекон, бананы, рыбу под маринадом, так что вскоре на его тарелке вырастала высокая пирамида. Он все это перемешивал и приступал к трапезе. Ел он неторопливо, с удовольствием. За едой выпивал бутылку пива.

Пока он ел, он ни о чем не думал. Все его

внимание было обращено на гору еды, стоявшей перед ним, и он уничтожал ее с радостной сосредоточенностью. Это блюдо никогда ему не надоедало. Опустошив глубокую тарелку, он утешался мыслью, что завтра его опять ждет то же самое. Для него это блюдо было столь же непременным, как хлеб для остальных людей.

Прикончив пиво, он закурил сигару. Бой подал ему чашку кофе. Он откинулся в кресле и позволил себе насладиться размышлениями.

Он был доволен тем, что приговорил Рыжего Теда к шести месяцам принудительных работ — наказание, которого тот вполне заслужил. Грюйтер с улыбкой представил себе, как Рыжий работает на строительстве дорог вместе с другими заключенными. Было бы глупо выслать с острова единственного человека, с которым можно было иногда поговорить по душам. Кроме того, торжество, которое испытал бы миссионер от его высылки, повредило бы характеру этого джентльмена. Рыжий Тед был плут и прохвост, но резидент симпатизировал ему. Они распили вдвоем множество бутылок пива, и когда к нему являлись искатели жемчуга из порта Дарвин и устраивалась попойка на всю ночь, то они славно надирались вместе. Резиденту нравилась беспечность, с какой Рыжий Тед проматывал бесценное сокровище жизни.

Некогда Рыжий Тед забрался на судно, следовавшее из Мерауке в Макасар. Капитан даже не представлял себе, как тому удалось пробраться на борт, но так или иначе Рыжий Тед прокатился третьим классом вместе с туземцами и сошел на берег на Алласких островах, потому что ему понравился их вид. Мистер Грюйтер подозре-

вал, что их привлекательность заключалась в принадлежности к голландским владениям и, следовательно, в том, что они находились вне британской юрисдикции. Однако документы у него были в полном порядке, так что не было никаких причин запретить ему остаться. Он сказал, что закупает перламутр для одной австралийской фирмы, но вскоре выяснилось, сколь несерьезны его торговые дела. Пьянство отнимало у него так много времени, что для других занятий его не хватало. Ежемесячно ему выплачивалась сумма из расчета два фунта стерлингов в неделю, регулярно поступавшая из Англии. Резидент предполагал, что эта сумма будет переводиться ему лишь до тех пор, пока он находится вдали от тех, кто ее посылал. Во всяком случае этих денег было недостаточно, чтобы обеспечить ему свободу передвижения. Рыжий Тед о себе не распространялся. Резидент выяснил, что он англичанин — это он прочитал в его паспорте, где значилось его имя — Эдвард Уилсон,— и что он проживал в Австралии, но почему покинул Англию и что делал в Австралии, он не имел понятия. Не мог он также точно определить, к какому классу принадлежал Рыжий Тед. Когда вы видели его в грязной фуфайке, потрепанных штанах и старом тропическом шлеме на голове в кругу искателей жемчуга и слышали его речь, грубую, непристойную и безграмотную, вам приходило в голову, что он, наверное, простой матрос, сбежавший со своего судна, или чернорабочий, но стоило увидеть его почерк, и вы с удивлением обнаруживали, что это человек не без образования, а если вам доводилось побывать с ним наедине, когда он пропустит несколько рюмок, но еще не пьян, он мог заговорить

о таких материях, о которых ни матрос, ни чернорабочий, вероятно, и слыхом не слыхивали. Резидент, человек довольно чуткий, замечал, что Рыжий Тед разговаривает с ним не как подчиненный с начальником, а как равный с равным. Под бо́льшую часть ежемесячного денежного перевода он брал взаймы, и когда получал деньги, китайцы, которым он задолжал, были уже тут как тут, а остаток денег он продолжал пропивать. И вот тогда-то с ним приключались всякие неприятности, ибо во хмелю он становился буйным и совершал проступки, из-за которых попадал в руки полиции. До сих пор мистер Грюйтер довольствовался тем, что держал его в тюрьме, пока тот не протрезвится, и делал ему внушение. Когда Рыжий Тед оставался без денег, он выклянчивал выпивку у кого придется. Ром, бренди, арак — ему все годилось. Два-три раза мистер Грюйтер устраивал его на работу на плантации, принадлежащие китайцам, на том или другом из островов, но он там долго не задерживался и через несколько недель возвращался на Бару. Казалось просто чудом, что он как-то умудрялся поддерживать существование. Само собой разумеется, у него был свой способ. Он быстро усвоил различные диалекты, на которых говорили на островах, и знал, как рассмешить туземцев. Они его ни во что не ставили, но уважали его физическую силу, и им нравилось его общество. В результате он никогда не оставался без еды или ночлега. Странным было то (и это больше всего оскорбляло чувства преподобного Оуэна Джонса), что он мог вертеть женщиной, как хотел. Резидент никак не мог понять, что они в нем находили. Он обращался с женщинами пренебрежительно

и довольно грубо, брал то, что они могли ему дать, и, видимо, не испытывал ни малейшей благодарности. Он использовал женщин для удовольствия, а потом бросал их с полным безразличием. Два раза из-за этого он нарывался на неприятности, и мистеру Грюйтеру пришлось осудить одного разгневанного отца за то, что тот ночью воткнул нож в спину Рыжему Теду, а брошенная им китаянка пыталась отравиться опиумом. Однажды мистер Джонс явился к резиденту в великом смятении из-за того, что этот бродяга совратил одну из его новообращенных. Резидент согласился, что это весьма прискорбно, но мог лишь посоветовать мистеру Джонсу получше присматривать за юными особами. Однако резиденту стало не по себе, когда он обнаружил, что девушка, которая ему нравилась и с которой он встречался в течение нескольких недель, все это время была весьма благосклонна к Рыжему Теду. Вспомнив об этом случае, резидент снова улыбнулся: неплохо, что Рыжий Тед проведет шесть месяцев на принудительных работах. Ведь не так уж часто удается, выполняя свой прямой долг, отплатить тому, кто сыграл с вами злую шутку.

Несколько дней спустя мистер Грюйтер отправился на прогулку, чтобы размяться и заодно проверить, продвинулась ли работа, которую он велел сделать, и тут он увидел группу заключенных, работавших под присмотром тюремного надзирателя. Среди них он заметил Рыжего Теда. Он был в тюремном саронге, выцветшей малайской куртке и в старом тропическом шлеме. Они ремонтировали дорогу, и Рыжий Тед держал в руках тяжелую кирку. Проход был узким, и резидент увидел, что ему предстоит пройти букваль-

но на расстоянии фута от Рыжего Теда. Грюйтер вспомнил его угрозу. Он знал, что Рыжий Тед — человек необузданного нрава, а его реплика в суде ясно показала, что он отнюдь не считал вынесенный резидентом приговор, обрекший его на шесть месяцев принудительных работ, милой шуткой. И если бы Рыжий Тед вдруг набросился на него с киркой, ничто на этом свете не могло бы его спасти. Конечно, надзиратель тут же пристрелил бы Рыжего, но голова резидента уже была бы проломлена. У него неприятно заныло под ложечкой, едва он поравнялся с заключенными. Они работали парами в нескольких футах один от другого. Он собрал всю свою волю, чтобы не ускорить и не замедлить шаг. Когда он проходил мимо Рыжего Теда, тот воткнул свою кирку в землю и поднял на него глаза. Поймав его взгляд, он подмигнул. Резидент едва сдержал улыбку и с важностью официального лица проследовал дальше. Но это подмигивание, столь ехидное и озорное, доставило ему удовольствие. Будь он багдадским халифом, а не мелким чиновником на службе голландской короны, он тотчас бы освободил Рыжего Теда, велел рабам омыть и надушить его, а затем, облаченного в златотканные одежды, пригласил бы на пиршество.

Рыжий Тед вел себя примерно, и когда месяца через два резиденту надо было послать группу заключенных на один из отдаленных островов для выполнения какой-то работы, он включил в эту группу Рыжего Теда. Тюрьмы там не было, так что десяток арестантов, отправленных под наблюдением надзирателя, разместились у туземцев и по окончании дневных трудов жили как свободные люди. Работы там хватало, и Рыжий

Тед мог пробыть на острове до конца срока. Резидент повидал его перед отправкой.

— Послушай, Рыжий,— сказал он,— вот тебе десять гульденов, сможешь там купить себе табаку.

— А не могли бы вы добавить еще немного? Ведь мне приходит ежемесячно по восемь фунтов.

— Я полагаю, этого достаточно. Я буду сохранять поступающие для тебя переводы, и когда вернешься, получишь кругленькую сумму. Тогда сможешь поехать, куда захочешь.

— Мне по душе здесь,— ответил Рыжий Тед.

— Ну и ладно. Как только вернешься, приведи себя в порядок и приходи ко мне домой. Разопьем бутылочку пива.

— Отлично. Поболтаем всласть!

Тут на сцену выступает его величество случай. Остров, на который отправили Рыжего Теда, назывался Мапутити, и, подобно остальным, был скалистым, густо порос лесом и окружен рифами. На нем имелось две деревни: одна среди кокосовых пальм на берегу моря, как раз напротив прохода среди рифов, другая — в центре острова возле озера с солоноватой водой. Некоторая часть жителей второй деревни была обращена в христианство. Связь с Бару осуществлялась катером, который время от времени заходил на различные острова и перевозил пассажиров и продукты. Но местные жители были мореходами, и если возникала срочная необходимость связаться с Бару, они снаряжали прау и проплывали на ней примерно пятьдесят миль, разделявших эти острова. Случилось так, что за две недели до истечения

срока, на который был осужден Рыжий Тед, обращенный в христианство старейшина деревни, что находилась на берегу озера, внезапно заболел. Туземные средства ему не помогали, и он корчился в муках. Гонцы были отправлены на Бару просить помощи у миссионера. Но, к несчастью, в это время мистера Джонса свалил приступ малярии, посему он лежал в постели и не мог передвигаться. Он обсудил ситуацию с сестрой.

— Похоже на острый приступ аппендицита,— сказал он.

— Ты не можешь ехать, Оуэн,— заявила сестра.

— Но не могу же я допустить, чтобы человек умер.

У мистера Джонса была высокая температура — 104 градуса. Страшно болела голова. Всю ночь он бредил. Глаза его лихорадочно блестели, и сестра чувствовала, что он сохраняет сознание лишь огромным усилием воли.

— В таком состоянии ты не можешь оперировать.

— Конечно, нет. Тогда должен ехать Хассан.

Хассан был аптекарем.

— Ты не можешь это доверить Хассану. Он никогда не решится оперировать на свою ответственность. И туземцы не позволят ему. Поеду я. Хассан останется здесь и присмотрит за тобой.

— А ты сумеешь удалить аппендикс?

— Почему бы нет? Я видела, как ты это делаешь. Да и сама делала множество мелких операций.

Мистер Джонс чувствовал, что до него уже не совсем доходит то, что говорит сестра.

— Катер здесь?

— Нет, он ушел на один из островов. Но я

могу поехать в прау, на которой прибыли гонцы.

— Ты? Я имел в виду не тебя. Ты не можешь никуда ехать.

— Я поеду, Оуэн.

— Куда поедешь? — спросил он.

Она поняла, что у него мутится сознание, заботливо положила руку на его горячий лоб, дала ему лекарство. Он что-то пробормотал, и ей стало ясно, что он даже не сознает, где находится. Конечно, она очень тревожилась за него, но знала, что его болезнь не опасна и она может оставить брата на попечение боя, который помогал ей ухаживать за больным, и туземца-аптекаря. Она выскользнула из комнаты, уложила в дорожную сумку туалетные принадлежности, ночную рубашку и одежду на смену. Небольшой ящичек с хирургическими инструментами, бинтами и антисептическими средствами был всегда наготове. Она передала вещи туземцам, прибывшим с Мапутити, и велела аптекарю сообщить брату об ее отъезде, когда он придет в себя. Главное, чтобы он о ней не беспокоился. Она надела тропический шлем и отправилась в путь. Миссия находилась в полумиле от деревни. Мисс Джонс шла быстро. В конце причала ожидала прау с шестью гребцами. Она заняла место на корме, и туземцы, отчалив, быстро заработали веслами. Между рифами море было спокойным, но когда они миновали мелководье, их встретили волны. Но мисс Джонс не впервые совершала путешествие такого рода, притом она верила в хорошие мореходные качества прау. Был полдень, и солнце нещадно палило с раскаленного неба. Ее тревожила лишь одна мысль: если они не сумеют приехать до наступления темноты, а потребуется срочная операция,

ей придется делать ее при свете фонарей «молния».

Мисс Джонс оставалось совсем немного до сорока. Ничто в ее облике не предвещало той решимости, какую она только что проявила. Ее фигуре была свойственна какая-то странная вялая грация, и казалось, она может покачнуться даже от легкого ветерка; это смахивало на притворство, поэтому сильный характер, который вы вскоре обнаруживали в мисс Джонс, производил чудовищное впечатление. Она была высокой, плоскогрудой и чрезвычайно худой. Ее удлиненное лицо приобретало желтоватый цвет, и она мучилась от тропического лишая. Прямые каштановые волосы были гладко зачесаны назад. Маленькие серые глазки, слишком близко посаженные, придавали ее лицу недовольное выражение. Нос ее, длинный и тонкий, имел красноватый оттенок. Она часто страдала несварением желудка. Но эта немощь не могла умалить ее непоколебимой решимости во всем находить светлую сторону. Твердо убежденная в том, что в мире царит зло и люди невыразимо порочны, она извлекала каждую кроху благопристойности, какую могла в них обнаружить, со скромной гордостью фокусника, вытаскивающего кролика из шляпы. Она отличалась быстротой, находчивостью, компетентностью. Прибыв на остров, она сразу поняла, что не может терять ни минуты, если хочет спасти жизнь старейшины. С большими трудностями, показав одному из туземцев, как ввести анестезирующее средство, она сделала операцию и потом в течение трех дней ухаживала за больным с усердием, скрывавшим тревогу. Все шло очень хорошо, и она подумала, что вряд ли брат лучше справился

бы с задачей. Она пробыла на острове до тех пор, пока не сняла швы, и стала готовиться к отъезду. У нее были все основания гордиться тем, что она не впустую потратила время. Она успела оказать медицинскую помощь тем, кто в ней нуждался, укрепила в вере маленькую христианскую общину, усовестила слабых духом и посеяла добрые семена в тех местах, где при содействии божественного провидения они могли пустить корни.

Катер, прибывший с одного из соседних островов, пристал к берегу ближе к вечеру, но поскольку был период полнолуния, они надеялись достичь Бару до полуночи. Ее вещи принесли на пристань, и все провожавшие вновь и вновь благодарили ее. Собралась небольшая толпа. Катер загрузили мешками с копрой, но мисс Джонс была привычна к ее резкому запаху, и он ее совсем не беспокоил. Она нашла себе местечко поудобнее и ожидала отплытия, переговариваясь с благодарными жителями. Мисс Джонс была единственным пассажиром. Внезапно из-за деревьев, окружавших прибрежную деревушку, появилась группа туземцев, и она заметила среди них одного белого, одетого в тюремный саронг и малайскую куртку. У него были длинные рыжие волосы. Она сразу узнала Рыжего Теда. Его сопровождал полицейский. Они обменялись рукопожатием, потом Рыжий Тед пожал руки провожавшим его деревенским жителям. Они принесли связки фруктов и кувшин, содержавший, как полагала мисс Джонс, арак, и все это погрузили на катер. Она обнаружила, к своему удивлению, что Рыжий Тед едет вместе с ней. Его срок истек, и пришло предписание отправить его на Бару этим катером. Он метнул на нее быстрый взгляд, но не кивнул —

впрочем, в этот момент мисс Джонс отвернулась — и ступил на полубу. Машинист запустил двигатель, и вот они уже шли извилистым фарватером через лагуну. Рыжий Тед взобрался на груду мешков с копрой и закурил сигарету.

Мисс Джонс игнорировала его. Конечно, она его хорошо знала. У нее екнуло сердце, когда она подумала, что он возвращается на Бару и вновь будет учинять скандалы и пьянствовать, вновь станет угрозой для женщин, бельмом на глазу всех порядочных людей. Ей было известно о шагах, предпринятых ее братом, чтобы выдворить этого типа, и ее выводил из себя резидент, который не желал выполнить свой прямой долг. Когда они миновали мелководье и вышли в открытое море, Рыжий Тед вытащил пробку из кувшина с араком и, приложившись к горлышку, сделал порядочный глоток. Потом он передал кувшин двум машинистам, составлявшим весь экипаж катера. Один из них был средних лет, другой — юноша.

— Я не хочу, чтобы вы пили, пока мы находимся в пути,— строго сказала мисс Джонс старшему из них.

Тот улыбнулся и отхлебнул из горлышка.

— Немного арака еще никому не повредило,— ответил он и передал кувшин своему подручному, который тоже выпил.

— Если вы будете продолжать пить, я пожалуюсь резиденту,— сказала мисс Джонс.

Старший что-то буркнул — она не разобрала что, но подозревала, что нечто грубое,— и вернул кувшин Рыжему Теду. Прошло немногим более часа. Море было гладким как зеркало, и солнце садилось в ослепительном блеске. Оно зашло за

один из островов и на несколько минут превратило его в фантастический небесный город. Мисс Джонс обернулась, чтобы полюбоваться этим зрелищем, и ее сердце преисполнилось благодарности за красоту мира.

— И только человек порочен,— процитировала она про себя.

Они плыли на восток. Вдали виднелся небольшой остров, мимо которого они должны были пройти совсем близко. Он был необитаем. Скалистый островок, покрытый густыми зарослями девственного леса. Машинист зажег фонари. Опустилась ночь, и мгновенно на небе вспыхнули мириады звезд. Луна еще не взошла. Вдруг раздалось легкое дребезжание, и катер странно завибрировал. Мотор грохотал. Старший машинист передал руль своему подручному и полез в люк. Катер замедлил ход. Мотор заглох. Мисс Джонс спросила юношу, что случилось, но тот сам не знал. Рыжий Тед слез с груды мешков с копрой и скользнул в люк. Когда он вновь появился, ей хотелось спросить его, что же все-таки произошло, но гордость не позволила ей это сделать. Она сидела неподвижно, погруженная в мысли. Набежала длинная волна, и катер слегка качнуло. Наконец появился машинист и запустил двигатель. Хотя он издавал невообразимый грохот, катер пришел в движение. Он вибрировал от носа до кормы. Они шли очень медленно. Очевидно, что-то было неисправно, но мисс Джонс была скорее раздражена, чем встревожена. Катер мог идти со скоростью шести узлов, но сейчас они еле ползли. Такими темпами они не скоро доберутся до Бару, не раньше, чем далеко за полночь. Машинист, все еще возившийся с двигателем, что-то крикнул парню у руля. Они говорили на языке

буги, который мисс Джонс плохо понимала. Через некоторое время она заметила, что они изменили курс и, видимо, направляются к необитаемому островку, который они должны были миновать с подветренной стороны.

— Куда мы направляемся? — с внезапным испугом спросила мисс Джонс у рулевого.

Он указал на островок.

Она поднялась, пошла к люку и позвала машиниста.

— Вы не идете к Бару? Почему? В чем дело?

— Мы не сможем добраться до Бару,— ответил тот.

— Но вы должны. Я требую. Я приказываю вам идти к Бару.

Машинист пожал плечами. Он повернулся к ней спиной и опять скользнул в люк. Тогда с ней заговорил Рыжий Тед.

— Сломалась одна из лопастей винта. Он считает, что мы сможем дотянуть лишь до этого островка. Нам придется там заночевать, а утром, когда начнется отлив, он поставит новый винт.

— Я не могу провести ночь на необитаемом острове с тремя мужчинами,— воскликнула она.

— Многие женщины были бы в восторге от этого.

— Я требую, чтобы мы шли к Бару. Во что бы то ни стало мы должны прийти туда сегодня ночью.

— Не волнуйтесь, подруга. Нам необходимо пристать с берегу, чтобы установить новый винт, и на острове нам будет неплохо.

— Как вы смеете так говорить со мной! Вы слишком развязны.

— Все будет о'кей. У нас много еды, и мы пе-

рекусим, когда пристанем. Вы глотнете арака и почувствуете себя бодрой и веселой.

— Какая наглость! Если вы не пойдете к Бару, я добьюсь, чтобы вас снова упрятали в тюрьму.

— Мы не пойдем к Бару. Не можем. Причалим к этому островку, и если вам это не нравится, можете прыгнуть в воду и добираться вплавь.

— Ох, как же вы поплатитесь за это.

— Заткнись, старая корова,— рявкнул Рыжий Тед.

Мисс Джонс задохнулась от гнева, но сдержала себя. Даже здесь, посреди океана, она должна сохранять достоинство и не опускаться до перебранки с этим гнусным негодяем. Катер с отчаянно тарахтевшим мотором продолжал ползти. Наступила непроглядная тьма, и мисс Джонс уже не различала очертаний острова, к которому они плыли. Охваченная негодованием, она сидела с плотно сжатыми губами, нахмурив брови; она не привыкла, чтобы ей противоречили. Вскоре взошла луна, и мисс Джонс увидела фигуру Рыжего Теда, развалившегося на мешках с копрой. Мерцающий огонек его сигареты казался странно зловещим. Теперь остров смутно вырисовывался на фоне неба. Они приблизились к нему, и машинист направил катер к берегу. Внезапно мисс Джонс судорожно вздохнула. Ей открылась истина, и гнев сменился страхом. Сердце бешено колотилось. Ее охватила дрожь, она почувствовала дурноту. Ей все стало ясно. Был ли сломанный винт специально подстроенной уловкой, или это действительно несчастный случай? Она не могла ответить с уверенностью, но, так или иначе, она была уверена, что Рыжий Тед воспользовался удобным

моментом. Он изнасилует ее. Она знала его натуру. Он помешан на женщинах. Именно так он поступил с девушкой из миссии, таким милым маленьким существом, замечательной швеей; они бы подали на него в суд и добились его осуждения на долгие годы тюрьмы, если бы, к несчастью, невинная крошка сама не возвращалась к нему много раз и не пожаловалась на дурное обращение лишь после того, как он бросил ее ради другой. Они с братом все же говорили об этом резиденту, но тот отказался что-либо предпринять и при этом заявил в своей обычной грубой манере, что даже если все рассказанное девушкой правда, ему кажется, что то, что с ней произошло, не было для нее так уж неприятно. А она — белая женщина. Но есть ли хоть какой-нибудь шанс, что он пощадит ее? Никакого. Она знает, что такое мужчины. Все же надо держать себя в руках, сохранять присутствие духа. Она должна быть смелой. Мисс Джонс решила дорого продать свою добродетель, а если он убьет ее — ну, что ж, лучше умереть, чем уступить. И если она умрет, она найдет покой в объятиях Иисуса. На мгновение сияющий свет ослепил ее, и она узрела чертоги Небесного Отца. Они представлялись ей грандиозным и роскошным строением — некой помесью кинотеатра и железнодорожного вокзала. Машинисты и Рыжий Тед спрыгнули с катера и, стоя по пояс в воде, столпились вокруг сломанного винта. Воспользовавшись тем, что они заняты, мисс Джонс достала из дорожной сумки ящичек с хирургическими инструментами, вынула из него четыре скальпеля и рассовала их по карманам. Пусть только Рыжий Тед коснется ее, она без колебаний вонзит скальпель ему в сердце.

— Ну-ка, мисс, вылезайте,— сказал Рыжий Тед.— На берегу вам будет лучше, чем на борту.

Она тоже так думала. По крайней мере там у нее будет свобода действий. Не говоря ни слова, она перелезла через мешки с копрой. Он протянул ей руку.

— Я не нуждаюсь в вашей помощи,— сказала она холодно.

— Ну и убирайтесь к черту,— ответил он.

Нелегко было выбраться из катера, не приоткрыв ноги, но, проявив редкую изобретательность, она все же справилась с этой задачей.

— Чертовски повезло, что у нас есть еда. Мы разведем костер, и вам лучше перекусить и глотнуть арака.

— Я ничего не хочу. Только оставьте меня в покое.

— Да мне-то что, хотите голодать — сделайте милость.

Она промолчала и с высоко поднятой головой пошла вдоль берега, сжимая самый большой скальпель в кулаке. Луна освещала ей путь. Мисс Джонс искала место, где можно было спрятаться. Густой лес подступал к самому берегу, но из боязни темноты (в конце концов, она всего лишь женщина) она не рискнула углубиться в чащобу. Мало ли какие дикие звери или ядовитые змеи прячутся там! Кроме того, инстинкт ей подсказывал, что лучше не выпускать этих трех прохвостов из вида, тогда, если они пойдут в ее сторону, она будет наготове. Вскоре она нашла небольшое углубление в почве. Огляделась. Мужчины, казалось, были заняты своим делом и не видели ее. Она скользнула в ямку. Ее закрывал от них большой камень, она же могла следить за ними. Она видела, что они пошли к ка-

теру и вернулись с вещами. Затем разожгли костер. В его отблеске она четко различала, как, сидя вокруг костра, они ели и передавали друг другу кувшин с араком. Теперь они перепьются. Что же тогда будет с ней? Она могла бы еще справиться с Рыжим Тедом, хотя его сила и ужасала ее, но против трех мужчин она была бы бессильна. Ей пришла в голову безумная мысль подойти к Рыжему Теду, упасть перед ним на колени и умолять пощадить ее. В нем должна пробудиться искорка порядочности; она всегда верила, что даже в самом плохом человеке есть доброе начало. Ведь была же у него мать, может быть, и сестра. А, да что толку взывать к ослепленному похотью пьяному человеку? Она почувствовала страшную слабость и боялась расплакаться. Нет, это никуда не годится. Надо взять себя в руки. Она прикусила губу и следила за ними, как тигр за добычей, нет, скорее как овечка, застывшая перед тремя голодными волками. Они подбросили дров в костер, и она видела Рыжего Теда в его саронге на фоне разгоревшегося пламени. Возможно, натешившись ею, он передаст ее двум остальным. Как сможет она вернуться к брату, если с ней приключится такое? Разумеется, он посочувствовал бы ей, но сможет ли он относиться к ней, как прежде? Это разобьет его сердце. А может быть, он подумает, что она не оказала должного сопротивления. Для его же спокойствия, наверное, было бы лучше ничего ему не говорить. Естественно, мужчины будут молчать, ведь за это им грозит двадцать лет тюрьмы. А что если у нее будет ребенок? Мисс Джонс инстинктивно в ужасе стиснула пальцы и чуть не порезалась скальпелем. Но ее сопротивление только приведет их в ярость.

— Что же делать? — воскликнула она. — Чем я провинилась?

Она пала на колени и стала молить бога о спасении. Молилась долго и истово. Напомнила богу, что она девственница, и упомянула на тот случай, если это ускользнуло из божественной памяти, сколь высоко ценил такое состояние святой Павел. Потом украдкой снова выглянула из-за камня. Трое мужчин курили, костер затухал. Наступило время, когда следовало ожидать, что бесстыдные помыслы Рыжего Теда обратятся к женщине, которая находилась в его власти. У нее чуть не вырвался крик, ибо Рыжий Тед вдруг поднялся и направился в ее сторону. Все ее мышцы напряглись, и хотя сердце неистово колотилось, она продолжала сжимать скальпель в руке. Но Рыжий Тед отправился по другой надобности. Мисс Джонс покраснела и отвернулась. Он медленно вернулся назад, опустился рядом с другими и снова приложился к кувшину с араком. Присев за камнем, мисс Джонс напряженно следила за ними. Разговор у костра постепенно смолк, и вскоре она скорее угадала, чем увидела, что оба туземца, завернувшись в одеяла, улеглись спать. Она поняла: Рыжий Тед дожидался именно этого. Когда они крепко уснут, он осторожно, не производя шума, чтобы не разбудить их, подкрадется к ней. То ли он не хочет делить ее с другими, то ли, сознавая подлость своего поступка, предпочитает скрыть его от них. В конце концов, он белый мужчина, а она белая женщина. Не может же он пасть столь низко, чтобы позволить туземцам изнасиловать ее. Его замысел, ставший теперь столь очевидным, подсказал ей одну идею: как только она увидит, что он крадется к ней, она закричит, закричит так

громко, что разбудит обоих машинистов. Она вспомнила, что у старшего, хотя он одноглазый, доброе лицо. Однако Рыжий Тед не двигался. Она чувствовала бесконечную усталость и испугалась, что теперь у нее не хватит сил оказать ему сопротивление. Она пережила слишком много. На минуту она закрыла глаза.

Когда она их открыла, сиял яркий день. Она, должно быть, крепко заснула, измученная переживаниями, и не знала даже, что давно уже рассвело. Испугавшись, она хотела подняться, но что-то удерживало ее ноги. Она взглянула и обнаружила, что укрыта двумя пустыми мешками из-под копры. Кто-то приходил ночью и набросил их на нее. Рыжий Тед! Она слегка вскрикнула. Ужасная мысль пронзила ее мозг: он изнасиловал ее во сне. Нет, это невозможно. А ведь она была полностью в его власти. Беззащитная. И он пощадил ее. Краска залила ее лицо. Она поднялась на ноги, потянулась и привела в порядок одежду. Скальпель выпал из ее руки, и она подняла его, захватила мешки из-под копры, вышла из своего укрытия и направилась к катеру. Он покачивался на мелководье.

— Живее, мисс Джонс,— сказал Рыжий Тед.— Мы уже закончили работу. Я как раз собирался вас разбудить.

Она не смела поднять на него глаза и чувствовала, что покраснела, как рак.

— Хотите банан?— предложил он.

Молча она взяла плод. Мисс Джонс была очень голодна и съела банан с удовольствием.

— Станьте на этот камень, и вы сможете подняться на катер, не замочив ноги.

Мисс Джонс от стыда готова была провалиться сквозь землю, но послушно последовала его совету.

Он подал ей руку — о боже, не рука, а железные тиски, никогда бы ей не сладить с ним — и помог ей перейти на катер. Машинист запустил мотор, и вскоре они вышли из лагуны. Через три часа они были на Бару.

В тот же вечер, уже официально освобожденный, Рыжий Тед явился к резиденту домой. Сняв тюремную одежду, он снова облачился в потрепанную фуфайку и шорты цвета хаки, которые были на нем в момент ареста. Он постригся, и теперь его кудрявые волосы облегали голову как маленькая яркая шапочка. За это время он похудел — прежней дряблости как не бывало — и выглядел моложе и лучше. Мистер Грюйтер с дружелюбной улыбкой на круглом лице поздоровался с ним за руку и предложил сесть. Бой принес две бутылки пива.

— Рад, что ты не забыл о моем приглашении, Рыжий,— сказал резидент.

— Как я мог забыть! Целых полгода мечтал об этом.

— Твое здоровье, Рыжий Тед.

— Ваше здоровье, резидент.

Они опорожнили стаканы, и резидент хлопнул в ладоши. Бой принес еще две бутылки.

— Надеюсь, ты не держишь на меня зла за срок, который я тебе присудил.

— Не бойтесь! Я тогда психанул, но потом отошел. Знаете, я неплохо провел там время. Столько славных девочек на том острове, резидент. Съездили бы как-нибудь поглядеть. Может, какая подойдет.

— Ты, Рыжий, неисправим.

— Не говорите.

— Хорошее пиво, а?

— Отличное.

— Давай еще выпьем.

Денежные переводы Рыжему Теду приходили каждый месяц, и у резидента накопилось для него пятьдесят фунтов стерлингов. После возвращения убытков, причиненных им в китайской лавке, оставалось еще больше тридцати фунтов.

— У тебя, Рыжий, целая куча монет. Ты должен найти им полезное применение.

— Собираюсь,— ответил Рыжий.— Надо их истратить.

Резидент вздохнул.

— Ну что ж, деньги для того и существуют, я полагаю.

Резидент поделился с гостем новостями. За последние полгода мало что произошло. Время на Аласских островах не имело большого значения, остальной мир вообще никакого.

— Где-нибудь воюют?— спросил Рыжий Тед.

— Нет. Я во всяком случае не заметил. Харри Джервис нашел чудесную крупную жемчужину. Говорит, что запросит за нее тысячу фунтов.

— Надеюсь, он их получит.

— А Чарли Маккормак женится.

— Всегда был слегка мешком ушибленный.

Внезапно появился бой и сказал, что мистер Джонс спрашивает, может ли он зайти. Еще до того, как резидент ответил, мистер Джонс вошел.

— Долго вас не задержу,— сказал он.— Я весь день разыскивал этого доброго человека, и когда узнал, что он у вас, я подумал, что вы не будете возражать, если я зайду.

— Как чувствует себя мисс Джонс?— вежливо поинтересовался резидент.— Надеюсь, ночь под открытым небом ей не повредила.

— Она, естественно, немного прихворнула.

Повысилась температура, и я заставил ее лечь в постель, но думаю, ничего серьезного.

Двое мужчин встали, когда вошел миссионер, и теперь он, подойдя к Рыжему Теду, протянул ему руку.

— Хочу поблагодарить вас. Вы поступили благородно. Моя сестра права, всегда следует искать добро в своих собратьях; боюсь, что раньше я был к вам несправедлив. Прошу прощения.

Он говорил весьма торжественно. Рыжий Тед смотрел на него с изумлением. Он не мог помешать миссионеру пожать его руку, и тот все еще не отпускал ее.

— О чем, черт возьми, вы толкуете?

— Моя сестра была в ваших руках, и вы ее пощадили. Я считал вас воплощением зла, и теперь мне стыдно. Она была беззащитна, целиком в вашей власти. Вы сжалились над ней. От всего сердца благодарю вас. Ни моя сестра, ни я никогда этого не забудем. Да благословит и хранит вас господь.

Голос мистера Джонса слегка дрогнул, и он отвернулся. Потом отпустил руку Рыжего Теда и быстро пошел к двери. Рыжий Тед ошеломленно глядел ему вслед.

— О чем это он толкует?

Резидент расхохотался. Он пытался сдержать себя, но чем больше старался, тем больше его разбирал смех. Он весь трясся, и видно было, как под саронгом вздрагивают складки его жирного живота. Он откинулся на спинку кресла и раскачивался из стороны в сторону. Смеялось не только его лицо, он хохотал всем телом, и даже его толстые ляжки весело тряслись. От смеха у него закололо в груди. Рыжий Тед хмуро смотрел на него и, по-

скольку не понимал причины смеха, начал сердиться и схватил за горлышко пустую пивную бутылку.

— Если вы не прекратите смеяться, я проломлю вашу дурацкую башку,— закричал он.

Резидент отер лицо. Глотнул пива. Он вздыхал и постанывал, потирая заболевшие бока.

— Он тебя благодарил за то, что ты пощадил добродетель мисс Джонс,— наконец с трудом проговорил он.

— Я?— вскричал Рыжий Тед.

Мысль проделала достаточно долгое путешествие в его голове, но когда, наконец, он уловил ее, то пришел в неописуемую ярость. Из его глотки хлынул мощный поток таких богохульных и грязных ругательств, какие поразили бы даже бывалого матроса.

— Эта старая корова,— наконец проговорил он.— Да за кого он меня принимает?

— У тебя такая репутация: все знают, что ты гроза для девиц, Рыжий, — хихикнул резидент.

— Да я бы к ней не притронулся ни за какие коврижки. Мне бы в голову не пришло. Какое нахальство! Я сверну его чертову шею. Послушайте, дайте мне мои деньги, я собираюсь напиться.

— Не могу тебя осуждать,— сказал резидент.

— Старая корова!— повторял Рыжий Тед.— Экая старая корова!

Он был потрясен и возмущен. Слова миссионера действительно задели его чувство порядочности.

Резидент вручил ему деньги и дал подписать необходимые документы.

— Можешь пойти и напиться,— сказал он,— но предупреждаю, если что-нибудь натворишь, на этот раз получишь двенадцать месяцев.

— Ничего не натворю,— угрюмо бросил Рыжий Тед. Он страдал из-за несправедливой обиды.— Это оскорбление!— кричал он.— Подлое оскорбление — вот что это такое!

Он ушел от резидента, бормоча про себя: «Грязная свинья, грязная свинья». Рыжий Тед пропьянствовал целую неделю. Мистер Джонс снова явился к резиденту.

— Мне очень больно слышать, что бедняга снова на дурном пути,— сказал он.— Мы с сестрой ужасно расстроены. Боюсь, что было не очень мудро дать ему сразу так много денег.

— Это его деньги. Я не имел права их задерживать.

— Юридического права, может быть, у вас и не было, но ведь существует и моральное.

Он поведал резиденту историю той страшной ночи на острове. Женский инстинкт подсказал мисс Джонс, что Рыжий Тед, распаленный похотью, хотел овладеть ею, и тогда, чтобы защитить себя, она вооружилась скальпелем. Джонс рассказал резиденту, как она молилась, плакала, пряталась. Ее страдания были безмерны, и она сознавала, что не переживет позора. Она сидела и нервно раскачивалась, и каждую минуту ждала, что он подойдет. На помощь нечего было надеяться. В конце концов она заснула. Бедняжка была измотана вконец, ей пришлось пережить больше, чем человек способен вынести, а когда она проснулась, то обнаружила, что накрыта мешками из-под копры. Он увидел ее спящей, и, несомненно, ее невинность, самая ее беспомощность растрогали

его, и у него не хватило духу тронуть ее. Он тихонько прикрыл ее двумя мешками и молча, бесшумно ушел.

— Из этого видно, что где-то в глубине души у него осталось что-то чистое. Моя сестра считает, что наш долг — спасти его. Мы обязаны что-нибудь для него сделать.

— На вашем месте я отложил бы это до тех пор, пока он не промотает все деньги,— сказал резидент,— а тогда, если он не попадет в тюрьму, можете делать что угодно.

Но Рыжий Тед не хотел, чтобы его спасали. Недели две спустя после того, как срок его заключения истек, он сидел на табуретке перед входом в китайскую лавку и тупо смотрел на улицу, как вдруг увидел мисс Джонс. Он уставился на нее, и вновь его охватило изумление. Он стал тихо бормотать, надо полагать, нечто весьма непочтительное. Но увидев, что мисс Джонс заметила его, тут же отвернулся; тем не менее он чувствовал на себе ее взгляд. Она шла быстро, но по мере приближения благоразумно замедлила шаг. Подумав, что она собирается остановиться и заговорить с ним, он поспешно встал и вошел в лавку. Минут пять, по крайней мере, он не решался выйти. Полчаса спустя появился мистер Джонс собственной персоной. Он направился прямо к Рыжему Теду и, подойдя, протянул руку.

— Как поживаете, мистер Эдвард? Моя сестра сказала, что я найду вас здесь.

Рыжий Тед бросил на миссионера угрюмый взгляд и не взял протянутой руки. На приветствие мистера Джонса он не ответил.

— Мы были бы очень рады, если бы вы пожаловали к нам на обед в ближайшее воскресенье.

Моя сестра отменная стряпуха и приготовит для вас настоящий австралийский обед.

— Идите к черту,— буркнул Рыжий Тед.

— Не очень-то вы любезны,— сказал миссионер, но при этом усмехнулся, давая понять, что он не обижен.— Вы ведь бываете у резидента время от времени, почему бы вам не зайти к нам? Приятно иногда поговорить с белыми людьми. Кто старое помянет, тому и глаз вон. Уверяю вас, мы окажем вам самый радушный прием.

— У меня нет приличной одежды, не в чем выйти,— мрачно изрек Рыжий Тед.

— Какое это имеет значение? Приходите, в чем есть.

— Не приду.

— Но почему? Должна же у вас быть какая-то причина?

Рыжий Тед всегда говорил то, что думал. Он не стеснялся сказать то, что хотелось бы любому из нас, когда мы получаем приглашение, которое нам не по душе.

— Просто не хочу.

— Жаль. Сестра будет весьма разочарована.

Желая показать, что он ни в малейшей степени не обижен, мистер Джонс дружелюбно помахал рукой и пошел прочь. Сорок восемь часов спустя в дом, где квартировал Рыжий Тед, таинственным образом прибыл пакет, в котором оказался парусиновый костюм, тенниска, пара носков и кое-какая обувь. Он не привык получать подарки и при первой же встрече с резидентом спросил, не он ли послал ему эти вещи.

— Никоим образом,— ответил резидент,— мне дела нет до твоего гардероба.

— Кто же тогда?

— Убей, не знаю.

Время от времени у мисс Джонс возникала необходимость зайти по делу к мистеру Грюйтеру, и вскоре после этого она утром пришла к нему в кабинет. Женщина она была деловая, и хотя обычно ее цель состояла в том, чтобы заставить его сделать то, от чего он уклонялся, она не отнимала у него времени зря. Поэтому он был несколько удивлен, когда выяснилось, что она пришла по пустяку. Он сказал, что не намерен заниматься этим вопросом, и мисс Джонс не стала, как обычно, уговаривать его, а почла отказ за окончательный. Она встала и, как бы вспомнив в последнюю минуту, сказала:

— Да, мистер Грюйтер, мой брат очень хочет, чтобы к нам пришел поужинать один человек — его все называют Рыжим Тедом,— и я послала ему записочку с приглашением на послезавтра. Но мне кажется, что он немного стесняется, и я подумала, не придете ли вы вместе с ним.

— Очень мило с вашей стороны.

— Брат считает, что мы обязаны что-нибудь сделать для бедняги.

— Женское влияние и все такое,— притворно серьезно проговорил резидент.

— Может быть, вы его уговорите прийти? Я уверена, что он согласится, если вы убедите его, а потом и сам будет приходить. Нельзя допустить, чтобы такой молодой человек окончательно погиб.

Резидент посмотрел на нее. Она была выше его на несколько дюймов. Он находил ее совсем непривлекательной. По странной ассоциации, она напоминала ему мокрое белье, повешенное на веревку для просушки. Глаза его поблескивали, но он сохранял невозмутимый вид.

— Сделаю все от меня зависящее,— пообещал он.

— Сколько ему лет?— спросила мисс Джонс.

— По паспорту тридцать один год.

— А как его настоящая фамилия?

— Уилсон.

— Эдвард Уилсон,— тихо повторила она.

— Удивительно, что, несмотря на его образ жизни, он еще такой сильный,— пробормотал резидент.— Силен как бык.

— Рыжие иногда бывают очень сильными,— сказала мисс Джонс с придыханием.

— Вы совершенно правы,— согласился резидент.

И тут без всякой видимой причины мисс Джонс покраснела. Она поспешно распрощалась и покинула кабинет.

— Ну и ну! — воскликнул резидент.

Теперь ему стало ясно, кто послал Рыжему Теду новую одежду.

Он встретил его в тот же день и спросил, не получал ли он послания от мисс Джонс. Рыжий Тед достал из кармана скомканную бумажку и протянул ему. Это было приглашение. Оно гласило:

Дорогой мистер Уилсон!

Мы с братом были бы очень рады, если бы вы пришли к нам поужинать в ближайший четверг в 7.30. Резидент любезно обещал прийти. У нас есть несколько новых пластинок из Австралии, которые, уверена, вам понравятся. Боюсь, что я была не очень приветлива, когда мы в последний раз виделись с вами, но тогда я мало вас знала, и я достаточно разумный человек, чтобы признать свою ошибку. Надеюсь, вы меня простите и позволите мне стать вашим другом.

Искренне ваша

Марта Джонс.

Резидент отметил, что она называет Рыжего Теда мистер Уилсон и упоминает о его, резидента, обещании прийти, так что, когда она сказала ему, что уже пригласила Рыжего Теда, она несколько предвосхитила события.

— И что ты собираешься делать?

— Никуда я не пойду, если вы об этом. Надо же, такое нахальство!

— Но надо ответить на письмо.

— И не подумаю.

— Послушай, Рыжий, надень новую одежду, которую ты получил, и сделай одолжение мне лично — пожалуйста, приди. Мне тоже надо пойти, но, черт побери, не покинешь же ты меня в беде. Ну, один раз, что, от тебя кусок отвалится?

Рыжий Тед подозрительно посмотрел на резидента, но у того был серьезный вид и говорил он искренне; откуда было ему знать, что голландец чуть не лопался от смеха.

— Какого лешего я им сдался?

— Не знаю. Наверное, мечтают пообщаться с тобой.

— А выпить дадут?

— Нет, но ты приходи ко мне к семи часам, и мы перед уходом выпьем по маленькой.

— Ну, ладно,— угрюмо согласился Рыжий Тед.

Резидент с довольным видом потирал пухлые руки. Он ждал много забавного от предстоящего вечера. Но когда наступил четверг и настало семь часов, Рыжий Тед был мертвецки пьян, и резиденту пришлось идти одному. Он сказал миссионеру и его сестре чистую правду. Мистер Джонс покачал головой.

— Боюсь, Марта, все без толку. Парень безнадежен.

Мисс Джонс промолчала, и резидент заметил, как две слезинки скатились по ее длинному, тонкому носу. Она закусила губу.

— Нет безнадежных людей. В каждом человеке есть что-то доброе. Я буду молиться за него по вечерам. Не пристало сомневаться в могуществе божьем.

Быть может, мисс Джонс права, но божественное провидение избрало весьма странный способ достигнуть своих целей. Рыжий Тед запил горькую. Он доставлял столько неприятностей, что даже резидент потерял терпение и пришел к выводу, что не может больше допустить пребывания Рыжего Теда на острове. Он решил выслать его со следующим судном, которое зайдет в Бару. Но в это время какой-то житель умер при таинственных обстоятельствах после того, как побывал на одном из островов, и резиденту стало известно, что на том же острове умерли еще несколько человек. Он послал китайца, занимавшего официальный пост врача этой группы островов, разобраться в причинах и вскоре получил сведения, что смертные случаи вызваны холерой. Еще два человека умерли на Бару, и ему стало ясно, что начинается эпидемия.

Резидент отчаянно бранился. Он бранился по-голландски, по-английски и по-малайски. Потом опорожнил бутылку пива и выкурил сигару. После этого у него возникла одна мысль. Он знал, что врач-китаец бесполезен. Это был маленький нервный человек с Явы, и туземцы откажутся подчиняться его приказам. Резидент, будучи человеком действия, хорошо представлял себе, что сле-

дует предпринять, но он не в состоянии был сделать все сам. Он не любил мистера Джонса, но в данный момент благодарил судьбу за то, что тот находится на острове, и немедленно послал за ним. Миссионер явился вместе с сестрой.

— Вы знаете, по какому поводу я вызвал вас, мистер Джонс? — спросил резидент без обиняков.

— Да, я ждал, что вы за мной пошлете. Вот почему моя сестра пришла вместе со мной. Мы готовы предоставить в ваше распоряжение все, чем располагаем. Нет надобности говорить, что моя сестра не менее компетентна, чем мужчина.

— Я знаю. С радостью приму ее помощь.

Они принялись без дальнейших отлагательств обсуждать меры, которые следовало принять. Надо было соорудить больничные хижины и карантинные станции, заставить жителей деревень на островах соблюдать надлежащие предосторожности. Во многих случаях жители зараженных деревень брали воду из тех же колодцев, что и не пораженные инфекцией, и в каждом случае трудности надо было преодолевать в зависимости от обстоятельств. Необходимо было послать на острова людей, которые отдавали бы приказы и могли бы обеспечить их выполнение. Хуже всего было то, что туземцы не станут подчиняться другим туземцам и приказы туземных полицейских, которые сами не уверены в своей компетентности, несомненно, будут игнорироваться. Мистеру Джонсу лучше было оставаться на Бару, где население наиболее многочисленно и особенно нужна его медицинская помощь. Что касается мистера Грюйтера, то, поскольку его официальные обязанности требовали постоянного контакта со штабквартирой, он не мог лично посещать все осталь-

ные острова. Придется ехать мисс Джонс, но туземцы на некоторых отдаленных островах были дикими и коварными. У резидента уже возникало с ними много неприятностей, и ему не хотелось подвергать ее опасности.

— Я не боюсь,— заявила она.

— Не сомневаюсь. Но если вам перережут горло, мне придется туго, притом нас так мало, что я не хочу рисковать потерей вашей помощи.

— Тогда пусть со мной поедет мистер Уилсон. Он знает туземцев лучше, чем кто-либо, и может говорить на всех диалектах.

— Рыжий Тед?— резидент с недоумением смотрел на нее.— У него только что был очередной приступ белой горячки.

— Я знаю,— ответила она.

— Вы очень много знаете, мисс Джонс.

Несмотря на серьезность момента, мистер Грюйтер не мог не улыбнуться. Он пристально посмотрел на нее, но она невозмутимо встретила его взгляд.

— Ничто так не выявляет скрытых качеств человека, как чувство ответственности, и я полагаю, нечто подобное может сделать человека и из него.

— Ты считаешь разумным на много дней вверить себя субъекту с такой дурной репутацией?— спросил миссионер.

— Я вверяю себя богу,— сказала она серьезно.

— По вашему мнению, он принесет пользу?— спросил резидент.— Вы ведь знаете, что он собой представляет.

— Я уверена в этом.— Вспыхнув, она добави-

ла:— В конце концов никто не знает лучше меня, что он умеет владеть собой.

Резидент прикусил губу.

— Я пошлю за ним.

Он отправил с запиской сержанта, и через несколько минут Рыжий Тед стоял перед ним. Он казался больным. Очевидно, недавний приступ был тяжелой встряской, и нервы его были вконец расшатаны. Его одежда превратилась в лохмотья, и он неделю не брился. Вид он имел самый непотребный.

— Послушай, Рыжий,— сказал резидент,— речь идет об эпидемии холеры. Мы должны заставить туземцев принять меры предосторожности и хотим, чтобы ты нам помог.

— Какого лешего я должен помогать?

— Никаких причин для этого нет. Кроме филантропии.

— Не выйдет, резидент. Я не филантроп.

— Тогда вопрос исчерпан. Все. Можешь идти.

Но когда Рыжий Тед повернулся к двери, его остановила мисс Джонс.

— Это было мое предложение, мистер Уилсон. Видите ли, меня хотят послать на Лабобо и Сакунчи, а туземцы там такие дикие, что я боюсь ехать одна. Я подумала, если вы тоже поедете, мне будет спокойнее.

Он взглянул на нее с крайней неприязнью.

— А мне-то что, если вам перережут глотку?

Мисс Джонс посмотрела на него, и ее глаза наполнились слезами. Она расплакалась. Он стоял, тупо уставившись на нее.

— Конечно, вы не обязаны ехать,— она взяла себя в руки и вытерла глаза.— Глупо с моей

стороны. Ничего со мной не случится. Я поеду одна.

— Дурацкая идея — женщине ехать на Лабобо!

Она слабо улыбнулась ему:

— Это, конечно, так, но, понимаете, это моя работа, и я ничего не могу поделать. Простите, если я обидела вас, попросив поехать со мной. Забудьте об этом. Полагаю, с моей стороны было неправильно просить вас подвергать себя такому риску.

Наверное, целую минуту Рыжий Тед смотрел на нее, переминаясь с ноги на ногу. Казалось, лицо его почернело.

— А, проклятье! Пусть будет по-вашему,— проговорил он, наконец.— Поеду с вами. Когда вы хотите выехать?

Они отправились на следующий день с лекарствами и дезинфецирующими средствами на правительственном катере. Мистер Грюйтер должен был выехать в прау в другом направлении, как только уладит все дела на Бару. Эпидемия свирепствовала в течение четырех месяцев. Хотя делалось все возможное, чтобы локализовать ее, она вспыхивала на одном острове за другим. Резидент был занят с утра до ночи. Не успевал он вернуться на Бару с того или иного острова, где надо было срочно что-то предпринимать, как ему приходилось снова выезжать в другое место. Он распределял продовольствие и медикаменты, подбадривал смертельно напуганных крестьян. Он все держал под контролем, работал как вол. Рыжего Теда он ни разу не видел, но знал от мистера Джонса, что эксперимент удался сверх ожиданий. Бездельник ведет себя примерно. Умеет

ладить с туземцами. С помощью лести, иногда непреклонности, другой раз пуская в ход кулаки, он сумел заставить их принять меры, необходимые для их собственной безопасности. Мисс Джонс могла поздравить себя с успехом своей затеи. Но резидент слишком устал, чтобы воспринимать это как нечто забавное. Когда эпидемия сошла на нет, он ликовал, потому что из населения в восемь тысяч человек умерло всего шестьсот.

Наконец наступил момент, когда он смог объявить, что во всем районе нет ни одного случая холеры.

Однажды вечером он сидел в своем саронге на веранде и читал французский роман со счастливым сознанием, что снова можно наслаждаться жизнью. Вошел старший бой и доложил, что пришел Рыжий Тед. Резидент встал и крикнул, чтобы тот вошел. Он уже стосковался по обществу и как раз подумывал, что неплохо бы напиться вечером, но одному пить скучно, и он с сожалением отказался от своего намерения. А тут бог послал Рыжего Теда. Ей-же-ей, веселый предстоит вечерок. После этих четырех месяцев они заслужили такое скромное развлечение. Рыжий Тед вошел в комнату. На нем был чистый белый парусиновый костюм, он был гладко выбрит и казался совсем другим человеком.

— Привет, Рыжий, да ты выглядишь так, будто провел месяц на курорте, а не ухаживал за туземцами, умирающими от холеры. А костюм! Одет прямо с иголочки:

Рыжий Тед улыбнулся смущенно. Старший бой принес две бутылки пива и наполнил стаканы.

— Угощайся, Рыжий,— сказал резидент, беря свой стакан.

— Я лучше не буду пить. Спасибо.

Резидент поставил свой стакан и с изумлением уставился на Рыжего Теда.

— Почему? Что случилось? Разве тебя не мучит жажда?

— Не откажусь от чашки чая.

— От чашки чего?

— Я бросил пить. Мы с Мартой женимся.

— Рыжий!

У резидента глаза полезли на лоб. Он почесал бритый затылок.

— Ты не можешь жениться на мисс Джонс,— сказал он.— Никто не может жениться на мисс Джонс.

— Нет, я женюсь. За этим я и пришел к вам. Оуэн обвенчает нас, но мы хотим зарегистрироваться и по голландскому закону.

— Ничего себе шуточки, Рыжий. В чем великая идея?

— Она так захотела. Влюбилась в меня в ту ночь, что мы провели на острове, когда сломался винт. Она неплохая бабенка, когда поближе ее узнаешь. Это ее последний шанс, понимаете, и мне хочется сделать ей приятное. Ей нужно, чтобы кто-то о ней заботился, это уж точно.

— Рыжий, Рыжий, не успеешь ты моргнуть глазом, как она сделает из тебя миссионера.

— Не вижу в этом ничего плохого, если у нас будет своя маленькая миссия. Она говорит, что я чудо как умею ладить с туземцами. Могу, говорит, за пять минут добиться больше толка от туземца, чем Оуэн за целый год. Никогда, говорит, не встречала человека с таким обаянием, как у меня. Вроде жалко похоронить такой дар.

Резидент молча смотрел на него и несколько

раз медленно покачал головой. Да, обвела его вокруг пальца, ничего не скажешь.

— Я уже семнадцать человек обратил в веру,— сказал Рыжий Тед.

— Ты? Вот уж не знал, что ты такой ревностный христианин.

— Я сам точно не знал, но когда я побеседовал с ними и они побрели в лоно, как стадо овец, я просто обалдел. Провалиться мне на этом месте, сказал я, все-таки в этом что-то есть.

— Тебе надо было тогда изнасиловать ее, Рыжий. Я бы не обошелся с тобой слишком сурово. Дал бы тебе не больше трех лет, а три года пролетят — и не заметишь.

— Послушайте, резидент, вы часом не проговоритесь, что я об этом и не помышлял. Женщины такие обидчивые, и если она узнает, жуть как расстроится!

— Я знал, что она положила на тебя глаз, но чтобы все так кончилось...— Резидент стал возбужденно ходить взад и вперед по веранде.— Послушай меня, старик,— заговорил он после раздумья,— мы с тобой не раз отлично проводили время, и друг есть друг. Я вот что придумал: одолжу тебе катер, а ты сможешь уехать и спрятаться на одном из островов, отсидишься там, пока не придет следующее судно, а я тогда скажу, чтобы оно замедлило ход и взяло тебя на борт. У тебя сейчас есть один-единственный шанс — бежать без оглядки.

Рыжий Тед покачал головой:

— Не пойдет, резидент. Я знаю, что вы говорите это из лучших побуждений, но я собираюсь жениться на окаянной бабе, и точка. Вам не понять, какая это радость — заставить этих паскуд-

ных грешников покаяться, прийти ко Христу. И, черт побери, она так делает пудинг с патокой — ничего подобного не едал с самого детства.

Резидент расстроился. Этот пьяный бездельник составлял всю его компанию на островах, и он не хотел его терять. Он обнаружил, что даже питает к нему определенную симпатию. На следующий день он отправился к миссионеру.

— Действительно ваша сестра собирается замуж за Рыжего Теда? — спросил он. — Никогда в жизни не слышал ничего более невероятного.

— Тем не менее это так.

— Вы должны что-нибудь предпринять. Это безумие!

— Моя сестра — совершеннолетняя и имеет право поступать, как ей заблагорассудится.

— Не хотите ли вы сказать, что одобряете этот поступок? Вы же знаете Рыжего Теда. Он — бродяга, двух мнений быть не может. Вы ей объяснили, как она рискует? Я хочу сказать, что убеждать грешников покаяться и все такое прочее — это прекрасно, но есть же границы. Помните, леопард никогда не меняет своих пятен.

И тут впервые в жизни резидент заметил веселую усмешку в глазах миссионера.

— Моя сестра очень решительная особа, мистер Грюйтер, — сказал он. — С той ночи, что они провели на острове, он уже был обречен.

Резидент раскрыл рот. Он был удивлен не менее пророка Валаама, когда господь разверз уста его ослицы и она спросила Валаама, что такого она сделала, что он трижды ее ударил. Значит, мистер Джонс иногда все-таки спускается на землю.

— О, боже! — пробормотал резидент.

Они не успели продолжить разговор, как в комнату стремительно вошла мисс Джонс. Она сияла и помолодела на десять лет. Щеки ее рдели, а нос почти совсем утратил красный оттенок.

— Вы пришли поздравить меня, мистер Грюйтер? — спросила она, двигаясь оживленно, как молодая девушка. — Вот видите, я все-таки была права. В каждом человеке скрыто что-то хорошее. Вы и представить себе не можете, как великолепен был Эдвард в течение всего этого ужасного периода. Он просто герой. Он святой. Даже я была поражена.

— Надеюсь, вы будете очень счастливы, мисс Джонс.

— Уверена, что буду. Мне не пристало сомневаться в этом. Ибо нас свел господь бог.

— Вы так думаете?

— Я знаю. Разве вы не понимаете? Если бы не холера, Эдвард никогда не нашел бы себя. Если бы не холера, мы никогда не узнали бы друг друга. Никогда я не видела, чтобы рука божья проявилась столь явственно.

Резидент подумал, что прием, с помощью которого эту парочку свели вместе, не такой уж безобидный, если при этом умерло шестьсот человек, однако, не будучи особо сведущ в деяниях всемогущего, он воздержался от замечаний.

— Вы ни за что не угадаете, где мы собираемся провести медовый месяц, — сказала мисс Джонс лукаво.

— На Яве.

— А вот и нет. Если вы одолжите нам катер, мы поедем на тот остров, куда нам пришлось высадиться. Он будит в нас обоих самые нежные воспоминания. Именно там я впервые поняла,

какой прекрасный и добрый человек Эдвард. Именно там я хочу вознаградить его.

У резидента перехватило дыхание. Он поспешно вышел, так как боялся, что, если немедленно не выпьет бутылку пива, с ним случится припадок. Никогда в жизни не был он так потрясен.

БОЖИЙ СУД

Они терпеливо ждали своей очереди, но терпенье было для них не внове; все трое с мрачной решимостью упражнялись в нем тридцать лет. Их жизнь была длительным приготовлением к этому мгновению, и теперь они предвкушали результат, преисполненные если и не самонадеянности, поскольку при таких внушающих трепет обстоятельствах подобное чувство было бы явно не к месту, то уж во всяком случае надежды и мужества. Среди призывно раскинувшихся перед ними цветущих лугов греха они избрали узкую тернистую тропинку; с высоко поднятой головой, хотя и с разбитыми сердцами, они противостояли искушению, и сейчас, когда путь их был окончен, они ожидали награды. Им незачем было разговаривать друг с другом, ибо каждый знал мысли другого, и все трое испытывали облегчение, наполнявшее их бестелесные души благодарностью. Какие муки терзали бы их, если бы они поддались страсти, казавшейся в то время почти неодолимой, и каким безумием было бы с их стороны ради нескольких лет блаженства пожертвовать вечной жизнью, которая наконец-то

ослепительно засияла перед ними! Они чувствовали себя как люди, которые, чудом избежав внезапной и жестокой гибели, восхищенно ощупывают и осматривают себя с ног до головы, с трудом веря в свое спасение. Им не в чем было себя упрекнуть, и потому, когда вскоре за ними явились ангелы и объявили, что час настал, в них окрепла уверенность, что и дальше они пойдут так же, как прошли эту, оставшуюся далеко позади жизнь, с счастливым сознанием выполненного долга. Они стояли чуть в стороне, ибо давка была ужасающая. Страшная война продолжалась, и вот уже несколько лет солдаты всех национальностей, мужчины в полном расцвете прекрасной молодости, непрерывным потоком шествовали на божий суд; были среди них и женщины и дети, чью жизнь загубило насилие или, что еще печальнее, горе, болезни и голод; и в небесных чертогах царила сумятица.

Этих трех бледных дрожащих призраков, стоявших в ожидании суда, тоже привела сюда война. Джон и Мэри плыли на пароходе, потопленном торпедой, выпущенной с подводной лодки. А Рут, подорвавшая здоровье ревностной работой, которой она так благородно посвятила себя, услышав о смерти любимого ею всем сердцем человека, быстро угасла и умерла. Джон, сказать по чести, мог бы спастись, если бы не пытался спасти жену. Он ненавидел ее; он ненавидел ее до глубины души тридцать лет; но он всегда был верен своему долгу по отношению к ней, и теперь, в минуту страшной опасности, ему и в голову не могло прийти поступить иначе.

Наконец, ангелы, взяв их за руки, повели в тронный зал. Какое-то время всевышний не обращал на них ни малейшего внимания. По правде

говоря, он был в плохом настроении. Незадолго до этого пред ним предстал один философ, имевший за плечами долгую жизнь и удостоенный множества почестей, и этот человек заявил прямо в глаза всевышнему, что не верит в него. Разумеется, вовсе не эти слова омрачили чело царя царей, в лучшем случае они могли вызвать у него лишь улыбку; но философ, не слишком благородно, по всей видимости, воспользовавшись прискорбными событиями там внизу, на земле, спросил всевышнего, каким образом, рассуждая беспристрастно, совмещаются его всемогущество с его всеблагостью.

— Никто не может отрицать существования зла,— сказал философ нравоучительно.— В таком случае, если бог не в силах предотвратить зло, он не всемогущ, а если он в силах это сделать, но не делает, он не всеблаг.

Подобное утверждение было, конечно, не в новинку вседержителю, но он обычно отказывался обсуждать этот вопрос; ибо, хотя он и был всеведущ, ответа на него не знал. Даже господь бог не в состоянии превратить дважды два в пять. А философ, уцепившись за свое преимущество и, как зачастую поступают философы, делая неверный вывод из верной посылки,— философ закончил свою мысль утверждением, которое, учитывая обстоятельства, было в высшей степени абсурдным.

— Я не могу верить в бога,— заявил он,— который не является и всемогущим и всеблагим.

Поэтому, быть может, всевышний, не без известного облегчения, обратил свои взоры на три смиренно стоявшие перед ним и все еще пре-

исполненные надежд тени. Живые, говоря о себе, говорят чересчур много, даже несмотря на то, что им отпущен такой короткий срок на земле, мертвые же, перед которыми простирается вечность, настолько словоохотливы, что лишь ангелы способны вежливо выслушивать их до конца. Но вот вкратце история, рассказанная этими тремя.

Джон и Мэри пять лет состояли в счастливом браке и, пока Джон не встретил Рут, любили друг друга, испытывая, как это и бывает у большинства супругов, друг к другу искреннюю привязанность и взаимное уважение. Рут было восемнадцать, на десять лет моложе его,— очаровательное грациозное существо, красота ее расцвела вдруг и разила без промаха; она отличалась как физическим, так и душевным здоровьем и, проникнутая естественным предвкушением счастья, могла обрести то истинное величие, кое и составляет красоту души. Джон полюбил ее, и она полюбила его. Но страсть, охватившая их, была не обычным земным чувством, то, что переполняло их, было настолько ошеломляющим, что они не сомневались — смысл всей мировой истории сводился лишь к тому, чтобы дать им возможность встретиться. Они любили как Дафнис и Хлоя, или как Паоло и Франческа. Узнав, что любовь их взаимна, они пришли в экстаз, но после первых минут восторга их захлестнуло отчаяние. Они были порядочными людьми и уважали себя, веру, в которой их воспитали, и общество, в котором они жили. Разве может он обмануть невинную девушку? А она, что у нее может быть общего с женатым мужчиной? Потом им стало ясно, что Мэри знает о их любви. То искреннее доверие,

с которым она относилась к мужу, было подорвано; она и представить себе не могла, что способна на чувства, крепнувшие в ней теперь,— ревность, страх быть брошенной, гнев, поскольку она больше не властвовала над его сердцем, и странное вожделение души, более мучительное, чем любовь. Она чувствовала, что умрет, если он ее оставит, и в то же время сознавала, что если он полюбил, значит, любовь сама его нашла, он не искал ее специально. Она не упрекала его. Она молила бога дать ей силы и молча проливала горькие слезы. Джон и Рут видели, как она чахнет у них на глазах. Борьба была долгая и упорная. Порой мужество изменяло им, и тогда казалось, что противиться страсти, сжигавшей их до мозга костей, было невозможно. Но они противились. Они боролись с грехом столь же яростно, как Иаков боролся с ангелом божьим, и в конце концов они победили. С разбитыми сердцами, но гордые своей невинностью, они расстались. Они принесли на алтарь господа, словно священную жертву, свои надежды на счастье, радость жизни и красоту мира.

Рут любила слишком страстно, чтобы полюбить снова, и потому она, с окаменевшим сердцем, обратилась к господу и добрым делам. Она была неутомима. Она ухаживала за больными и помогала бедным. Она создавала приюты для сирот и возглавляла благотворительные организации. И мало-помалу ее красота, которая теперь была ей безразлична, увяла, и лицо окаменело, как и сердце. Ее вера была неистовой и ограниченной, ее доброта — жестокой, ибо зиждилась не на любви, а на рассудке; она стала деспотичной, нетерпимой и мстительной. А Джон, покорившийся, но мрач-

ный и раздражительный, влачил безрадостное существование и ждал смерти-освободительницы. Жизнь потеряла для него всякий смысл; он внес свою лепту, но, победив, оказался побежденным; единственным чувством, еще жившим в его душе, была неугасимая тайная ненависть к жене. Он был с ней кроток и предупредителен и вел себя так, как подобает христианину и джентльмену. Он исполнял свой долг. Мэри, добрая, преданная, исключительная (это надо признать) жена, ни разу не поставила мужу в вину овладевшее им безумие и все-таки не могла простить ему той жертвы, которую он принес ради нее. Она стала желчной и сварливой. И, ненавидя себя за это, не в силах была удержаться от того, чтобы не говорить ему слов, которые, как она знала, больно ранили его. Она бы охотно пожертвовала жизнью ради него, но мысль о том, что он наслаждался счастьем в то время, как она была такой несчастной, что сотни раз желала умереть, была для нее невыносимой. Так или иначе, теперь она мертва, и они тоже; жизнь, серая и тоскливая, прошла; они не согрешили, и вознаграждение совсем близко.

Они закончили свой рассказ, и наступило молчание. В небесных чертогах воцарилась тишина. «Катитесь к дьяволу» — эти слова готовы были сорваться с губ всевышнего, но он не произнес их, ибо разговорный оттенок этого выражения, как он вполне справедливо рассудил, плохо соответствовал торжественности момента. Да и кроме того, подобный приговор не отвечал бы существу дела. Но лик его потемнел. И он спросил себя, неужели же ради этого сотворил он этот мир, где восходящее солнце освещает своими лучами

ручьи, сбегая с холмов, и колышутся от полуденного ветерка золотые колосья?

— Мне иногда кажется,— промолвил всевышний,— что звезды сияют ярче всего, когда они отражаются в грязной воде придорожных канав.

А три тени по-прежнему стояли перед ним, и сейчас, рассказав свою невеселую историю, они испытывали известное удовлетворение. Борьба была тяжкой, но они исполнили свой долг. Всевышний легонько дунул — так, как дуют на горящую спичку, и — глядите-ка!— там, где только что стояли три несчастных духа, не осталось ничего. Всевышний уничтожил их.

— Я часто удивляюсь, почему люди полагают, будто я придаю такое важное значение супружеской неверности,— сказал он.— Если бы они повнимательнее читали мои произведения, они бы увидели, что я всегда с симпатией относился именно к этой разновидности человеческих слабостей.

И он повернулся к философу, который все еще ждал ответа на свои слова.

— Ты не можешь не согласиться,— сказал всевышний,— что в данном случае я очень удачно соединил мое всемогущество с моей всеблагостью.

ЦЕРКОВНЫЙ СЛУЖИТЕЛЬ

В тот день в послеобеденное время в церкви св. Петра на Невилл-скуэр состоялось крещение, и церковный служитель Алберт Эдвард Форман еще не снял своего одеяния. Новое облачение с такими пышными и жесткими складками, словно оно не сшито из альпаки, а отлито из бронзы, он берег для порохон и венчаний (фешенебельная публика обычно предпочитала проводить эти церемонии в церкви св. Петра на Невилл-скуэр), и сейчас на нем было облачение попроще. Он носил его с глубоким удовлетворением, ибо почитал достойным символом своей должности, а без него (когда снимал его перед уходом домой) испытывал неприятное чувство, будто был полураздет. Не жалея сил, он самолично складывал и гладил его. За шестнадцать лет своей службы в церкви он накопил их множество, но ни разу не решился выбросить изношенные, и все до единого, аккуратно упакованные в оберточную бумагу, они лежали в нижних ящиках его гардероба в спальне.

Служитель наводил порядок: накрыл крашеной деревянной крышкой мраморную купель, убрал стул, принесенный для старой больной дамы, и ждал, пока викарий закончит дела в ризнице и он сможет прибраться там и уйти домой. В это время он увидел, что викарий подошел к алтарю, преклонил колена и тут же вышел в проход между скамьями. Он все еще не снял сутаны.

«И чего он только канителится? — подумал служитель. — Не знает разве, что мне пора пить чай?»

Недавно назначенный викарий был краснолицый, энергичный мужчина лет сорока с небольшим, и Алберт Эдвард все еще вспоминал его предшественника, священника старой школы, который неторопливо читал проповеди серебристым голосом и частенько обедал у знатных прихожан. Ему нравилось в церкви так, как оно было, и он никогда не суетился попусту, не то, что этот новичок, который всюду сует нос. Но Алберт Эдвард — человек терпимый. Церковь св. Петра находилась в очень хорошем районе, и ее прихожане принадлежали к весьма почтенной публике. Новый викарий перешел сюда из Ист-Энда, и едва ли можно было ожидать, что он сразу приноровится к сдержанному поведению своих фешенебельных прихожан.

— Одна только сутолока,— пробурчал Алберт Эдвард,— но с течением времени попривыкнет.

Когда викарий, продвигаясь по проходу, подошел поближе к служителю и мог заговорить с ним, не повышая голоса более, чем это дозволительно в церкви, он остановился.

— Зайдите на минутку в ризницу, Форман.

— Непременно, сэр.

Викарий подождал, пока он подойдет, и они вместе пошли по проходу.

— Очень приятное было крещение, позвольте мне заметить, сэр. Удивительно, что младенец перестал плакать, как только вы его взяли на руки.

— Я заметил, что так часто бывает,— сказал викарий, улыбнувшись,— это неудивительно, у меня большая практика.

Викарий втайне гордился, что ему почти всегда удавалось утихомирить плачущего младенца,

умело держа его, и он не мог не замечать удивленно-восхищенных взглядов матерей и нянюшек, которые наблюдали, как он укладывает младенца на изгиб прикрытой стихарем руки. Служитель знал, что викарию приятно, когда восторгаются его талантом.

Викарий первым вошел в ризницу, за ним Алберт Эдвард. Последний с некоторым удивлением увидел там двух церковных старост. Он не заметил, как они вошли. Они любезно кивнули ему.

— Добрый день, милорд, добрый день, сэр,— поздоровался он с ними по очереди.

Оба престарелые, они исполняли обязанности церковных старост в течение всего времени, что Алберт Эдвард работал служителем этой церкви. Теперь они сидели за красивым столом для трапез, который прежний викарий привез много лет назад из Италии. Викарий сел на свободное кресло между ними. Алберт Эдвард смотрел на них поверх разделявшего их стола и с некоторым беспокойством думал о том, что могло стрястись. Он еще не забыл того случая, когда органист попал в беду и сколько у всех было хлопот, чтобы замять историю. В такой церкви, как церковь св. Петра на Невилл-скуэр, нельзя было допустить скандала. Красное лицо викария выражало решительное благодушие, но двое других казались несколько встревоженными.

«Не иначе, как допек их,— подумал про себя служитель,— небось уговорил их что-то сделать, а им неохота. Помяните мое слово, так оно и есть».

Но мысли Алберта Эдварда не нашли отражения на его гладко выбритом, исполненном достоин-

ства лице. Он стоял в почтительной позе, но без подобострастия. До того, как занять должность в церкви, он долго был в услужении, но только в очень хороших домах, и держался безупречно. Начал он с посыльного у крупного торговца, затем поднялся постепенно от четвертого до первого лакея, потом в течение года был дворецким у вдовы пэра, и до тех пор, пока не появилась вакансия в церкви св. Петра на Невилл-скуэр, он служил дворецким в доме бывшего посла и имел в своем подчинении двух помощников. Был он высок, сухощав, серьезен и величествен. Он смахивал если не на герцога, то на актера старой школы, традиционно исполнявшего роли герцогов. Он обладал тактом, твердостью и уверенностью в себе. Его репутация была безупречна.

Викарий быстро приступил к делу:

— Нам придется сказать вам нечто довольно неприятное, Форман. Вы прослужили здесь много лет, и я думаю, его светлость и генерал согласятся со мной, что вы выполняли свои обязанности к вящему удовольствию всех заинтересованных лиц.

Оба церковных старосты кивнули.

— Но на днях мне стало известно одно поразительное обстоятельство, и я счел своим долгом ознакомить с ним церковных старост. К своему удивлению, я обнаружил, что вы не умеете ни читать, ни писать.

На лице служителя не изобразилось никакого смущения.

— Прежний викарий знал об этом, сэр,— ответил он.— И говорил, что это не имеет значения, ибо, по его мнению, в мире слишком много ученых людей.

— Это самая удивительная вещь, какую мне приходилось слышать,— воскликнул генерал.— Вы хотите сказать, что работаете служителем церкви на протяжении шестнадцати лет и не умеете ни читать, ни писать?

— Я пошел в услужение, когда мне было двенадцать лет, сэр. На первом месте повар пытался обучить меня, да, видно, у меня нет способностей, а потом уж так получилось, что и времени не было. В общем-то мне это никогда не мешало. Мне думается, множество нынешних молодых людей тратят зря уйму времени на чтение вместо того, чтобы делать что-нибудь полезное.

— Но неужели вам не хочется знать, что творится в мире?— спросил другой церковный староста.— Или написать письмо?

— Нет, милорд, мне кажется, я прекрасно обхожусь без этого. А в последние годы в газетах так много картинок, что я неплохо соображаю, что происходит. Моя жена — женщина, можно сказать, ученая, так что, если мне нужно отправить письмо, она пишет его за меня. Другое дело, если бы я заключал пари у букмекеров.

Церковные старосты тревожно взглянули на викария и опустили глаза.

— Вот что, Форман, я обсудил положение с этими джентльменами, и они вполне согласны со мной, что возникла недопустимая ситуация. В церкви св. Петра на Невилл-скуэр мы не можем иметь служителя, который не умеет читать и писать.

Худое, бледное лицо Алберта Эдварда покраснело, он переминался с ноги на ногу, но ничего не ответил.

— Поймите меня, Форман, у меня нет к вам никаких претензий. Вы выполняете свои обязан-

ности вполне добросовестно, и я высокого мнения о вашем поведении и ваших способностях, но мы не можем рисковать тем, что из-за вашего прискорбного невежества случится какое-нибудь несчастье. Речь идет о благоразумии и о принципе.

— А не могли бы вы овладеть грамотой, Форман? — спросил генерал.

— Нет, генерал, боюсь, что не смогу. Уже поздно. Я не молод, как раньше, и если не мог вбить буквы себе в голову, когда был мальчонкой, то не думаю, что мне это удастся сейчас.

— Нам не хотелось бы поступить с вами сурово, Форман, — сказал викарий, — но церковные старосты и я приняли твердое решение. Мы даем вам три месяца, и если к концу этого срока вы не научитесь читать и писать, боюсь, вам придется уволиться.

Алберт Эдвард никогда не любил нового викария. Он с самого начала считал, что его назначение в церковь св. Петра было ошибкой. Не такой он человек, какой нужен столь почтенным прихожанам. Форман слегка распрямился. Он знает себе цену и не позволит, чтобы им помыкали.

— Прошу прощения, сэр, но боюсь, это бесполезно. Старую собаку, как говорится, новым фокусам не научишь. Я прожил много лет, не умея читать и писать, и не стану хвалиться — бахвальство плохая рекомендация, но замечу, что справлялся со своими обязанностями в тех высоких местах, куда провидению угодно было меня направить, и даже если бы я мог обучиться грамоте сейчас, мне вряд ли захотелось бы этого.

— В таком случае, Форман, боюсь, вам придется нас покинуть.

— Да, сэр, я вполне понимаю. Я с радостью

уйду и вручу свою отставку, как только вы найдете мне замену.

Но когда Алберт Эдвард со своей обычной вежливостью закрыл дверь церкви за викарием и двумя церковными старостами, он не мог более сохранять вид невозмутимого достоинства, с каким он выдержал нанесенный ему удар, и губы его задрожали. Он медленно вернулся в ризницу и повесил на крючок облачение служителя. Тяжело вздохнул, вспомнив обо всех пышных похоронах и фешенебельных свадьбах, на которых он присутствовал. Потом все прибрал, надел пальто, с шляпой в руке пошел по проходу, запер за собой дверь и побрел через площадь, но, погрузившись в печальные мысли, направился не по улице, которая вела к дому, где его ждала чашка крепкого, хорошо заваренного чая, а свернул в другую сторону. Он шел медленно. На душе было тяжко, и он не знал, что ему теперь делать. Мысль вернуться в услужение ему не улыбалась: после того, как столько лет он был сам себе хозяин,— ибо пусть викарий и церковные старосты говорят, что угодно, но именно он управлял церковью св. Петра на Невилл-скуэр,— он вряд ли мог так низко пасть, чтобы пойти в услужение. У него накопилась кругленькая сумма, но недостаточная для того, чтобы жить ничего не делая, да и жизнь дорожала с каждым годом. Он никогда не задумывался над подобными вопросами. Служители церкви св. Петра, подобно папам римским, занимали свою должность до конца дней своих. Ему часто представлялось, как лестно упомянет викарий в своей проповеди в первое воскресенье после его смерти о долгой беспорочной службе и примерном поведении их покойного служителя Алберта Эдварда

Формана. Он глубоко вздохнул. Алберт Эдвард не курил и не пил, но все же позволял себе выпить за обедом стакан пива, а когда уставал — побаловаться сигаретой. Ему пришло в голову, что сигарета успокоила бы его, а поскольку он не носил их с собой, то осмотрелся, ища лавку, где мог бы купить пачку «Голд флейкс». Вблизи лавки не было, и он прошел еще немного. Это была длинная улица со всевозможными магазинами, но на ней не было ни одного, где можно было бы купить сигареты.

— Странно,— сказал Алберт Эдвард.

Чтобы проверить себя, он прошел всю улицу в обратном направлении. Нет, он не ошибся. Он остановился и задумчиво огляделся.

— Вряд ли я единственный человек, который идет по этой улице и хочет закурить,— сказал он себе.— Мне кажется, что небольшая лавочка здесь могла бы преуспевать. Табак и сладости, а?

Он вдруг встрепенулся.

— Это идея!— воскликнул он.— Странно, что удача сама идет в руки, когда ты этого совсем не ждешь.

Он повернул и пошел домой, где выпил ожидавший его чай.

— Ты сегодня что-то очень молчалив, Алберт,— заметила его жена.

— Я думаю,— отозвался он.

Он обдумал вопрос со всех сторон и на следующий день вновь прошелся по этой улице, и ему повезло найти небольшую лавочку, которая сдавалась внаем и как раз отвечала его требованиям. Двадцать четыре часа спустя он снял ее, а когда через месяц навсегда покинул церковь св. Петра на Невилл-скуэр, Алберт Эдвард Форман основал

свое дело как владелец табачной и газетной лавки. Его жена считала это позорным падением после должности служителя церкви св. Петра, но он ответил, что надо идти в ногу со временем, церковь уже не та, что была раньше, и отныне он будет воздавать кесарю кесарево. Алберт Эдвард преуспевал настолько, что примерно через год ему пришло в голову завести вторую лавку и отдать ее на попечение управляющего. Он поискал еще одну длинную улицу, на которой не было табачной лавки, и когда нашел такую, а также лавочку, сдававшуюся внаем, он снял ее и завез товар. Она также стала приносить доход. Потом у него возникла идея, что, коль скоро он справляется с двумя лавками, он может справляться и с полдюжиной, так что он стал бродить по Лондону и всякий раз, когда обнаруживал длинную улицу без табачного киоска и пустую лавку, сдававшуюся внаем, он завладевал ею. За десять лет он приобрел не менее десяти лавок и загребал огромные барыши. Он сам обходил все свои лавки по понедельникам, собирая недельную выручку, и относил ее в банк.

Однажды утром, когда он протянул кассиру пачку банкнотов и тяжелый мешочек с серебром, кассир сказал, что его хочет видеть управляющий банком. Его провели в кабинет, и управляющий обменялся с ним рукопожатием.

— Мистер Форман, я хотел поговорить с вами о деньгах, которые вы храните в нашем банке. Известно ли вам точно, какова общая сумма?

— С точностью до фунта нет, сэр, но примерно представляю себе.

— Если не считать той суммы, которую вы внесли сегодня, у вас накопилось тридцать с лиш-

ним тысяч фунтов. Это очень большая сумма, чтобы просто держать ее в банке, и я полагаю, вам выгоднее было бы вложить капитал в ценные бумаги.

— Мне не хотелось бы рисковать, сэр. Я знаю, что в банке держать деньги надежно.

— У вас нет оснований для малейшего беспокойства. Мы составим для вас список абсолютно надежных ценных бумаг. Вы будете получать с них более высокий процент, чем тот, какой мы в состоянии вам платить.

На достойном лице мистера Формана изобразилось беспокойство.

— Я никогда не имел дел с капиталами и акциями, и мне придется оставить все в ваших руках,— сказал он.

Управляющий улыбнулся.

— Мы обо всем позаботимся сами. Единственное, что вам придется сделать в следующий раз, когда вы придете, это просто подписать трансферты.

— Это я, конечно, могу сделать,— сказал Алберт,— но откуда я буду знать, что я подписываю?

— Я полагаю, вы сможете прочитать,— чуть-чуть резковато сказал управляющий.

Мистер Форман взглянул на него с обезоруживающей улыбкой.

— В этом-то и дело, сэр. Не смогу. Знаю, что это звучит нелепо, но никуда не денешься: я не умею ни читать, ни писать, только подписывать свою фамилию, да и этому я научился только когда занялся бизнесом.

Управляющей был настолько изумлен, что даже вскочил с места.

— В жизни не слыхал ничего более невероятного!

— Видите ли, сэр, дело в том, что у меня никогда не было возможности учиться до тех пор, пока не стало слишком поздно, а тогда мне уже и не хотелось. Заупрямился, так сказать.

Управляющий смотрел на него как на доисторическое ископаемое.

— Вы что же, хотите сказать, что создали это крупное дело и накопили состояние в тридцать тысяч фунтов стерлингов, не умея ни читать, ни писать? Господи, боже мой, дружище, кем бы вы были теперь, если бы умели читать и писать?

— Это я могу вам сказать, сэр,— ответил мистер Форман, и легкая улыбка осветила его все еще аристократические черты.— Я был бы служителем церкви св. Петра на Невилл-скуэр.

САНАТОРИЙ

Первые шесть недель Эшенден провел в санатории, не вставая с постели. Он видел лишь доктора, наведывавшегося к нему утром и вечером, нянек, ухаживавших за ним, и горничную, приносившую ему еду. Заболев туберкулезом, Эшенден обратился в Лондоне к специалисту-легочнику, и, поскольку в Швейцарию он по некоторым причинам поехать не мог, врач порекомендовал ему санаторий на севере Шотландии. Но вот наступил долгожданный день — доктор разрешил Эшендену встать. После полудня няня помогла ему одеться и сойти вниз, на веранду,

подложила под спину подушки, укутала пледами и предоставила ему наслаждаться солнечными лучами, струившимися с безоблачного неба. Была середина зимы. Санаторий стоял на вершине холма, откуда открывался широкий вид на заснеженные окрестности. По всей веранде в шезлонгах лежали люди, одни тихо беседовали, другие читали. То и дело кто-нибудь начинал задыхаться от кашля, а потом украдкой бросал взгляд на свой носовой платок. Перед тем как уйти, няня заученно бодрым тоном обратилась к человеку, лежавшему в соседнем шезлонге.

— Вот, познакомьтесь, пожалуйста, с мистером Эшенденом,— сказала она. А затем повернулась к Эшендену:— Это мистер Маклеод. Он и мистер Кембл живут здесь дольше всех.

По другую сторону от Эшендена лежала красивая девушка, рыженькая, с ярко-голубыми глазами; она не была накрашена, но губы ее ярко алели, а на щеках играл румянец. Это лишь подчеркивало необычайную белизну ее кожи. Кожа у нее была восхитительная, хоть и ясно было, что эта нежная белизна — следствие тяжелой болезни. Девушка была одета в меховое пальто и закутана в пледы, оставлявшие открытым только лицо, невероятно худое, до того худое, что нос, в сущности, совсем небольшой, все же казался крупноватым. Она дружелюбно взглянула на Эшендена, но промолчала, а он, чувствуя себя неловко среди незнакомых людей, ждал, пока с ним заговорят.

— Вам сегодня, видно, в первый раз позволили встать?— осведомился Маклеод.

— Да.

— Где ваша комната?

Эшенден ответил.

— Маловата. Я знаю здесь все комнаты. Семнадцать лет я в санатории. Моя комната самая удобная, и я имею на нее все права, можете не сомневаться. Кембл старается выжить меня, сам хочет туда перебраться, но я и не подумаю уступить: с какой стати, я приехал на шесть месяцев раньше его.

Маклеод казался непомерно длинным в своем шезлонге; кожа его плотно обтягивала кости, щеки ввалились, а под впалыми висками и скулами легко угадывалась форма черепа; на изможденном лице с большим костлявым носом выделялись огромные глаза.

— Семнадцать лет — немалый срок,— заметил Эшенден, чтобы как-то поддержать разговор.

— Время летит быстро. И мне здесь нравится. Бывало, каждые год-два я уезжал отсюда на лето, но потом бросил. Теперь мой дом тут. Есть у меня брат и две сестры, но они обзавелись семьями, и я стал им в тягость. Вот поживете здесь годик-другой, а потом захотите вернуться к нормальной жизни — и увидите, как трудно снова попасть в колею. Старые друзья пошли своими дорогами, и у вас не осталось с ними ничего общего. Везде какая-то сумасшедшая спешка. Много шуму из ничего, вот что это такое. Суета, толчея. Нет, здесь куда спокойнее. Я с места не двинусь, пока меня не вынесут отсюда ногами вперед.

Лондонский специалист сказал Эшендену, что если он некоторое время последит за своим здоровьем, то совершенно поправится, и теперь Эшенден с любопытством взглянул на Маклеода.

— Что вы делаете здесь целыми днями? — спросил он.

— Делаю? Когда болеешь туберкулезом, забот целая куча, милейший. Я меряю температуру, потом взвешиваюсь. Потихоньку одеваюсь. Завтракаю, читаю газеты и иду гулять. Потом отдыхаю. После второго завтрака играю в бридж и снова отдыхаю, потом обедаю. Снова играю в бридж и ложусь спать. Здесь неплохая библиотека, можно получить и все новинки, но на чтение у меня почти не остается времени. Я беседую с людьми. Каких только людей здесь не встретишь! Они приходят и уходят. Порой уходят, воображая, что излечились, но по большей части возвращаются назад, а порой уходят в лучший мир. Я проводил многих и надеюсь проводить еще больше, прежде чем уйду сам.

Девушка, сидевшая по другую сторону от Эшендена, внезапно вмешалась в разговор:

— Должна вам сказать, мало, кто способен так от души радоваться похоронам, как мистер Маклеод.

Маклеод хихикнул.

— Не знаю, право, но, по-моему, было бы противоестественно, если бы я не говорил себе: ну что ж, слава богу, что это его, а не меня спроваживают на тот свет.

Тут он вспомнил, что следует представить Эшендена девушке.

— Вы, кажется, не знакомы... Мистер Эшенден — мисс Бишоп. Она англичанка, но славная девушка.

— А вы давно здесь? — осведомился Эшенден.

— Всего два года. И пробуду только до весны. Доктор Леннокс говорит, что через несколько

месяцев я совсем окрепну и вполне смогу уехать домой.

— Ну и глупо,— пробурчал мистер Маклеод.— От добра добра не ищут — вот как я рассуждаю.

Между тем на веранде показался человек; он медленно ковылял, опираясь на палку.

— Глядите, вон майор Темплтон.— В голубых глазах мисс Бишоп засветилась улыбка; когда он приблизился, она сказала:— Рада вас видеть снова на ногах.

— Ах, пустое! Легкая простуда. Теперь я чувствую себя превосходно.

Едва произнеся эти слова, майор закашлялся. Он тяжело оперся на палку. Но когда приступ прошел, весело улыбнулся.

— Никак не избавлюсь от этого распроклятого кашля,— сказал он.— Курить надо поменьше. Доктор Леннокс велит бросить совсем, но где там: я все равно не могу себя заставить.

Это был рослый, красивый человек с несколько театральной внешностью, смуглым, но болезненным лицом, чудесными темными глазами и аккуратными черными усиками. На нем была шуба с каракулевым воротником. Вид у него был щеголеватый и, пожалуй, чуточку слишком эффектный. Мисс Бишоп представила ему Эшендена. Майор Темплтон сделал несколько любезных слов непринужденным и сердечным тоном, а потом предложил девушке пойти прогуляться; ему было предписано каждый день ходить до какого-то определенного места в лесу за санаторием и обратно. Маклеод поглядел им вслед.

— Любопытно, есть ли между ними что-

нибудь,— сказал он.— Говорят, до болезни Темплтон был не последним сердцеедом.

— Глядя на него, трудно себе это представить,— заметил Эшенден.

— Ну, не скажите. Я тут чего только не перевидал за эти годы. Мог бы рассказать вам бездну всяких историй.

— Так за чем дело стало?

Маклеод ухмыльнулся:

— Ладно, я расскажу вам кое-что. Года три или четыре назад здесь жила одна темпераментная дамочка. Муж навещал ее каждые две недели, по субботам, души в ней не чаял, всякий раз прилетал самолетом из Лондона, но доктор Леннокс был убежден, что она путается здесь с кем-то, только не мог доискаться, с кем. И вот как-то вечером, когда все мы легли спать, он велел покрыть пол перед ее дверью тонким слоем краски, а наутро осмотреть все ночные туфли. Ловко, правда ведь? Тот молодчик, на чьих туфлях оказалась краска, вылетел отсюда в два счета. Доктору приходится быть строгим, ничего не поделаешь. Он не хочет, чтобы о санатории пошла дурная слава.

— А Темплтон давно здесь?

— Месяца три. Он почти не вставал с постели все это время. Его песенка спета. Айви Бишоп будет последней дурой, если влюбится в него. У нее все шансы выздороветь. Я ведь многих перевидал здесь, у меня глаз наметанный. Мне довольно взглянуть на человека, чтобы определить, выздоровеет он или нет, а если нет, мне ничего не стоит предсказать, сколько он протянет. Ошибаюсь я редко. Темплтону осталось жить не больше двух лет.

Маклеод бросил на Эшендена испытующий взгляд, и Эшенден, поняв значение этого взгляда, хоть и пытался внушить себе, что это его только забавляет, невольно ощутил некоторую тревогу. Глаза Маклеода лукаво блеснули. Он отлично понимал, что творится в душе у Эшендена.

— Вы-то поправитесь. Стал бы я откровенничать с вами, не будь я в этом уверен! Не имею ни малейшего желания, чтобы доктор Леннокс выставил меня отсюда за то, что я нагоняю страх божий на его пациентов.

Пришла няня, чтобы снова уложить Эшендена в постель. Хотя Эшенден просидел на веранде всего час, он устал и с удовольствием снова ощутил прохладное прикосновение простынь. Вечером зашел доктор Леннокс. Он взглянул на температурный листок.

— Недурно, недурно,— сказал он.

Доктор Леннокс был маленький, живой и очень добродушный человечек. Вполне знающий врач и неплохой делец, он страстно увлекался рыбной ловлей. Как только наступал рыболовный сезон, он с легкой душой сваливал заботу о больных на своих помощников; больные хотя и высказывали неудовольствие, но охотно лакомились свежей семгой, которая разнообразила их рацион. Доктор, говоривший с сильным шотландским акцентом, любил поболтать и теперь, стоя у кровати Эшендена, осведомился, беседовал ли он с кем-нибудь из больных. Эшенден рассказал, что няня познакомила его с Маклеодом. Доктор Леннокс рассмеялся.

— Это наш старожил. Ему известно о санатории и о больных больше, чем мне самому. Откуда он все узнает, для меня загадка, но от него не

укрывается ни одна интимная подробность. Во всем санатории не найти старой девы, у которой был бы более тонкий нюх на всякие пикантные происшествия. Он рассказал вам о Кембле?

— Он упомянул это имя.

— Они с Кемблом ненавидят друг друга. Смешно, не правда ли? Оба прожили здесь семнадцать лет и в лучшем случае имеют одно здоровое легкое на двоих. Они видеть друг друга спокойно не могут. Я отказался выслушивать их бесконечные жалобы. Комната Маклеода расположена прямо над комнатой Кембла, а Кембл играет на скрипке. Маклеод приходит в бешенство. По его словам, он выслушивает одни и те же мелодии вот уже пятнадцать лет, а Кембл уверяет, что Маклеод просто не способен отличить одну мелодию от другой. Маклеод хочет, чтобы я запретил Кемблу играть, но, что поделаешь, это его право, лишь бы он не играл в те часы, когда больные отдыхают. Я предложил Маклеоду переехать в другую комнату, но он отказался. Говорит, что Кембл играет нарочно, чтобы выжить его из лучшей комнаты во всем санатории, и уверяет, что этот номер не пройдет. Не странно ли, что два пожилых человека только о том и думают, как бы отравить друг другу существование? Никак не угомонятся. Едят за одним столом, вместе играют в бридж, и дня не проходит без скандала. Я даже грозил выгнать обоих, если они не образумятся. На короткое время это помогало. Они не хотят уезжать. Они пробыли здесь так долго, что ни одной душе нет до них дела, они не в силах вернуться к прежней жизни. Как-то, несколько лет назад, Кембл вздумал уехать месяца на два. Он вернулся через неделю;

сказал, что не может выдержать шума, а при виде стольких людей на улице его охватывает ужас.

В странном мирке очутился Эшенден, когда состояние его стало улучшаться и он мог ближе познакомиться с другими обитателями санатория. Однажды доктор Леннокс разрешил ему завтракать в столовой. Это была большая комната с низким потолком и огромными окнами; окна всегда были распахнуты настежь, и в погожие дни солнце заливало всю столовую. Эшенден застал там множество людей, и ему не сразу удалось разобраться в своих впечатлениях. Люди были такие разные — молодые, пожилые и совсем старые. Одни, подобно Маклеоду и Кемблу, провели в санатории много лет и не собирались покидать его до конца жизни. Другие приехали всего несколько месяцев назад. Одна старая дева, некая мисс Аткин, имела обыкновение проводить здесь каждую зиму, а на лето уезжать к друзьям и родственникам. Она уже вполне поправила свое здоровье и могла бы вообще обходиться без лечения, но санаторная жизнь ей нравилась. За долгие годы она приобрела здесь известное положение, стала почетным библиотекарем и пользовалась дружбой самой экономки. Она всегда рада была посплетничать с кем угодно, но доверчивого новичка вскоре предупреждали, что каждое его слово становится известно доктору Леннокcу. Доктору ведь не мешало знать, что его пациенты не ссорятся между собой, всем довольны, ведут себя благоразумно и выполняют его указания. Мало что укрывалось от зоркого глаза мисс Аткин, и обо всем она сообщала экономке, а та — доктору

Ленноксу. Поскольку мисс Аткин в течение стольких лет каждую зиму приезжала в санаторий, она сидела за одним столом с Маклеодом и Кемблом наравне со старым генералом, которому отвели там место из уважения к его высокому чину. Стол этот ничем не отличался от остальных, и место, где он стоял, было ничуть не лучше всякого другого, но, поскольку он предназначался для старожилов, сидеть здесь считалось за особую честь, и некоторые пожилые дамы были глубоко уязвлены тем, что мисс Аткин, которая уезжает каждое лето на четыре или пять месяцев, занимает почетное место, тогда как они, хоть и живут в санатории круглый год, принуждены сидеть за другими столами. Был здесь старый чиновник индийской службы, который прожил в санатории дольше всех, не считая Маклеода и Кембла; в свое время этот человек управлял целой провинцией, а теперь он нетерпеливо ждал смерти Маклеода или Кембла, чтобы занять место за почетным столом. Эшенден познакомился и с Кемблом. Это был долговязый, костлявый мужчина, лысый и тощий — в чем только душа держится; когда он, съежившись, сидел в кресле, то странным образом походил на злобного горбуна из кукольного спектакля. Был он резкий, обидчивый и раздражительный. Первым делом он осведомился у Эшендена:

— Вы любите музыку?

— Да.

— Здесь никто в ней ни черта не смыслит. Я играю на скрипке. Если угодно, заходите как-нибудь ко мне, я вам сыграю.

— Не ходите,— вмешался Маклеод, слышавший их разговор.— Это пытка.

— Как вы грубы! — вскричала мисс Аткин.— Мистер Кембл играет очень мило.

— В этой дыре не найти человека, способного отличить одну ноту от другой,— заявил Кембл.

Маклеод удалился с презрительным смехом. Мисс Аткин попыталась загладить неловкость:

— Не обращайте внимания на слова мистера Маклеода.

— Вот еще! Я у него в долгу не останусь, будьте покойны.

До самого вечера он без конца наигрывал один и тот же мотив. Маклеод стучал в пол, но Кембл не унимался. Маклеод послал горничную сказать, что у него болит голова и он просит мистера Кембла прекратить игру; Кембл ответил, что имеет полное право играть, а если мистеру Маклеоду это не по вкусу — что ж, очень жаль. На следующий день при встрече они наговорили друг другу резкостей.

Эшендена посадили за один стол с красивой мисс Бишоп, Темплтоном и бухгалтером из Лондона, по имени Генри Честер. Это был коренастый, широкоплечий, жилистый человечек, меньше всего похожий на туберкулезного. Болезнь обрушилась на него словно мгновенный удар из-за угла. Это был самый заурядный человек лет сорока, женатый, отец двоих детей. Жил он в скромном лондонском предместье. Каждое утро он уезжал в Сити и прочитывал утреннюю газету; каждый вечер приезжал из Сити и прочитывал вечернюю газету. У него не было других интересов, кроме работы и семьи. Дело свое он любил; он зарабатывал достаточно, чтобы жить безбедно, каждый год откладывал небольшую сумму, по субботам и воскресеньям играл в гольф, в августе

ездил отдохнуть недели на три на восточное побережье, всегда на один и тот же курорт. Вот дети подрастут, женятся, он устроит на свое место сына, а сам поселится с женой в маленьком деревенском домике, где и проживет на покое до тех пор, пока не пробьет его час. Как и многие тысячи ему подобных, он ничего больше не желал от жизни. Это был средний англичанин. А потом случилась беда. Он простудился, играя в гольф, затем появилась боль в груди и кашель, от которого он никак не мог избавиться. Он всегда был крепкого здоровья и терпеть не мог лечиться, но в конце концов поддался уговорам жены и согласился идти к врачу. Он был поражен, поражен до глубины души, когда узнал, что у него каверны в обоих легких и единственная возможность сохранить жизнь — уехать в санаторий. Специалист, к которому Честер сразу же обратился, сказал, что он, вероятно, сможет вернуться к работе через год-другой, но два года прошло, и доктор Леннокс посоветовал ему выкинуть эту мысль из головы по крайней мере еще на год. Он показал ему бацилл в его мокроте и рентгеновский снимок, где затемнения свидетельствовали об активном процессе. Честер совсем упал духом. Он считал, что судьба сыграла с ним жестокую и несправедливую шутку. Это было бы объяснимо, если бы он вел разгульную жизнь, пьянствовал, волочился за женщинами, мало спал. Тогда он получил бы по заслугам. А так... Какая чудовищная несправедливость! Лишенный духовных запросов, равнодушный к книгам, он способен был только размышлять о своем здоровье. Это перешло в манию. Он напряженно следил за симптомами. Пришлось отобрать у него градусник, потому что он мерил

температуру десять раз на дню. Он вбил себе в голову, что доктора относятся к его состоянию слишком равнодушно, и, чтобы привлечь к себе их внимание, старался с помощью всяких ухищрений сделать так, чтобы термометр показывал угрожающе высокую температуру; а когда его уличали в обмане, он стал угрюмым и раздражительным. Но по натуре это был живой, общительный человек, и порой, забыв о своих горестях, он весело болтал и смеялся; потом внезапно вспоминал о болезни, и в глазах его появлялся страх перед смертью.

В конце каждого месяца его жена приезжала на день или два и останавливалась в гостинице по соседству. Доктор Леннокс не особенно жаловал родственников своих пациентов — их посещения волновали и расстраивали больных. Трогательно было глядеть, с каким нетерпением Генри Честер ждал приезда жены; но, странное дело, в ее присутствии он почему-то казался вовсе не таким уж счастливым. Миссис Честер была маленькая, приятная, живая женщина, некрасивая, но не лишенная изящества и столь же заурядная, как и ее муж: стоило только взглянуть на нее, и становилось ясно, что она хорошая жена и мать, бережливая хозяйка, милое, тихое существо, которое исполняет свой долг и никому не мешает. Ее вполне удовлетворяла та скучная замкнутая жизнь, которую она вела столько лет, и единственным ее развлечением было кино, а единственным бурным переживанием — дешевая распродажа в лондонских универмагах; ей никогда в голову не приходило, что ее существование однообразно. Другой жизни она и вообразить не могла. Эшендену понравилась миссис Честер. Он с интересом

слушал ее болтовню о детях и домике в лондонском предместье, о соседях и мелочных заботах. Однажды он встретил ее на дороге. Честер из-за каких-то лечебных процедур остался в санатории, и она гуляла одна. Эшенден предложил пройтись вместе. Они поговорили о том о сем. Потом она внезапно спросила, как он находит ее мужа.

— По-моему, он поправляется.

— Ах, я так беспокоюсь...

— Не забывайте, туберкулез — болезнь затяжная. Наберитесь терпения.

Они прошли еще немного, и тут Эшенден заметил, что она плачет.

— Не надо расстраиваться,— сказал он мягко.

— Ах, вы не представляете себе, что мне приходится переносить, когда я приезжаю сюда. Я знаю, что не должна рассказывать об этом, но ведь я могу вам довериться, правда?

— Конечно.

— Я люблю его. Я к нему привязана. Я пожертвовала бы ради него всем на свете. Мы никогда не ссорились, никогда даже не спорили, ни разу. А теперь он меня ненавидит, и это разбивает мне сердце.

— Что вы, не может быть... Ведь когда вас здесь нет, он только о вас и говорит. И с такой любовью! Он к вам очень привязан.

— Да, когда меня здесь нет. Но когда я здесь, перед ним, здоровая и полная сил, тут-то на него и находит. Ему ужасно тяжело, что он болен, а я здорова. Он боится смерти и ненавидит меня за то, что я останусь жить. Мне приходится все время быть начеку; о чем бы я ни заговорила — о детях ли, о будущем,— все выводит его из себя, и он бросает мне горькие, обидные слова. Когда

я заговариваю о делах, которые мне предстоит сделать дома, или о том, что я сменила кого-нибудь из прислуги, это его бесит. Он жалуется, что я обращаюсь с ним так, словно уже не принимаю его в расчет. Раньше мы жили дружно, а теперь я чувствую, что между нами выросла глухая стена. Я знаю, его винить нельзя, причиной всему болезнь, ведь он такой хороший и ласковый, воплощенная доброта,— когда он был здоров, я не знала человека более мягкого; а теперь я просто боюсь навещать его и уезжаю с чувством облегчения. Заболей я туберкулезом, он очень опечалился бы, но я знаю, где-то в глубине души он бы обрадовался. Он смог бы примириться со мной, примириться со своей участью, если б знал, что и я скоро умру. Иногда он мучит меня разговорами о том, что я буду делать, когда его не станет; я прихожу в отчаяние и умоляю его замолчать, а он отвечает, что я не должна лишать его этого невинного удовольствия: ведь он так скоро умрет, а я могу еще долгие годы жить и не знать горя. Ах, это просто невыносимо — столько лет мы любили друг друга, а теперь все кончается так отвратительно, так ужасно.

Миссис Честер села на придорожный камень и дала волю слезам. Эшенден глядел на нее с жалостью, но не мог найти слов утешения. Все, что он услышал, не было для него неожиданностью.

— Дайте мне сигарету,— попросила она наконец.— Я не хочу, чтобы глаза у меня покраснели и опухли, а то Генри догадается, что я плакала, и подумает, будто мне сообщили о нем дурные новости. Разве смерть так страшна? Неужели все мы так безумно боимся смерти?

— Не знаю,— отозвался Эшенден.

— Когда умирала моя мать, она, мне кажется, прощалась с жизнью без сожаления. Она знала, что нет никакой надежды, и даже слегка подшучивала над смертью. Но она была уже старая женщина.

Миссис Честер овладела собой, и они двинулись дальше. Некоторое время они шли молча.

— Вы не измените своего мнения о Генри после всего, что я вам рассказала?— спросила она наконец.

— Разумеется, нет.

— Он был хорошим мужем и отцом. Я никогда не встречала лучшего человека. До болезни, поверьте, ни одна жестокая или бесчестная мысль не могла прийти ему в голову.

Разговор этот заставил Эшендена задуматься. Его часто упрекали в том, что он слишком низкого мнения о человеческой природе. А все потому, что он не всегда судил о своих ближних в соответствии с общепринятыми нормами. Не раз, когда другие приходили в ужас, он только улыбался, огорченно вздыхал или пожимал плечами. Конечно, кто мог ожидать, что этот добрый, ничем не примечательный человечек затаил столь злобные и недостойные мысли; но разве дано нам предвидеть, как низко человек способен пасть и как высоко вознестись? Вся беда в скудости его идеалов. Генри Честеру на роду было написано вести заурядную жизнь, подверженную лишь обычным превратностям, и, когда несчастье неожиданно обрушилось на него, он оказался безоружным. Он был подобен кирпичу, который изготовлен на большом заводе для того, чтобы занять свое место среди миллионов других кирпи-

чей, но оказался с изъяном и поэтому не пошел в дело. Ведь и кирпич, будь у него разум, мог бы крикнуть: в чем я провинился, почему я не могу выполнять свою скромную задачу, почему меня отделили от других кирпичей, моей опоры и поддержки, и выбросили на свалку? И не вина Генри Честера, если он не мог найти в себе силы, чтобы безропотно переносить несчастье. Не каждому дано обрести утешение в искусстве или философии. Трагедия нашего времени в том и состоит, что эти простые души утратили веру в бога, на которого уповали, и надежду на загробную жизнь и счастье, которого они лишены в этом мире; взамен же они не нашли ничего.

Говорят, что страдание облагораживает человека. Но это не так. Как правило, оно делает человека мелочным, раздражительным и эгоистичным. Впрочем, здесь, в санатории, люди не слишком страдали. На определенной стадии туберкулеза появляется легкая лихорадка, которая скорее возбуждает, чем угнетает, и больной оживляется, обретает надежду, видит будущее в розовом свете; но при всем этом мысль о смерти постоянно живет в подсознании. Она подобна зловещему лейтмотиву, пронизывающему игривую оперетку. Сквозь веселые, ласкающие слух арии и танцевальные ритмы нет-нет да прорываются какие-то трагические ноты, которые угрожающе бьют по нервам; мелочные повседневные интересы, пустяковые обиды и пошлые заботы отступают на задний план; от боли и ужаса сжимается сердце, и страх смерти снисходит на душу, подобно тому, как тишина, предвещающая тропический ливень, снисходит на джунгли. Вслед за Эшенденом в санатории появился юноша лет двадцати.

Моряк, младший лейтенант, он служил на подводной лодке и заболел тем, что в романах принято называть «скоротечной чахоткой». Это был высокий, красивый юноша с вьющимися каштановыми волосами, голубыми глазами и ласковой улыбкой. Эшенден виделся с ним два или три раза на веранде, и они обменялись поклонами. Это был веселый парень. Он болтал о музыкальных ревю и кинозвездах; читал в газетах сообщения о футбольных матчах и состязаниях боксеров. А потом юношу уложили в постель, и Эшенден больше его не видел. Вызвали родственников, и через два месяца его не стало. Он умер без жалоб. Он понимал, что с ним происходит, не больше, чем какое-нибудь животное. Несколько дней санаторием владело то же тяготное чувство, какое бывает в тюрьме после казни одного из заключенных; а потом словно по уговору, повинуясь инстинкту самосохранения, все выбросили мысль о юноше из головы: жизнь с ее неизменным распорядком, с питанием три раза в день, гольфом на миниатюрной площадке, принудительным отдыхом, ссорами и обидами, сплетнями и мелочными неприятностями, пошла своим чередом. Кембл, к ярости Маклеода, все так же пиликал на своей скрипке модную песенку и трогательную мелодию «Энни Лори». Маклеод все так же бахвалился своим искусством игры в бридж и сплетничал насчет здоровья и нравственности других. Мисс Аткин все так же злословила. Генри Честер все так же жаловался, что доктора уделяют ему мало внимания, и сетовал на судьбу, которая с ним, человеком праведной жизни, сыграла такую подлую шутку. Эшенден все так же читал и со снисходительным любопытством

наблюдал за причудами своих страдающих братьев.

Он сблизился с майором Темплтоном. Темплтону было на вид немногим больше сорока, и в свое время он служил в королевской гвардии, но после войны ушел в отставку. Человек весьма состоятельный, он стал жить в свое удовольствие. В сезон он участвовал в скачках, в сезон стрелял куропаток, в сезон травил лис. А когда все сезоны кончались, ехал в Монте-Карло. Он рассказывал Эшендену, какие крупные суммы выигрывал и проигрывал в баккара. Он был не прочь приволокнуться за женщинами и, если верить его рассказам, делал это не без успеха. Он любил хорошо поесть и выпить. Он знал по имени метрдотелей всех лучших лондонских ресторанов. Он был членом полдюжины клубов. Много лет он вел бесполезную, пустую жизнь самовлюбленного эгоиста, ту жизнь, которая в будущем, быть может, станет немыслима, но ему тем не менее жилось легко и беззаботно. Однажды Эшенден полюбопытствовал, как бы поступил Темплтон, если бы можно было все начать сначала, и тот ответил, что поступил бы точно так же. Это был интересный собеседник, веселый и беззлобно насмешливый, он скользил по поверхности явлений — не будучи способен на большее — легко, свободно и уверенно. У него всегда находился комплимент для поблекших старых дев и шутка для вспыльчивых пожилых джентльменов, потому что хорошие манеры сочетались в нем с врожденной красотой души. В легкомысленном мире людей, которые имеют больше денег, чем могут истратить, он чувствовал себя так же уверенно и свободно, как среди фешене-

бельных особняков Мэйфэра. Он был из тех, кто всегда готов заключить пари, помочь другу или дать десятку нищему. Пусть он сделал не так уж много добра, зато и зла сделал немного. Баланс его жизни сводился к нулю. Но общаться с ним было куда приятнее, чем со многими обладателями более цельных характеров и достойных качеств. Теперь он был тяжело болен. Он умирал и знал это. Он относился к своему положению с такой же легкой улыбчивой беззаботностью, как и ко всему на свете. Он порядком покутил на своем веку и ни о чем не жалеет, правда, ему здорово не повезло — схватил туберкулез, но черт возьми, никто не вечен: ведь с таким же успехом он мог погибнуть от вражеской пули или сломать себе шею, беря барьер. Всю жизнь он придерживался правила: уплати проигрыш и забудь о нем. За свои деньги он получил достаточно и теперь готов прикрыть лавочку. Вся его жизнь была сплошным праздником, но всякий праздник рано или поздно кончается, и на другой день не имеет особого значения, уехал ли ты домой на рассвете или исчез, когда веселье было в разгаре.

В отношении морали он стоял ниже всех обитателей санатория, но зато один только он с искренней беспечностью принимал неизбежное. Он открыто презирал смерть, предоставляя другим считать его легкомыслие неприличным или восхищаться его мужественным спокойствием.

Поселившись в санатории, он меньше всего предполагал, что здесь его ожидает такая любовь, какой он никогда в жизни не испытывал. Романов у него было множество, но настоящего — ни одного. Он довольствовался благопристойно

продажной любовью хористок и мимолетными связями с женщинами не слишком строгого нрава, которых встречал в знакомых домах. Он всегда стремился избежать всякой привязанности, которая угрожала бы его свободе. Его единственной целью в жизни было — получить возможно больше удовольствия, и там, где дело касалось женщин, бесконечное разнообразие его вполне устраивало и ничуть не смущало. К женщинам его влекло постоянно. Даже с пожилыми дамами он не мог разговаривать без ласкового блеска в глазах и нежности в голосе. Он готов был на все, лишь бы угодить им. Они знали об этой его слабости, были приятно польщены и испытывали к нему безотчетное доверие, совершенно, впрочем, неоправданное. Однажды он обронил замечание, поразившее Эшендена своей проницательностью.

— Всякий мужчина, знаете ли, может добиться женщины, это невелика хитрость; но только мужчина, уважающий женщину, может расстаться с ней, не унижая ее.

За Айви Бишоп он начал ухаживать просто в силу привычки. Она была моложе и красивее других женщин в санатории. На самом деле она была не так молода, как показалось Эшендену при первом знакомстве, ей было двадцать девять, но последние восемь лет она кочевала из одного санатория в другой, в Швейцарии, Англии и Шотландии, и тепличный образ жизни помог девушке сохранить юную внешность, так что с виду ей вполне можно было дать лет двадцать. Весь свой жизненный опыт она приобрела в этих лечебных заведениях и любопытным образом сочетала в себе поразительную наивность с не

менее поразительной искушенностью. В сердечных делах для нее не было тайн. В нее влюблялось множество мужчин самых различных национальностей; она принимала их ухаживания спокойно и слегка насмешливо и всегда находила в себе довольно твердости, если они пытались зайти слишком далеко. Была в ней сила характера, удивительная в столь хрупком существе, и, когда доходило дело до игры в открытую, она умела высказать все, что думала, в ясных, холодных и решительных выражениях. Айви была не прочь пофлиртовать с Джорджем Темплтоном. Она понимала, что это лишь игра, и хотя бывала с ним очень мила, однако ее шутливая непринужденность не оставляла сомнений в том, что она раскусила Темплтона и отнюдь не намерена смотреть на их отношения серьезнее, чем он сам. Подобно Эшендену, Темплтон каждый вечер ложился в шесть и обедал в своей комнате, а потому виделся с Айви только днем. Они совершали вместе маленькие прогулки, в другое же время редко оставались наедине. За завтраком завязывался общий разговор между Айви, Темплтоном, Генри Честером и Эшенденом, но ясно было, что не мужчин Темплтон так усердно старается развлечь. Эшендену казалось, что Темплтон уже не просто волочится за Айви от скуки, что его чувство становится глубже и искреннее. Трудно было понять, подозревает ли Айви об этом и принимает ли происходящее близко к сердцу. Стоило Темплтону сказать что-либо более интимное, чем приличествовало случаю, как она отвечала ироническим замечанием, вызывавшим общий смех. Смеялся и Темплтон, но вид у него был не веселый. Теперь ему

уже не хотелось, чтобы Айви считала его легкомысленным повесой. Чем ближе узнавал Эшенден Айви Бишоп, тем больше она ему нравилась. Было что-то трогательное в ее болезненной красоте, в прозрачной коже, в худом лице с огромными и необычайно голубыми глазами; было что-то трогательное и в ее участи: ведь подобно многим другим обитателям санатория она, по сути дела, осталась одна на свете. Мать ее вела светскую жизнь, сестры вышли замуж; они лишь формально интересовались молодой женщиной, которая жила вдали от них вот уже восемь лет. Они писали, время от времени приезжали навестить ее, но теперь их мало что связывало. Айви мирилась с этим без горечи. Она со всеми была в дружеских отношениях, всегда готова сочувственно выслушать любые жалобы и сетования. Особенно ласкова она была с Генри Честером и старалась как могла ободрить его.

— Ну, мистер Честер,— сказала она как-то за завтраком,— месяц кончается, завтра приедет ваша жена. А до тех пор вам предстоит провести время в приятном ожидании.

— Нет, в этом месяце она не приедет,— тихо ответил он, глядя в тарелку.

— Какая жалость! Но почему же? Надеюсь, дети здоровы?

— Доктор Леннокс считает, что так будет лучше для меня.

Водворилось молчание. Айви тревожно взглянула на Честера.

— Какая досада, старина,— заметил Темплтон с присущей ему сердечностью.— Почему вы не послали Леннокса ко всем чертям?

— Ему лучше знать, что нужно для моего здоровья.

Айви снова взглянула на него и перевела разговор на другое.

Позже Эшенден понял, что она сразу заподозрила истину. На следующий день Эшенден и Честер вышли прогуляться вдвоем.

— Как жаль, что ваша жена не приедет,— сказал Эшенден.— Вам ведь, наверно, очень хотелось бы повидать ее.

— Очень.

Он бросил на Эшендена косой взгляд. Эшенден почувствовал, что Честеру хочется что-то сказать ему, но он не может собраться с духом. Честер сердито передернул плечами.

— Я сам во всем виноват. Это я попросил Леннокса написать, чтобы она не приезжала. У меня больше нет сил. Целый месяц жду ее, а когда она приезжает — я ее ненавижу. Понимаете, я так страдаю из-за этой мерзкой болезни. Она же полна сил, здоровья, энергии. Когда я вижу в ее глазах жалость, я готов сойти с ума. Что ей до меня? Кому есть дело до больного человека? Все только притворяются, но в душе рады-радешеньки, что сами здоровы. Наверно, я рассуждаю по-свински?

Эшенден вспомнил, как миссис Честер сидела на придорожном камне и плакала.

— А вы не боитесь причинить ей огорчение, если запретите ей приезжать сюда?

— Что ж поделаешь. У меня у самого довольно огорчений.

Эшенден не нашелся, что ответить, и некоторое время они шли молча. Внезапно раздражение Честера прорвалось.

— Вам легко быть благородным и бескорыстным, вам не грозит смерть. А я умру, но, черт возьми, я не хочу умирать. С какой стати? Это несправедливо.

Время шло. В санатории, где так мало пищи для ума, всем вскоре стало известно, что Джордж Темплтон влюбился в Айви Бишоп. Труднее было дознаться, каковы ее чувства. Все видели, что Темплтон ей нравится, однако общества его она не искала и как будто даже избегала оставаться с ним наедине. Время от времени какая-нибудь из пожилых дам пробовала вызвать Айви на компрометирующие признания, но та при всей своей бесхитростности оказалась достойным противником. Она игнорировала намеки, а на прямые вопросы отвечала недоверчивым смехом. В конце концов все дамы пришли в бешенство.

— Она не настолько глупа, чтобы не видеть, что он от нее без ума!

— Как она смеет так играть его чувствами!

— Доктор Леннокс обязан сообщить об этом ее матери.

Но больше всех негодовал Маклеод.

— Это просто смешно. Ведь, в сущности, к чему все может привести? У него не легкие, а решето, да и ей похвастаться нечем.

Кембл, напротив, высказался насмешливо и цинично:

— Пусть наслаждаются жизнью, пока могут. Держу пари, здесь дело нечисто, только все шито-крыто, и я их не виню.

— Пошляк!— вспылил Маклеод.

— Ах, оставьте. Темплтон не такой человек, чтобы возиться с девчонкой, если у него нет

какой-то цели, и она тоже не вчера родилась, поверьте.

Эшенден, который часто бывал в обществе Темплтона и Айви, знал гораздо больше других. Темплтон как-то разоткровенничался. Он сам над собой иронизировал.

— Нелепо в моем возрасте влюбиться в порядочную девушку. Меньше всего ожидал этого от себя. Но что толку отрицать, я влюблен по уши; будь я здоров, я завтра же сделал бы ей предложение. Никогда не думал, что девушка может быть так мила. Мне всегда казалось, что иметь дело с девушками — я хочу сказать с порядочными девушками — ужасно скучно. Но с ней не скучно, она умница, большая умница. И вдобавок хороша собой. Бог мой, какая кожа! А волосы... Но не это повергло меня в прах. Знаете, что меня покорило? Смешно, да и только. Меня, старого распутника... Добродетель. Стоит мне только подумать об этом, и я готов хохотать, как гиена. Меньше всего я искал этого в женщинах, и вот, пожалуйста, никуда не денешься — она чиста, и я чувствую себя последним червем. Вы удивлены?

— Нисколько,— ответил Эшенден.— Вы не первый старик, покоренный невинностью. Это обычная сентиментальность, свойственная пожилому возрасту.

— Ах, язва!— рассмеялся Темплтон.

— Что она вам сказала?

— Бог мой, уж не думаете ли вы, что я ей признался? Я не обмолвился с ней ни единым словом, которого не мог бы сказать при всех. А вдруг я умру через полгода, и кроме того, что я могу предложить такой девушке?

Эшенден к этому времени был уже совершенно

уверен, что Айви Бишоп влюблена в Темплтона не меньше, чем тот в нее. От него не укрылся ни румянец, заливавший ее щеки, когда Темплтон входил в столовую, ни ласковые взгляды, которые она украдкой на него бросала. Ее улыбка приобретала какую-то особенную нежность, когда она слушала его воспоминания о прошлом. Эшендену казалось, что она безмятежно греется в лучах его любви, подобно тому как больные на веранде, среди снеговых гор, греются в горячих лучах солнца; но вполне возможно, что она ни о чем ином даже не помышляет, и, уж конечно, не его дело сообщать Темплтону то, что она, по-видимому, желает скрыть.

Потом произошло событие, нарушившее однообразие санаторной жизни. Хотя Маклеод и Кембл вечно ссорились, они играли в бридж вместе, потому что до приезда Темплтона были лучшими игроками в санатории. Они перебранивались без умолку и во время игры и между робберами, но за долгие годы каждый до тонкости изучил игру другого и испытывал острое удовольствие от выигрыша. Обыкновенно Темплтон отказывался составить им компанию; прекрасный игрок, он тем не менее предпочитал играть с Айви, а Маклеод и Кембл единодушно считали, что это одно баловство, Айви принадлежала к числу тех игроков, которые, сделав ошибку, влекущую за собой проигрыш целого роббера, говорят со смехом: «Невелика беда — одной взяткой меньше». Но однажды у Айви болела голова, она осталась в своей комнате, и Темплтон согласился играть с Кемблом и Маклеодом. Эшенден сел четвертым.

Хотя был конец марта, несколько дней кряду

шел снег, и они играли на веранде, открытой с трех сторон холодному ветру, в меховых пальто, шапках и перчатках. Ставки были слишком незначительны, чтобы побудить такого игрока, как Темплтон, играть осторожно, а потому он то и дело зарывался. Но играл он настолько лучше остальных, что почти всегда ухитрялся отобрать свои взятки или на худой конец садился без одной. Всем везло, и чаще обычного объявлялся малый шлем; игра проходила бурно, и Маклеод с Кемблом без устали пререкались. В половине шестого начался последний роббер, так как в шесть по звонку все должны были разойтись на отдых. Этот роббер протекал в упорной борьбе, обе стороны шли на штраф, ибо Маклеод и Кембл были противниками и каждый старался не дать выиграть другому. Без десяти шесть игра подходила к концу, оставалась последняя сдача. Темплтон играл с Маклеодом, а Эшенден — с Кемблом. Маклеод назначил две трефы, Эшенден спасовал, Темплтон показал сильную поддержку, и Маклеод назначил большой шлем. Кембл дублировал, Маклеод редублировал. Услышав это, игроки с других столов побросали карты и столпились около Маклеода, после чего игра шла при гробовом молчании небольшой кучки зрителей. Лицо Маклеода побледнело от волнения, на лбу проступили капли пота. Руки его тряслись. Кембл стал мрачнее тучи. Маклеод вынужден был дважды прорезать, и оба раза удачно. Под конец он заставил противников прокинуться и взял тринадцатую взятку. Зрители зааплодировали. Маклеод, гордый победой, вскочил на ноги. Он погрозил Кемблу кулаком.

— Где вам в карты играть, скрипач несчаст-

ный! — крикнул он. — Большой шлем, с дублем и редублем! Всю жизнь я мечтал о нем, и вот он мой! Мой! Мой!

Он задыхался. Его шатнуло, и он медленно повалился на стол. Кровь хлынула горлом. Послали за доктором. Прибежали служители. Маклеод был мертв.

Его похоронили через два дня, рано утром, чтобы не волновать больных печальным зрелищем. Из Глазго приехал какой-то родственник в трауре. Никто не любил Маклеода. Никто не жалел о нем. К концу недели его, по-видимому, забыли. Чиновник индийской службы занял его место за почетным столом, а Кембл переехал в комнату, о которой так давно мечтал.

— Теперь конец неприятностям, — сказал доктор Леннокс Эшендену. — Трудно поверить, что мне столько лет приходилось терпеть жалобы и склоки этой пары... Право же, нужно иметь ангельское терпение, чтобы содержать санаторий. И вот теперь, после того, как этот человек доставил мне столько беспокойства, он умер такой нелепой смертью и перепугал всех больных до потери сознания.

— Да, это было сильное ощущение, — сказал Эшенден.

— Он был пустой человек, но некоторые женщины ужасно расстроились. Бедняжка мисс Бишоп выплакала все глаза.

— Мне кажется, что она единственная из всех оплакивала его, а не себя.

Но вскоре выяснилось, что один человек не забыл Маклеода. Кембл бродил по санаторию, как собака, потерявшая хозяина. Он не играл в бридж. Не разговаривал. Сомнений быть не

могло: он тосковал по Маклеоду. Несколько дней он не выходил из своей комнаты, даже в столовой не появлялся, а потом пошел к доктору Ленноксу и заявил, что эта комната нравится ему меньше, чем старая, и он хочет переехать обратно. Доктор Леннокс вышел из себя, что случалось с ним редко, и ответил, что Кембл много лет приставал к нему с просьбой перевести его в эту комнату, так пусть теперь либо останется в ней, либо вовсе убирается из санатория. Кембл вернулся к себе и погрузился в мрачное состояние.

— Отчего вы не играете на скрипке?— не выдержала наконец экономка.— Уже недели две вас не слышно.

— Не хочу.

— Почему же?

— Мне это не доставляет больше удовольствия. Раньше мне нравилось выводить Маклеода из себя. Но теперь никому нет дела, играю я или нет. Я никогда больше не буду играть.

И до самого отъезда Эшендена из санатория он ни разу не взял в руки скрипку. Как ни странно, но после смерти Маклеода он потерял всякий вкус к жизни. Не с кем стало ссориться, некого дразнить, пропал последний стимул, и не оставалось сомнений, что в самом скором времени он последует за своим недругом в могилу.

Но на Темплтона смерть Маклеода произвела совершенно иное впечатление, имевшее самые неожиданные последствия. Он сказал Эшендену как всегда равнодушным тоном:

— А ведь это здорово — умереть, как он, в минуту своего торжества. Не могу понять, почему все так опечалились. Он провел здесь много лет, не так ли?

— Кажется, восемнадцать.

— По мне, такая игра не стоит свеч. По мне, лучше уж разом взять свое, а потом будь что будет.

— Разумеется, все зависит от того, насколько вы дорожите жизнью.

— Да разве это жизнь?

Эшенден не нашел, что ответить. Сам он надеялся выздороветь через несколько месяцев, но стоило взглянуть на Темплтона, и становилось ясно, что ему не поправиться. На лице его уже проступила печать смерти.

— Знаете, что я сделал? — спросил Темплтон. — Я предложил Айви стать моей женой.

Эшенден был поражен.

— Ну и что же она?

— Она, доброе сердечко, ответила, что это самое смешное предложение, какое ей только приходилось выслушивать, и я, должно быть, с ума сошел.

— Признайте, что она права.

— Конечно. Но она согласилась выйти за меня замуж.

— Это безумие.

— Разумеется, безумие. Но, как бы то ни было, мы намерены поговорить об этом с Ленноксом.

Зима наконец миновала; в горах еще лежал снег, но в долинах он стаял, а внизу, на склонах, березки уже украсились почками, вот-вот готовыми пробрызнуть нежной молодой зеленью. Очарование весны ощущалось повсюду. Солнце уже пригревало. Все оживились, некоторые даже блаженствовали. Ветераны, приезжавшие только на зиму, собирались в южные края. Темплтон и Айви вместе пошли к доктору Ленноксу. Они рассказали ему о своих планах. Леннокс осмотрел

их; были сделаны рентгеновские снимки и различные анализы. Доктор назначил день, в который обещал сообщить результаты и в соответствии с этим обсудить их намерение. Эшенден видел их перед решительным разговором с доктором. Оба были взволнованы, но изо всех сил старались не подавать вида. Доктор Леннокс показал им результаты исследований и в простых словах обрисовал их состояние.

— Все это очень мило и любопытно,— заметил Темплтон,— но нам хотелось бы знать, можем ли мы пожениться.

— Это было бы крайне неразумно...

— Мы знаем, но какое это имеет значение?

— И преступно, если у вас родится ребенок.

— Ребенка не будет,— сказала Айви.

— Что ж, в таком случае я очень коротко изложу вам, как обстоят дела. А потом решайте сами.

Темплтон ободряюще улыбнулся Айви и взял ее за руку. Доктор продолжал:

— Мисс Бишоп едва ли окрепнет когда-нибудь настолько, чтобы вернуться к нормальной жизни, но если она и дальше будет жить так, как последние восемь лет...

— В санаториях?

— Да. Не вижу причин, почему бы ей благополучно не дожить если не до преклонных лет, то по крайней мере до того возраста, которым следует удовольствоваться всякому благоразумному человеку. Болезнь не прогрессирует. Если же мисс Бишоп выйдет замуж и пожелает вести нормальную жизнь, очаги инфекции могут снова возродиться, и последствия этого я не в состоянии предсказать. Что касается вас, Темплтон, то ваше

состояние я могу охарактеризовать еще короче. Вы сами видели рентгеновские снимки. Какие у вас легкие — живого места нет. Если вы женитесь, то не проживете и полгода.

— А если не женюсь, сколько я могу прожить?

Доктор колебался.

— Не бойтесь, можете сказать мне правду.

— Два или три года.

— Благодарю вас, это все, что мы хотели знать.

Они вышли, как и вошли, рука об руку. Айви тихо плакала. Никто не слышал, о чем они разговаривали, но, когда они вышли к завтраку, лица у обоих сияли. Они сказали Эшендену и Честеру, что поженятся, как только получат разрешение на брак. Потом Айви повернулась к Честеру:

— Мне бы так хотелось видеть вашу жену у нас на свадьбе. Как вы думаете, она приедет?

— Неужели вы намерены пожениться здесь?

— Да. И мои и его родственники будут только недовольны, так что мы решили пока ничего не сообщать им. Мы попросили доктора быть моим посаженым отцом.

Она ласково взглянула на Честера, ожидая ответа. Двое других мужчин тоже посмотрели на него. Когда Честер заговорил, голос его слегка дрожал:

— Это очень любезно с вашей стороны. Я напишу ей и передам ваше приглашение.

Когда новость распространилась среди больных, многие, хотя и поздравили Айви и Темплтона, втихомолку решили между собой, что это настоящее безрассудство. Но когда им стал известен приговор Леннокса — а в санатории все рано или поздно становится известным — и они представили себе, что если Темплтон женится, то не

проживет и полгода, все умолкли в благоговейном страхе. Даже самые равнодушные не могли без волнения думать об этих двух людях, которые так любят друг друга, что не испугались смерти. Дух всепрощения и доброй воли снизошел на санаторий: те, кто был в ссоре, помирились; остальные на время забыли о своих горестях. Казалось, каждый разделял радость этой счастливой четы. И не только весна наполнила эти больные сердца новой надеждой: великая любовь, охватившая мужчину и девушку, словно обогрела своими лучами все вокруг. Айви пребывала в тихом блаженстве; волнение красило ее, она выглядела моложе и привлекательней. Темплтон был на седьмом небе. Он смеялся и шутил, словно забот у него не было и в помине. Казалось, ему предстоят долгие годы безоблачного счастья. Но однажды он открылся Эшендену.

— Собственно говоря, здесь не так плохо,— сказал он.— Айви обещала, что, когда я сыграю свой последний роббер, она вернется в этот санаторий. Тут у нее много знакомых и ей не будет так тоскливо.

— Доктора часто ошибаются,— заметил Эшенден.— Если вы будете благоразумны, почему бы вам не прожить еще довольно долго...

— Мне бы только три месяца протянуть. Только три месяца, о большем я и не мечтаю.

Миссис Честер приехала за два дня до свадьбы. Она не виделась с мужем несколько месяцев, и теперь оба смутились. Нетрудно было догадаться, что, оставаясь наедине, они чувствовали себя неловко и скованно. Однако Честер всеми силами старался побороть угнетенное состояние, ставшее для него уже привычным, и по крайней мере

за столом показал себя веселым, сердечным человеком, каким он, наверное, и был до болезни. Накануне свадьбы все пообедали вместе: Темплтон и Эшенден нарушили режим и не ушли к себе; они пили шампанское, и до десяти часов вечера не прекращались шутки, смех и веселье. Бракосочетание состоялось на другое утро в ближайшей церковке. Эшенден был шафером. Собрались все больные, способные держаться на ногах. А сразу после завтрака новобрачные должны были уехать автомобилем. Больные, врачи и няни вышли проводить их. Кто-то привязал к заднему буферу машины старый башмак, и, когда Темплтон с женой появились в дверях санатория, их осыпали рисом. Раздалось «ура», и они тронулись в путь, навстречу любви и смерти. Толпа медленно расходилась. Честер и его жена молча шли рядом. Сделав несколько шагов, он робко взял ее за руку. Сердце ее замерло. Краешком глаза она заметила слезы на его ресницах.

— Прости меня, дорогая,— заговорил он.— Я был жесток к тебе.

— Я знаю, ты не хотел меня обидеть,— ответила она, запинаясь.

— Нет, хотел. Я хотел причинить тебе страдание, потому что страдал сам. Но теперь с этим покончено. То, что произошло с Темплтоном и Айви Бишоп... не знаю, как это назвать... заставило меня по-иному взглянуть на вещи. Я больше не боюсь смерти. Мне кажется, смерть значит для человека меньше, гораздо меньше, чем любовь. И я хочу, чтобы ты жила и была счастлива. Я больше ни в чем не завидую тебе и ни на что не жалуюсь. Теперь я рад, что умереть суждено мне, а не тебе. Я желаю тебе всего самого хорошего, что есть в мире. Я люблю тебя.

КАТАЛИНА
РОМАНТИЧЕСКАЯ
ИСТОРИЯ

1

Для города Кастель Родригеса это был знаменательный день. Горожане, в лучших одеждах, поднялись с восходом солнца. С балконов мрачных старинных дворцов знати свисали богатые драпировки, и на флагштоках лениво колыхались их родовые знамена. Наступил праздник успения, 15 августа. Солнце нещадно палило с безоблачного неба. Возбуждение царило в атмосфере. В этот день после многолетнего отсутствия прибывали два выдающихся человека, уроженцы города, и в их честь готовились торжества. Одним из этих людей был фра Бласко де Валеро,

епископ Сеговии, другим — его брат дон Мануэль, прославленный полководец королевской армии. Их ожидало исполнение Te Deum[1] в кафедральном соборе, затем банкет в ратуше, бой быков, а лишь падет ночь — фейерверки. С самого утра на главную площадь потянулись толпы людей. Здесь они оформлялись в процессию, которая должна была встретить знаменитых гостей на подступах к городу. Шествие возглавляли городские власти, за ними шли сановники церкви и, наконец, шеренга дворян. Толпы вдоль улиц следили за процессией и сдерживали свое нетерпение в ожидании того момента, когда оба брата в сопровождении этих важных господ войдут в город, когда колокола всех церквей сольются в приветственную мелодию.

В часовне церкви, примыкающей к монастырю кармелиток, перед образом святой девы горячо молилась девушка-калека. Наконец, опершись о костыль, она поднялась с колен и захромала к выходу. После прохлады и полумрака церкви яркий солнечный свет на мгновение ослепил ее. Она остановилась и оглядела пустую площадь. Закрытые жалюзи на окнах домов. Полная тишина. Все ушли встречать гостей, и не слышалось даже лая собак. Казалось, город вымер. Взгляд девушки остановился на двухэтажном домике, зажатом между другими домами, и она безнадежно вздохнула. Ее мать и дядя Доминго, живший вместе с ними, также ушли встречать епископа и обещали вернуться лишь после боя быков. Девушка почувствовала себя совершенно одинокой

< Te Deum [laudamus] — Тебя, бога [хвалим] *(лат.)*, благодарственная молитва.— Примеч. перев.

и глубоко несчастной. Домой идти не хотелось, она присела на верхнюю ступеньку лестницы, ведущей от дверей церкви на площадь, мощенную каменными плитами, положила рядом костыль и заплакала. А затем, сокрушенная горем, неожиданно упала лицом вниз и разрыдалась. При этом она задела костыль, и тот загремел по узким и крутым ступенькам. Это было последней каплей. Теперь ей предстояло ползти вниз, волоча парализованную правую ногу, так как передвигаться без костыля она не могла. И девушка продолжала безутешно рыдать.

Внезапно она услышала ласковый голос:

— Почему ты плачешь, дитя?

Вздрогнув, она удивленно подняла голову, так как не слышала приближающихся шагов. Рядом стояла женщина в длинном, до пят, синем плаще. Казалось, она только что появилась из церкви, но девушка сама вышла оттуда и знала, что, кроме нее, там никого не было. Незнакомка откинула капюшон, и девушка решила, что та действительно вышла из церкви, ведь женщинам запрещалось находиться в доме бога с непокрытой головой. Молодая, пожалуй, высоковатая для испанки, ни единой морщинки под темными глазами, гладкая, нежная кожа, волосы, разделенные посередине на прямой пробор, сзади перехваченные простой ленточкой. Тонкие черты лица и добрый взгляд. Девушка не смогла сразу решить, стоит рядом с ней крестьянка, жена местного фермера или благородная дама. Держалась она просто и в то же время с внушающим робость достоинством. Длинный плащ скрывал остальную одежду, но, когда женщина откинула

капюшон, блеснуло что-то белое, и девушка догадалась, что это цвет ее платья.

— Осуши слезы, дитя, и скажи, как тебя зовут?

— Каталина.

— А почему ты сидишь тут одна и плачешь, когда все ушли встречать епископа и его брата, капитана?

— Я — калека и не могу далеко ходить, сеньора. И что мне делать среди веселых и здоровых людей?

Женщина стояла чуть позади, и Каталине пришлось повернуться, чтобы говорить с ней.

— Откуда вы пришли, сеньора?— спросила девушка, взглянув на резные двери.— Я не видела вас в церкви.

Женщина улыбнулась в ответ так нежно, что горечь тут же покинула сердце Каталины.

— Я видела тебя, дитя. Ты молилась.

— Да, молилась, как молюсь днем и ночью пресвятой деве с тех пор, как со мной случилась беда, и прошу ее исцелить меня.

— И ты думаешь, она в силах помочь тебе?

— Да, если захочет.

Что-то доброе и дружелюбное во взгляде незнакомки заставило Каталину поведать ей свою грустную историю. Это случилось на пасху, когда в город пригнали стадо быков для корриды. Впереди гарцевали на лошадях молодые дворяне. Неожиданно из стада вырвался бык и бросился в боковую улочку. В панике люди кинулись врассыпную. Одна из лошадей сбросила седока, бык приближался. Каталина бежала изо всех сил, но поскользнулась и упала. Увидев мчащегося к ней быка, она испуганно вскрикнула и лишилась чувств. Когда Каталина пришла в себя, ей

сказали, что бык ударил ее копытами и пробежал дальше. Сначала казалось, что она отделалась лишь несколькими синяками, но спустя несколько дней Каталина стала жаловаться, что не может пошевелить ногой. Доктора осмотрели ее и нашли, что нога парализована. Ногу кололи иглами, но Каталина не чувствовала боли, ей пускали кровь, поили тошнотворными отварами, но ничего не помогало. Нога омертвела.

— Но у тебя остались руки,— заметила женщина.

— Слава богу, иначе мы бы умерли с голоду. Вы спросили меня, почему я плачу. Потому что, став калекой, я потеряла любовь моего возлюбленного.

— Вероятно, он не любил тебя, если оставил в трудную минуту.

— Он любил меня всем сердцем, и я любила его больше всего на свете. Но мы — бедные люди, сеньора. Диего Мартинес — сын портного и пойдет по стопам отца. Мы собирались пожениться, как только он закончит учебу. Но бедняк не может позволить себе жену, которая не будет ходить на рынок и вести домашнее хозяйство. И мужчины всего лишь мужчины. Никому не нужна жена на костылях, и теперь Педро Алварес предложил ему свою дочь Франческу. Она страшна, как смертный грех, но Педро Алварес богат, и Диего не мог отказаться.

Каталина снова заплакала. Женщина понимающе кивнула. Издалека донеслись звуки фанфар, барабанный бой, и затем ударили все колокола.

— Они вошли в город, епископ и его брат, капитан,— сказала Каталина.— Как получи-

лось, что вы оказались здесь, сеньора, вместо того, чтобы встречать дорогих гостей?

— Мне не хотелось туда идти.

Это показалось Каталине столь странным, что она недоверчиво взглянула на незнакомку.

— Вы не живете в этом городе, сеньора?

— Нет.

— Я уже подумала об этом, так как никогда не видела вас раньше. Мне казалось, что знаю всех, кто живет здесь, хотя бы в лицо.

Женщина не ответила. Каталина более внимательно всмотрелась в нее. Будь ее кожа чуть темнее, она могла бы сойти за мавританку. А может, она — новая христианка, из тех евреек, что предпочли крещение изгнанию из страны. Однако все знали, что они тайком продолжали отправлять еврейские ритуалы, мыли руки перед трапезой и после нее, постились на йом кипур и ели мясо по пятницам. Инквизиция не теряла бдительности; и считалось небезопасным поддерживать какие-либо отношения с крещеными маврами или новыми христианами. Кто знает, что они скажут под пыткой, попав в руки Святой палаты. Каталина стала лихорадочно вспоминать, не сказала ли она чего-нибудь крамольного, так как в Испании тех времен одно неосторожно брошенное слово являлось достаточной причиной для ареста, за которым следовали недели, месяцы, а то и годы тюрьмы и пыток, прежде чем немногим счастливчикам удавалось доказать свою невиновность. И Каталина решила, что лучше как можно быстрее расстаться с этой страшной незнакомкой.

— Мне пора идти домой, сеньора,— сказала она и тут же с присущей ей вежливостью до-

бавила: — Прошу меня простить за то, что я вас покидаю.

Каталина взглянула на костыль, лежащий у подножия лестницы, и заколебалась, не решаясь попросить незнакомку принести его. Но та будто и не слышала слов девушки.

— Хотела бы ты опять пользоваться обеими ногами, дитя мое, и снова ходить и бегать, как будто с тобой никогда ничего не случалось?

Каталина побледнела. Этот вопрос открыл ей истину. Незнакомка — не новая христианка, а мавританка: мавры, хоть и крещеные, поддерживали связь с дьяволом и с помощью черной магии творили разные чудеса. Не так давно в городе разразилась эпидемия чумы, и арестованные мавры признались на дыбе, что это дело их рук. Их сожгли на костре. Каталина онемела от страха.

— Ну, дитя?

— Я бы отдала все, что у меня есть, а у меня ничего нет, чтобы выздороветь, но даже ради возвращения любви моего Диего я не поступлюсь моей бессмертной душой, так как это оскорбило бы нашу святую церковь.— И, не отрывая взгляда от незнакомки, Каталина перекрестилась.

— Тогда я скажу тебе, как ты можешь излечиться. Сын Хуана Суареса де Валеро, который лучше всех служил богу, поможет тебе. Он возложит на тебя руки во имя отца, сына и святого духа, прикажет тебе бросить костыль и идти. Ты бросишь костыль и пойдешь.

Каталина ждала совсем другого. Слова незнакомки удивили ее, но женщина говорила с такой спокойной убежденностью, что девушка сразу ей поверила. Обретя надежду, девушка не отры-

вала взгляда от незнакомки. Она собиралась с духом, прежде чем задать распиравшие ее вопросы. А потом глаза Каталины расширились от изумления, а рот слегка приоткрылся, так как незнакомка исчезла. Она не могла уйти в церковь, потому что Каталина не спускала с нее глаз, она даже не пошевелилась, а просто растаяла в прозрачном воздухе. Каталина громко вскрикнула, и слезы, но уже слезы радости, вновь покатились по ее щекам.

— Это была пресвятая дева,— прошептала она.— Я говорила с ней, как могла бы говорить с матерью. Святая Мария, а я приняла ее за мавританку или даже новую христианку!

Ее охватило желание рассказать кому-нибудь об этой чудесной встрече. Каталина сползла со ступенек, взяла костыль, поднялась и захромала к дому. Лишь у двери она вспомнила, что там никого нет. Войдя, Каталина вдруг почувствовала, что очень голодна. Она съела ломоть хлеба, несколько оливок и запила их стаканом вина. Потом ей захотелось спать. Она присела на кровать с твердой решимостью дождаться матери и дяди Доминго. Ей так хотелось рассказать им обо всем. Но ее глаза стали слипаться, и скоро Каталина спала крепким сном.

2

Если бы не несчастный случай, Каталина стала бы писаной красавицей. Шестнадцати лет, высокая для своего возраста, стройная, с миниатюрными руками и ногами, длинными, чуть ли не до колен, черными вьющимися волосами, с румянцем на смуглых щечках и алыми губками, из-под ко-

торых при улыбке показывались ровные белоснежные зубы, она, проходя по улицам, неизменно вызывала восхищенные взгляды мужчин. Полностью ее звали Мария де лос Долорес Каталина Орта и Перес. Ее отец, Педро Орта, вскоре после рождения дочери уплыл в Америку, рассчитывая быстро сколотить состояние, и с тех пор о нем больше не слышали. Его жена, Мария Перес, так и не знала, жив он или умер, но все еще надеялась, что Педро вернется с сундуком, набитым золотом, и обогатит их всех. Набожная женщина, она каждое утро молилась о его благополучии и сердилась, когда Доминго, ее брат, говорил, что Педро, если не умер, то завел себе индианку, а то двух или трех, и не собирается возвращаться к жене, потерявшей молодость и красоту.

Дядя Доминго доставил немало огорчений своей набожной сестре, но Мария любила брата отчасти из христианского долга, а главным образом потому, что, несмотря на многочисленные недостатки Доминго, редко кто мог устоять перед его обаянием. Она не забывала брата в молитвах и льстила себя надеждой, что лишь благодаря их действенности, а вовсе не с возрастом, Доминго наконец-то остепенится. Их отец хотел, чтобы Доминго стал священником, и отправил его в семинарию Алькала де Энарес, где тот принял низший духовный сан и ему выбрили тонзуру. В одно время с Доминго в семинарии обучался и Бласко Суарес де Валеро, теперешний епископ Сеговии, которого в тот день торжественно встречали жители города. Мария Перес частенько тяжело вздыхала, думая о том, как разошлись пути двух семинаристов. Доминго был плохим учени-

ком. С первых дней учебы у него начались неприятности, вызванные его упрямством, непокорностью и распущенностью, и ни увещевания, ни епитимьи, ни даже бичевание не могли его смирить. К тому же он любил выпить и, как следует набравшись, пел похабные песни, оскорблявшие слух его соучеников и учителей, обязанности которых состояли в том, чтобы привить молодым умам скромность и приличие. Ему не было и двадцати, когда он взял в наложницы рабыню-мавританку с ребенком, а лишь об этом стало известно, присоединился к труппе бродячих актеров. Два года он кочевал с ними из города в город, а потом неожиданно появился в отцовском доме.

Доминго громогласно раскаялся в своих грехах и обещал исправиться. Вероятно, провидение не уготовило Доминго карьеры священнослужителя, и он сказал отцу, что поступит в университет и будет изучать право, если тот даст ему достаточно денег, чтобы не умереть с голоду. Отец очень хотел поверить, что его единственный сын образумился, и назначил ему ежемесячное пособие. Доминго уехал в Саламанку и провел там восемь лет, не слишком утруждая себя занятиями. Отец присылал сущие гроши, и Доминго пришлось жить в пансионе с другими студентами. По вечерам в тавернах он развлекал собутыльников страшными историями и никогда не оставался голодным. Бедность не мешала Доминго наслаждаться жизнью. Бойкий на язык, обходительный, умеющий спеть веселую песню, он был желанным гостем в любой компании. Два года, проведенные в бродячем театре, не сделали из него хорошего актера, но научили многому, в том числе выигрывать в карты и кости. Когда в

университете появлялся новый студент, не испытывающий недостатка в средствах, Доминго не составляло труда быстро войти к нему в доверие. Он становился гидом и наставником новичка, водил его по всем злачным местам Саламанки, и редко случалось, чтобы новичок не стал гораздо беднее, приобретя такой жизненный опыт. Зрелые состоятельные вдовушки не оставляли без внимания красивую внешность Доминго, и он не считал зазорным удовлетворять за их счет свои насущные нужды в обмен на оказываемые им услуги.

Еще будучи актером, Доминго испытывал потребность попробовать свои силы на драматургическом поприще. Он написал несколько комедий и с легкостью мог сложить хвалебный сонет или едкую эпиграмму. Последнее и послужило причиной свалившейся на него беды. Ректор университета выпустил декрет, ущемляющий права студентов, и через пару дней на столе в таверне нашли листок с непристойными, высмеивающими его куплетами. В мгновение ока десятки копий разошлись по всему университету. Прошел слух, что стихи написал Доминго Перес. Тот отрицал свою причастность, но с таким самодовольством, что оно выглядело убедительнее признания. Добрые друзья принесли стихи ректору и сказали, кто их написал. Оригинал к тому времени исчез, и Доминго не могли уличить по почерку, но ректор навел справки и пришел к выводу, что именно этот беспутный студент оскорбил его. Не имея прямых доказательств вины Доминго, ректор избрал хитрый путь, чтобы отомстить обидчику. Не составило труда узнать подробности скандала в семинарии Алькалы, да и в университете Доминго не слыл праведником. Нашлись свиде-

тели, готовые подтвердить под присягой, что тот богохульствовал в их присутствии. Не украшало его и увлечение азартными играми, претившими добропорядочному католику. Полученные сведения ректор передал в руки инквизиции. Святая палата ничего не делала второпях. Сбор информации держался в строгом секрете, и обычно жертва ничего не подозревала до самого последнего момента.

И вот поздно ночью, когда Доминго уже спал, в дверь постучали, и альгвасил арестовал юношу. Когда он оделся, его препроводили не в тюрьму — он имел низший духовный сан, инквизиция же избегала скандалов, бросающих тень на святую церковь, а в монастырский карцер. Там, взаперти, без разрешения кого-либо видеть и что-либо читать, даже без свечи, которая разогнала бы темноту, он оставался несколько недель, а потом предстал перед трибуналом. Ему пришлось бы плохо, если б не одно счастливое обстоятельство. Незадолго до этого, ректор, тщеславный и вспыльчивый человек, крепко поссорился с инквизиторами из-за вопроса о главенстве. Те прочли куплеты Доминго и нашли, что они во многом соответствуют действительности. Конечно, его преступления требовали возмездия, но Святая палата, решили инквизиторы, могла не только карать, но и миловать раскаявшегося грешника. Тем более что в случае с Доминго освобождение последнего явилось бы публичным оскорблением зарвавшегося ректора. Доминго признал свою вину и полностью раскаялся в содеянном. Его приговорили прослушать мессу и выслали из Саламанки. Столь близкое знакомство с инквизицией напугало Доминго, и он вообще уехал из Испании.

Он воевал наемником в Италии и несколько лет провел там, погрязнув в азартных играх, в пороке и пьянстве, сквернословя, когда ему не везло в картах или костях. Ему было уже сорок, когда он вернулся в родной город, как всегда, без гроша в кармане, с двумя или тремя шрамами, полученными в пьяных драках, и с ворохом воспоминаний.

Отец и мать Доминго умерли, и остались лишь сестра, покинутая мужем, и племянница Каталина, красивая девочка девяти лет. Муж Марии прокутил ее приданое и не оставил ничего, кроме маленького домика, где она жила с дочерью. Мария содержала себя и дочь трудной работой, искусно вышивая золотом и серебром бархатные мантии с образами Иисуса Христа, девы Марии и разных святых, а также ризы, покрова и епитрахильи, используемые в церковных церемониях. Доминго достиг того возраста, когда бродячая жизнь, которую он вел двадцать лет, теряет свои прелести, и с радостью согласился на предложение сестры остаться у нее в доме. С тех пор прошло семь лет. Он не стал обузой для трудолюбивой Марии, так как неплохо зарабатывал тем, что писал письма для неграмотных, проповеди для священников, которые ленились или не могли сочинить их сами, и прошения для обращающихся в суд. Поднаторел он и в составлении генеалогического древа для тех, кто хотел письменного доказательства чистоты крови, то есть свидетельства, что по крайней мере в течение ста лет среди его предков не было ни мавров, ни евреев. Таким образом, маленькая семья могла бы ни в чем не нуждаться, если б Доминго перестал пить и играть в карты и кости. К тому

же он много тратил на книги, покупая, в основном, томики стихов и пьесы, и снова начал сочинять сам. Его комедии нигде не ставились, но он довольствовался тем, что читал их собутыльникам в любимой таверне. Вернувшись к респектабельной жизни, Доминго вновь выбрил себе тонзуру, оберегавшую в те времена от многих бед, и носил скромные одежды, подобающие его сану.

Он очень привязался к Каталине и с радостью наблюдал, как веселый, жизнерадостный ребенок превращается в красивую девушку. Доминго взял на себя ее образование и научил Каталину читать и писать. Доминго познакомил ее с догматами веры и, испытывая отцовскую гордость, присутствовал на первом причастии Каталины. Но главным в обучении было чтение стихов, а со временем — пьес драматургов, о которых говорила вся Испания. Больше других он восхищался Лопе де Вега, называя его гением всех времен, и до того, как из-за несчастного случая Каталина стала калекой, они частенько разыгрывали сцены из наиболее полюбившихся им пьес. Девушка обладала хорошей памятью и легко запоминала длинные отрывки. Доминго не забыл основ актерского искусства и учил ее двигаться и произносить текст, где сделать паузу, а где разразиться рыданиями. Доминго к тому времени превратился в иссохшего старичка с седыми волосами и морщинистым лицом, но, как и в молодости, гремел его голос и огнем горели глаза. И когда они с Каталиной исполняли перед Марией какую-нибудь сцену, место поседевшего, морщинистого, потрепанного жизнью пьянчужки занимал галантный кавалер, принц крови, пылкий любовник. Но Каталина стала калекой, и игра в театр закончи-

лась. Несколько недель она провела в постели, пока местные хирурги пытались в меру своих скромных возможностей вдохнуть жизнь в парализованную ногу. Наконец, они признались, что ничем не могут помочь. Таково, мол, желание бога. Диего, ее возлюбленный, уже не приходил по вечерам, чтобы полюбезничать с ней через железную решетку, и скоро Мария принесла весть, что он собирается жениться на дочери Педро Альвареса. Доминго, чтобы отвлечь Каталину, продолжал читать ей пьесы, но теперь любовные сцены вызывали у девушки столь безутешные рыдания, что ему пришлось отказаться от этой затеи.

3

Каталина проспала несколько часов и проснулась, услышав, что мать суетится на кухне. Девушка схватила костыль и заковыляла к ней.

— Где дядя Доминго? — спросила она, так как хотела, чтобы и он услышал ее рассказ.

— В таверне, где же еще, — ответила Мария. — Но я не сомневаюсь, что он вернется к ужину.

Обычно Мария готовила горячее один раз в день, на обед, но сегодня они ушли из дому рано утром, взяв с собой лишь краюху хлеба с горчицей, и она знала, что Доминго придет голодный. Поэтому она разожгла очаг, чтобы сварить суп. Каталина не могла больше ждать.

— Мама, мне явилась святая дева.

— Да, милая, — рассеянно ответила Мария. — Будь добра, почисти мне морковь и нарежь ее. — Она начала готовить суп.

— Но, мама, послушай меня. Мне явилась святая дева. Она говорила со мной.

— Не болтай ерунды, дитя. Когда я пришла, ты крепко спала, и я не стала тебя будить. Хороший сон — к счастью. Но, раз уж ты проснулась, помоги мне готовить ужин.

— Это был не сон. Я говорила с ней до того, как легла спать.

И Каталина рассказала о том, что с ней произошло.

Красивая в молодости, с годами Мария Перес, как и большинство испанских женщин, очень располнела. Жизнь не баловала ее, двое детей, родившихся до Каталины, умерли в раннем возрасте, муж убежал в Америку, но она смиренно приняла случившееся как испытания ее веры. Будучи не только набожной, но и практичной, она предпочитала не плакать над убежавшим молоком, но находила утешение в работе, молитвах и заботе о дочери и непутевом брате. Рассказ Каталины испугал ее. Девушка приводила столь точные детали, что казалось, это невероятное событие действительно произошло. Мария никак не находила приемлемого объяснения. Правда, от долгой болезни и потери возлюбленного у Каталины могло помутиться в голове. Она молилась в церкви, а затем сидела на жарком солнце. И все привиделось ей с такой ясностью, что она уверовала в реальность встречи со святой девой.

— Сын дона Хуана де Валеро, который лучше всех служил богу,— епископ Сеговии,— закончила Каталина.

— Это точно,— кивнула Мария.— Он святой.

— Дядя Доминго хорошо знал его в молодости. Он может отвести меня к нему.

— Успокойся, дитя, дай мне подумать.

Церковь не жаловала людей, объявлявших во всеуслышание, что они общались с Иисусом Христом или его матерью, пресвятой девой. Не так давно монах-францисканец наделал столько шума, излечивая больных с помощью сверхъестественных сил, что им заинтересовалась Святая палата. Монаха арестовали, и больше о нем не слышали. А в монастыре кармелиток, где подрабатывала Мария, одна из монашек заявила, что Илия, основатель ордена, явился ей в келье и проявил к ней исключительную благосклонность. Настоятельница взяла хлыст и била монахиню до тех пор, пока та не призналась, что выдумала историю, чтобы занять более важное положение в ордене. И, если церковь с такой подозрительностью относилась к словам монахов и монахинь, можно представить, как она отреагирует на историю Каталины. Мария испугалась.

— Никому ничего не рассказывай,— предупредила она дочь,— даже дяде Доминго. Я поговорю с ним после ужина, и мы решим, что нам делать. А теперь, ради бога, почисти морковь, а то мы не успеем приготовить суп.

Каталину не слишком устроило такое решение, но она не посмела перечить матери.

Наконец появился Доминго, слегка выпивший и в прекрасном расположении духа. Он любил послушать себя и за ужином красноречиво описал Каталине все подробности торжественной встречи, тем самым предоставив удобную возможность объяснить читателю, почему город был охвачен такой суетой и волнениями.

4

Предки дона Хуана Суареса де Валеро, в отличие от значительной части испанской аристократии, не породнились с богатыми и влиятельными еврейскими семьями в те времена, когда Фердинанд и Изабелла еще не объединили Кастилию и Арагон. Но чистота крови была единственным богатством дона Хуана. Ему принадлежали несколько акров тощей земли в миле от города, около деревушки Валеро, название которой, чтобы отличать себя от других Суаресов, его прапрапрадед сделал второй частью фамилии. Дон Хуан был очень беден, и женитьба на дочери дворянина из Кастель Родригеса ненамного улучшила его благосостояние. Донья Виоланта десять лет подряд рожала детей своему господину, но только трое сыновей дожили до совершеннолетия. Их звали Бласко, Мануэль и Мартин.

Бласко, самый старший, с детских лет выказывал необычайный ум и исключительную набожность, что и определило его судьбу. Бласко послали в семинарию Алькала де Энарес, а затем в университет. Он стал бакалавром гуманитарных наук и доктором теологии в столь раннем возрасте, что все прочили ему блестящее будущее на научном поприще. Тем неожиданней оказалось его желание присоединиться к ордену доминиканцев, чтобы, уйдя из мира, посвятить себя молитвам и размышлениям о смысле бытия. Друзья пытались отговорить Бласко, указывая на суровость орденского устава, с ночными службами, полным воздержанием от мясного, частыми бичеваниями,

длительными постами, но не смогли сломить его решимость, и он стал монахом. Однако его многочисленные достоинства не могли остаться незамеченными, и когда выяснилось, что, кроме красивой внешности и большой учености, он обладает мощным и мелодичным голосом и даром яростного красноречия, ему предложили стать проповедником. Ибо еще святому Доминику, основателю ордена, папа римский Гонорий III повелел проповедью обращать еретиков в истинную веру, и с тех пор доминиканцы славились как миссионеры и проповедники. Однажды Бласко послали в его родной университет Алькала де Энарес. К тому времени он уже пользовался достаточной известностью, и послушать его пришел весь город. Со всей убедительностью он доказывал многочисленной пастве важность сохранения чистоты веры и необходимость полного истребления еретиков. Громоподобным голосом требовал он от мирян, если они помнят о бессмертии души и страшатся суровости Святой палаты, доносить о том, что может привести к греху или преступной ереси. Каждому из присутствующих он вменял в долг показывать на ближнего своего, сыну — на отца, жене — на мужа, и никакие родственные или иные связи не могли освободить истинного католика от борьбы со злом, представляющим собой опасность для государства и оскорбляющим церковь. После проповеди в местное отделение Святой палаты посыпались многочисленные доносы, в результате которых трех новых христиан, сознавшихся в том, что они срезали жир с мяса и меняли постельное белье по субботам, сожгли на площади, несколько десятков раскаявшихся приговорили к длительным срокам заключения с конфискацией

имущества в пользу церкви, а многих других изгнали из города или оштрафовали на крупные суммы.

Неистовость фра Бласко де Валеро произвела столь глубокое впечатление на ректора университета, что в скором времени его избрали профессором теологии. Бласко отказывался, говоря, что недостоин столь высокого поста, но руководство ордена приказало ему согласиться, и он подчинился. Новые обязанности он выполнял с обычной для себя добросовестностью, и, хотя для лекций ему предоставили самую большую аудиторию, места для всех желающих послушать его все равно не хватало. Репутация Бласко де Валеро росла с каждым днем, и в тридцать семь лет его назначили инквизитором Святой палаты в Валенсии.

Этот пост он принял без колебаний. В процветающий морской порт регулярно заходили суда из Англии, Франции, Нидерландов. Среди их команд было немало протестантов, частенько пытавшихся тайком провезти в Испанию запрещенные книги, такие, как Библия на испанском языке или еретические сочинения Эразма Роттердамского. Кроме того, в Валенсии и ее окрестностях жило много морисков, крещеных арабов. В силу обстоятельств они приняли христианство, но все знали, что мориски лишь прикрывались истинной верой, а на самом деле жили по законам Аллаха. Они не ели свинину, ходили дома в запрещенных одеждах и отказывались употреблять в пищу мясо животных, умерших естественной смертью. Инквизиции, поддерживаемой королевской властью, уже удалось раздавить иудаизм, и, хотя на новых христиан еще подозри-

тельно косились, Святая палата все реже и реже находила повод для привлечения их к суду. С морисками дело обстояло иначе. В отличие от испанцев, слишком ленивых, привыкших сорить деньгами и чересчур гордых, чтобы заниматься повседневными делами, мориски отличались трудолюбием, сосредоточили в своих руках не только сельское хозяйство, но и торговлю, и становились все богаче и богаче. К тому же, их женщины рожали много детей. И государственные мужи стали высказывать опасения, как бы все богатства страны не оказались в руках морисков, а их число не превзошло бы местное население. А потом они захватили бы власть, превратив испанцев в безропотных слуг. Недопустимость такого исхода требовала принятия решительных мер. В частности, предлагалось передать морисков в руки Святой палаты за их всем известные еретические воззрения и сжечь на кострах наиболее закоренелых язычников, чтобы остальные и не помышляли о господстве над Испанией. Рассматривалась также возможность высылки морисков из страны. Однако государство не хотело увеличивать мощь арабов по ту сторону Гибралтарского пролива, переправив к ним сотни тысяч трудолюбивых людей, и склонялось к тому, чтобы вывезти морисков в открытое море и затопить корабли.

Эта проблема волновала и фра Бласко де Валеро. В одной из наиболее известных лекций, прочитанных в университете Алькала де Энарес, он предложил отправить морисков на Ньюфаундленд, предварительно кастрировав всех мужчин, чтобы они умерли там естественной смертью. Возможно, благодаря этой лекции он и получил

пост инквизитора в таком важном для Испании городе, как Валенсия.

Фра Бласко де Валеро приступил к исполнению своих обязанностей с уверенностью, подкрепленной горячей молитвой, ибо перед ним открывалась возможность совершить великий подвиг во славу всевышнего и Святой палаты, понимая, что ему придется столкнуться с серьезными трудностями. Мориски являлись вассалами местной знати, платя дань деньгами и людьми, и их защита отвечала интересам дворянства. Но фра не тушевался перед титулами и твердо решил, что никому не позволит вмешиваться в его дела. И вот, спустя несколько месяцев пребывания в Валенсии, ему доложили, что влиятельнейший дон Эрнандо де Бельмонте, герцог Терранова, воспрепятствовал аресту его богатых вассалов, которые, вопреки закону, носили арабские одежды и купались в ваннах. Он арестовал герцога, оштрафовал его на две тысячи дукатов и приговорил к пожизненной ссылке в далекий монастырь. Этот удар обезоружил самых решительных противников инквизитора. Однако, когда стало ясно, что Бласко де Валеро взялся за полное уничтожение еретиков, запротестовали даже городские власти. Они заявили, что благосостояние провинции зиждется на труде морисков и, если он будет следовать прежним курсом, все придет в упадок. Но инквизитор выбранил их, пригрозил отлучением от церкви и заставил смириться и принести извинения. Кострами и конфискациями имущества он в кратчайшие сроки раздавил морисков и втоптал их в грязь. Его шпионы проникали повсюду, и плохо приходилось тому испанцу, мирянину или духовному лицу, на кого падала тень подозре-

ния. А в проповедях он продолжал напоминать жителям Валенсии об их обязанностях сообщать о всяком, кто в шутку или со злости, по незнанию или от беззаботности оскорбил алтарь или престол. И страх, как осенний туман, поглотил город.

Но инквизитор ни на секунду не забывал о справедливости, и назначенное наказание всегда соответствовало тяжести совершенного преступления. Например, как теолог он утверждал, что прелюбодеяние между неженатыми — смертный грех. Как инквизитора его интересовали лишь те, кто отказывался признать подобную связь смертным грехом. За это он назначал виновным по сотне ударов плетью. С другой стороны, за утверждение, также еретическое, что в глазах бога создание семьи ничуть не хуже обета безбрачия, он наказывал лишь штрафом. И как не упомянуть о милосердии инквизитора. Не смерти еретика желал он, но спасения его бессмертной души. В одном случае арестованный англичанин, капитан торгового судна, сознался в том, что принадлежит к реформистской вере. Корабль и груз конфисковали, а его самого пытали до тех пор, пока он не согласился вернуться в лоно святой церкви. Инквизитор, узнав об этом, так обрадовался, что не мог дать англичанину больше десяти лет каторги с последующим пожизненным тюремным заключением. И список его благодеяний можно было продолжить. Когда кающийся грешник умер, получив двести плетей, инквизитор повелел, чтобы за один раз не назначали больше ста ударов. Если пытке подлежала беременная женщина, он откладывал допрос до рождения ребенка. А как он следил за тем, чтобы в результате пытки обвиняемый не становился

калекой! Если несчастный случай все-таки происходил, никто не скорбел об этом больше, чем сам инквизитор.

За десять лет фра Бласко провел тридцать семь autos de fe, в которых понесли наказание более шестисот человек, в том числе семьдесят сожгли. Последнее из них проводилось в честь принца Филиппа, сына короля. Идеальный порядок церемонии доставил инфанту такое наслаждение, что он подарил фра Бласко двести дукатов и послал письмо, в котором благодарил за великолепное зрелище и призывал продолжать служить богу во славу Святой палаты и для укрепления государства. Усердие и благочестие инквизитора, очевидно, произвели глубокое впечатление на принца, и после смерти Филиппа Второго он, взойдя на трон, сразу назначил Бласко де Валеро епископом Сеговии.

Тот принял королевскую милость, лишь проведя всю ночь на коленях перед спасителем, и покинул Валенсию, сопровождаемый горестным плачем больших и малых. Его набожность, аскетизм и безупречная честность вызвали всеобщее уважение. Свое довольно значительное жалование инквизитора он без остатка раздавал бедным. Конфискация имущества осужденных еретиков и штрафы, налагаемые на раскаявшихся грешников, приносили большие суммы в казну Святой палаты. Из этих денег оплачивались текущие расходы, но частенько инквизиторы кое-что присваивали себе. Даже святой Торквемеда накопил огромное состояние, которое потратил на строительство монастыря святого Фомы Аквинского в Авиле и расширение монастыря Святого Креста в Сеговии. Но Бласко де Валеро не пошел по

этому пути и покинул Валенсию таким же бедным, каким приехал туда.

Он не носил ничего, кроме скромной одежды, предписываемой уставом ордена, не ел мяса и регулярно бичевал себя, иногда с такой силой, что брызги крови летели на стены. Его почитали святым, и, когда ему приходилось менять сутану, люди платили его слугам немалые деньги, чтобы получить клочок старой, изношенной до дыр, и носили его на груди как амулет против черной и ветряной оспы. Перед отъездом фра Бласко лучшие люди Валенсии пришли к нему с необычной просьбой. Они хотели получить согласие на похороны его тела, после того как создатель призовет его к себе, в городе, которому он отдал столько сил. Они не сомневались, что папа римский причислит фра Бласко к лику святых. Но епископ сурово прервал их и отказался продолжать разговор на эту тему.

Огромная толпа провожала Бласко де Валеро далеко за городские ворота, и мало у кого остались сухими глаза, когда маленькая фигурка инквизитора скрылась за поворотом дороги.

5

Теперь необходимо познакомиться более обстоятельно еще с одним сыном дона Хуана де Валеро. Второй сын, Мануэль, родившийся через три года после Бласко, уступал последнему и по уму, и по трудолюбию и ставил физическое развитие выше духовного. Он вырос в красивого крупного мужчину, с непомерным самомнением, решительного, смелого и честолюбивого. Был он отличным охотником и славился умением объез-

дить любую лошадь. С раннего возраста Мануэль не пропускал ни единой корриды, а в шестнадцать лет впервые выехал на арену и к восторгу зрителей одним ударом убил быка. Он избрал карьеру солдата, так как в Испании тех времен успеха можно было достичь, лишь связав судьбу с церковью или с армией. Несмотря на бедность, дон Хуан де Валеро пользовался большим уважением в Кастель Родригесе. Местный дворянин, приходящийся дальним родственником герцогу Альба, дал Мануэлю рекомендательное письмо, и тот отправился искать свое счастье. Он выбрал, пожалуй, не слишком удачный момент, ибо в этот период герцог, отлученный от двора, уединился в замке Уседа. Старик благосклонно принял юношу, обратившегося к нему за помощью, когда он сам был в опале. А вскоре король Филипп Второй простил герцога и повелел ему возглавить испанскую армию в войне с Португалией. Тот взял Мануэля с собой. Герцог победил дона Антонио, короля Португалии, и изгнал его из страны. Заняв Лиссабон, он отдал город на разграбление солдатам. Мануэль храбро сражался, а потом захватил богатую добычу. После португальской кампании старый герцог дал Мануэлю рекомендательные письма к полководцам, воевавшим некогда под его началом в Нидерландах, а теперь служившим под командованием Александра Фарнезе.

Двадцать лет Мануэль боролся с еретиками, чтобы вернуть испанскому королю северные провинции. Смелый и хитрый, отважный и беспринципный, благочестивый и жестокий, он быстро продвигался по службе, сначала при Александре Фарнезе, затем при сменивших его гене-

ралах. Мануэлю не потребовалось много времени, чтобы понять, что сильный всегда прав. И он беззастенчиво грабил захваченные города и брал взятки. За безупречную службу он получил орден Калатравы и гордо носил зеленую ленту. Еще через два года ему пожаловали титул графа Сан Костанцо в Неаполитанском королевстве с правом его передачи. У прижимистых испанских королей вошло в привычку награждать таким образом отличившихся. Те же могли продать титул незнатным, но богатым людям, жаждущим стать дворянами. В итоге, без лишних расходов казначейства, обеспечивалось финансовое благосостояние верных слуг короля. Но рыцарь Калатравы умело вкладывал свои деньги и оставил титул себе. Неоднократно его ранили, последний раз настолько серьезно, что он чудом выкарабкался из объятий смерти. После этого Мануэль больше не искушал судьбу, вышел в отставку и решил вернуться в родной город, чтобы жениться. Его состояние и заслуги позволяли рассчитывать на невесту из знатной семьи. А затем он собирался отправиться в Мадрид и выдвинуться при дворе. Находясь в расцвете сил, он не сомневался, что его честолюбивые замыслы в недалеком будущем станут реальностью. Сорокалетний, атлетически сложенный, со жгучими черными глазами, красивыми усами, властный и красноречивый, кто знал, до каких высот он мог подняться, используя предоставившиеся возможности и знакомства с нужными людьми.

6

О третьем сыне, Мартине, достаточно сказать совсем немного. В каждой семье есть своя белая ворона, и семья дона Хуана де Валеро не стала исключением из общего правила. Мартин, самый младший из трех братьев и вообще последний ребенок, рожденный доньей Виолантой, не обладал ни благочестием Бласко, ни честолюбием Мануэля. Он довольствовался тем, что обрабатывал тощую землю, принадлежащую дону Хуану, обеспечивая пропитанием себя самого и отца с матерью. В те времена, из-за постоянных войн и притягательности Америки для молодых и энергичных, в Испании не хватало рабочих рук. Число умелых и трудолюбивых морисков было невелико, да и тех вынуждали покидать страну. Мартин не оправдал возлагавшихся на него надежд, и дон Хуан продолжал злиться на младшего сына, хотя донья Виоланта спорила с ним, довольная тем, что в доме есть здоровый и сильный мужчина, не чурающийся никакой работы.

Но самый жестокий удар ждал дона Хуана впереди. В двадцать три года Мартин женился на девушке из низшего сословия. Да, она происходила из христианской семьи и имела документы, подтверждающие, что четыре предыдущих поколения не имели связей с маврами и евреями, но отец ее был пекарем. Консуэло, как единственная дочь, наследовала все его состояние, но это не меняло дела — она принадлежала к сословию лавочников. Шли годы, Консуэло рожала детей, и тут на дона Хуана свалилось новое несчастье. Пекарь умер, дон Хуан подавил вздох облегчения, потому что теперь можно было продать пе-

карню, и со временем все забыли бы о позоре, запятнавшем их род. Но сразу после похорон Мартин заявил, что переезжает в город и собирается продолжить дело тестя. Его родители не могли поверить своим ушам. Дон Хуан бушевал, донья Виоланта плакала. А сын резонно заметил, что они стали жить значительно лучше, получив приданое Консуэлы, но его уже растратили, у него четверо детей, а он хочет иметь еще четверых. Денег у них мало, того, что он выручит за пекарню, хватит лишь на несколько лет, и он не видит другого способа избежать нищеты и голода. Утверждение, что печь хлеб недостойно дворянина, он счел нелепым. Смог же он пахать землю и выжимать масло из оливок.

Семья Мартина поселилась над пекарней. Он вставал до зари, выпекал хлеб, а потом ехал на ферму и работал там до сумерек. Его дело процветало, так как хлеб Мартина нравился жителям, и через год-другой он смог нанять человека для работы в поле, но не проходило и дня, чтобы он не навещал родителей. Он редко приезжал к ним с пустыми руками, и скоро они могли есть мясо в дни, разрешенные церковью. С годами они не становились моложе, и дону Хуану пришлось признать, что подарки сына скрашивают их старость. В городе удивлялись, что сын Хуана де Валеро так унизил себя, и мальчишки на улицах часто насмешливо кричали ему вслед: «Panadero, Panadero», что означало — Пекарь, Пекарь, но Мартин добродушно улыбался и не считал, что чем-то запятнал свою честь. Был он щедр, и ни один бедняк, попросивший подаяния, не уходил от его пекарни без ломтя свежего хлеба. Он верил в бога, каждое воскресенье ходил

к мессе и исповедовался четыре раза в год. В тридцать четыре года Мартин слегка располнел, так как любил вкусно поесть и выпить хорошего вина, и на его круглом, как луна, лице всегда сияла улыбка.

— Мартин — хороший человек,— говорили о нем в городе.— Не слишком умный и образованный, но добрый и честный.

Он любил общение, понимал шутку, многие уважаемые жители заглядывали к нему поболтать о том о сем, и постепенно люди стали приходить в его пекарню, чтобы встретиться с друзьями и обменяться последними новостями.

Мартин полностью взял на себя заботу о родителях, так как ни фра Бласко, ни Мануэль за все годы, проведенные вне дома, не прислали ни гроша. У первого все уходило на благотворительность, а второй полагал, что никто не распорядится его деньгами лучше, чем он сам. Таким образом, в старости дон Хуан и донья Виоланта могли надеяться только на Мартина. Тем не менее они стыдились младшего сына и жалели, что он так бездарно потратил лучшие годы. Особенно их раздражало то обстоятельство, что Мартин совершенно не тяготился своей судьбой. Старики держали на почтительном расстоянии его плебейскую жену, хотя и баловали внуков. Но гордились они старшими сыновьями, принесшими почет и славу их древнему роду.

7

Нетрудно представить, с какой радостью дон Хуан и донья Виоланта ждали встречи с детьми, которых не видели столько лет. Фра Блас-

ко регулярно присылал им письма, но, так как дон Хуан и Мартин не слишком уверенно владели пером, они прибегали к помощи Доминго Переса. Ответы доставляли удовольствие не только дону Хуану и Мартину, но и самому Доминго, который гордился изяществом своего стиля. С другой стороны, Мануэль написал только один раз, когда для получения ордена Калатравы ему потребовалось представить доказательство чистоты рода. Дону Хуану вновь пришлось воспользоваться услугами Доминго, который составил превосходную генеалогию, затем заверенную в ратуше, согласно которой род де Валеро, без малейшей примеси еврейской крови, восходил к королю Кастилии Альфонсо Восьмому, женатому на Элеоноре, дочери короля английского Генриха Второго.

Приезд сыновей совпал с еще одной датой — золотой свадьбой дона Хуана и доньи Виоланты. Братья договорились встретиться в двадцати милях от города, чтобы вместе въехать в Кастель Родригес. Торжественная встреча, подготовленная жителями, стала тем бальзамом, что излечил сердечную рану дона Хуана, нанесенную ему бесчестием Мартина. Разумеется, он не мог принять сыновей и их свиту в своем полуразрушенном доме, поэтому епископу подготовили келью в доминиканском монастыре, а управляющий имением герцога Кастель Родригеса согласился отвести Мануэлю несколько комнат во дворце, поскольку хозяин в это время находился в Мадриде.

И вот настал великий день. Городская знать верхом на лошадях, городские власти и священнослужители на муллах выехали навстре-

чу братьям. Следом, в карете, ехали дон Хуан, донья Виоланта и Мартин с семьей. Наконец, на узкой пыльной дороге показались желанные гости. Фра Бласко, в простой рясе доминиканского монаха, ехал бок о бок с Мануэлем, гордо восседавшим на породистом жеребце, в золоченой сверкающей на солнце броне. Чуть сзади следовали два монаха-доминиканца, секретари епископа, его слуги и, в великолепных ливреях, слуги полководца. Выслушав приветственные речи, епископ справился об отце и матери. Они робко подошли к сыну. Донья Виоланта уже опускалась на колени, чтобы поцеловать руку епископа, но тот, к всеобщему восхищению, подхватил ее и, прижав к груди, расцеловал в обе щеки. Он поцеловал отца и, когда родители отошли к Мануэлю, спросил о Мартине.

— El panadero, — крикнул кто-то. — Пекарь.

Мартин с женой и детьми приблизился к старшим братьям. Бласко встретил его теплотой и сердечностью, Мануэль — довольно холодно. Консуэло и дети упали на колени и поцеловали руку епископа. Тот поздравил Мартина с таким многочисленным и здоровым потомством. В своих письмах дон Хуан и донья Виоланта писали о женитьбе Мартина и его детях, не решаясь, однако, упомянуть о том, что тот стал торговцем. Они понимали, что правда выплывет наружу, но всем сердцем желали, чтобы это произошло как можно позже. После довольно долгого спора, кому ехать справа, а кому слева от виновников торжества, кавалькада двинулась к городу. Как только епископ и капитан въехали в ворота, зазвонили колокола, трубачи поднесли трубы к губам, барабанщики ударили в барабаны. Улицы были заполнены толпами людей, и на всем

протяжении пути к кафедральному собору их сопровождали восторженные крики и аплодисменты.

За службой в соборе последовал банкет в ратуше, и радушные хозяева заметили, что, несмотря на праздник, епископ не ел мяса и не пил вина. Затем он выразил желание побыть в кругу семьи, и Мартин сходил за матерью, которая вместе с Консуэло и детьми ушла в дом пекаря. Когда они вернулись, Бласко беседовал с отцом, но едва они вошли в комнату, распахнулась дверь и появился Мануэль с почерневшим от ярости лицом.

— Брат,— обратился он к епископу,— тебе известно, что Мартин, сын дворянина, стал кондитером?

Дон Хуан и донья Виоланта побледнели.

— Не кондитером,— ответил Бласко,— а пекарем.

— Ты хочешь сказать, что знал об этом?

— Да. Хотя мои священные обязанности не позволяли заботиться о родителях, как мне того хотелось, я следил за ними издалека и постоянно поминал их в молитвах. А приор нашего ордена в этом городе информировал меня о их жизни.

— Но как ты позволил ему опозорить нашу семью?

— Наш брат Мартин добропорядочен и благочестив. Его уважают в городе, и он щедр к беднякам. Он обеспечил нашим родителям спокойную старость. В создавшейся ситуации он не мог поступить иначе.

— Я — солдат, брат, и ставлю честь превыше всего. Он перечеркнул все мои планы.

— Я в этом очень сомневаюсь.

— Откуда у тебя такая уверенность?— вспых-

нул Мануэль.— Ты даже не знаешь, что я хотел предпринять.

Тень улыбки на мгновение пробежала по лицу епископа.

— Тебе бы следовало знать, брат, что любые подробности наших личных дел становятся известны слугам. Мы провели вместе два дня. В общем, до меня дошли слухи, что ты приехал сюда не только из-за тоски по дому, но и для того, чтобы найти жену благородной крови. И будь уверен, несмотря на занятие нашего брата, титул, пожалованный тебе его величеством, и деньги, заработанные на королевской службе, позволят тебе без труда достичь поставленной цели.

Мартин, ничуть не смущаясь, выслушал эту перепалку и добродушно улыбнулся.

— Не забывай, Мануэль,— добавил он,— что Доминго Перес проследил наш род до короля Кастилии и короля Англии. Любая семья сочтет за честь отдать за тебя свою дочь. Доминго говорил мне, что один из английских королей любил печь торты. И нет ничего удивительного в том, что его потомок выпекает хлеб, тем более что, по общему мнению, это лучший хлеб в городе.

— Кто такой Доминго Перес? — надулся Мануэль.

На этот очень непростой вопрос Мартин нашел лучший ответ:

— Человек большой учености и поэт.

— Я его помню,— кивнул епископ.— Мы вместе учились в семинарии.

Мануэль нетерпеливо дернул головой и повернулся к отцу:

— Почему ты позволил ему обесчестить нас?

— Я сделал все, что в моих силах, чтобы отговорить его,— оправдывался дон Хуан.

Мануэль гневно взглянул на младшего брата:

— Как ты посмел ослушаться отца? Его слова должны быть для тебя законом. Назови мне хоть одну причину, только одну, почему ты, презрев приличия, унизил себя, став пекарем?

— Голод,— коротко ответил Мартин.

Мир, казалось, обрушился, словно кирпичная стена. Дон Мануэль чуть не задохнулся от ярости. На губах епископа задрожала слабая улыбка. Даже святым не чужды человеческие слабости, и за два дня, проведенных вместе, он пришел к заключению, что не любит своего брата. За это он винил только себя, но всего его христианского сострадания не хватило на то, чтобы перебороть ощущение того, что дон Мануэль высокомерный, жестокий и грубый человек.

Неловкое молчание прервал приход двух дворян, возвестивших о начале боя быков. Епископа и дона Мануэля усадили в ложе для почетных гостей. Муниципалитет не пожалел денег, чтобы купить лучших быков, и коррида удалась на славу. Потом епископ и монахи-секретари удалились в монастырь, Мануэль — во дворец герцога, а горожане еще долго не расходились по домам и, заполнив таверны, оживленно обсуждали подробности этого волнующего дня, но в конце концов Доминго Перес добрался до дома сестры.

8

После ужина Доминго, как обычно, поднялся к себе. Минут через десять Мария последовала за ним. Еще снизу она слышала громкий голос

брата, читающего вслух какую-то пьесу. Постучав и не получив ответа, она открыла дверь и вошла. Всюду, на полу, столе, незастеленной кровати, шкафу для одежды лежали книги. Доминго, в сорочке и штанах, продолжал декламировать, не обращая внимания на ее приход. Мария тяжело вздохнула, устав бороться с беспорядком в комнате брата.

— Доминго, я хочу поговорить с тобой.

— Не перебивай, женщина. Вслушайся в великолепные строки, написанные величайшим гением нашего времени.

Мария топнула ногой:

— Положи книгу, Доминго. У меня важное дело.

— Уходи! Что может быть важнее плодов божественного вдохновения, осенившего несравненного Лопе де Вега.

— Я не уйду, пока ты не выслушаешь меня.

Доминго раздраженно швырнул книгу на кровать.

— Говори, что тебе надо, да побыстрее, и уходи.

Мария сообщила ему рассказ Каталины о том, что к ней явилась пресвятая дева и обещала, что епископ, сын дона Хуана де Валеро, излечит ее.

— Это был сон, моя бедная Мария,— вздохнул Доминго, когда та закончила пересказывать историю Каталины.

— Именно это я ей и сказала. Но Каталина утверждает, что она не спала, и я не могу убедить ее в обратном.

Доминго обеспокоился:

— Давай спустимся вниз. Я хочу услышать все от нее самой.

Второй раз Каталина рассказала о чудесной встрече. У Доминго не осталось сомнений, что она верит в каждое сказанное ей слово.

— Почему ты так уверена, что не спала, дитя?

— Да кто спит по утрам? Я только вышла из церкви. Я плакала и пришла домой с мокрым носовым платком. Разве я могла вытирать глаза во сне? Я слышала колокольный звон, возвестивший о прибытии епископа и дона Мануэля, трубы и барабаны, восторженные крики встречающих.

— Сатана хитер и коварен. Даже мать Тереза де Иисус, монахиня, основавшая все эти монастыри, долго опасалась, что открывшиеся ей видения — дело рук дьявола.

— Разве мог дьявол принять образ милосердной и доброй пресвятой девы, когда она говорила со мной?

— Дьявол — хороший актер,— усмехнулся Доминго.— Когда Лопе де Руэда сердился на актеров, он говорил, что, согласись дьявол играть в его труппе, он бы без колебаний продал ему души остальных. Послушай, милая, нам известно, что некоторые благочестивые люди удостаиваются чести увидеть собственными глазами нашего божественного господина и его мать, пресвятую деву. Но они добиваются этого молитвами, постами и смирением, посвятив всю жизнь служению богу. Что сделала ты, чтобы получить то, чего другие достигают ценой многолетнего самопожертвования?

— Ничего,— ответила Каталина.— Но я бедна и несчастна. В молитвах я просила деву Марию помочь мне, и она пожалела меня.

Доминго помолчал. Решительность Каталины

пугала его. Она даже не представляла тех опасностей, что ждали ее на этом пути.

— Наша святая церковь не жалует тех, кто утверждает, что общался с небесами. Страна наводнена шарлатанами, наделенными, по их словам, сверхъестественными способностями. Некоторые бедолаги верят в то, что говорят. Многие же пытаются использовать эти видения, чтобы приобрести славу и деньги. Этими людьми занимается Святая палата, так что часто подобные утверждения могут вызвать волнения среди невежественных и привести к ереси. Одних сажают в тюрьму, других бьют кнутом, третьих сжигают на костре. Я умоляю тебя никому не говорить о том, что произошло.

— Но дядя, милый дядя, речь идет о моем счастье. Все знают, что во всем королевстве нет более святого человека, чем епископ. Даже клочки его рясы имеют чудодейственную силу. Как я могу молчать, когда сама пресвятая дева сказала, что он излечит меня от увечья, которое лишило меня любви моего Диего?

— Дело касается не только тебя,— продолжал Доминго.— Если Святая палата заинтересуется тобой, возможно, вспомнят и обо мне. У инквизиции долгая память. Если нас посадят в тюрьму, твоей матери придется продать дом, чтобы оплатить наше содержание там, а ей самой останется лишь просить милостыню на улицах. Подумай об этом. По крайней мере, обещай мне, что будешь молчать, пока мы хорошенько все не обсудим.

Озабоченность и страх, звучащие в его голосе, убедили Каталину.

— Хорошо, я согласна,— сказала она.

— Ну и отлично. А теперь давайте ложиться спать. Сегодня был тяжелый день.

Поцеловав ее, Доминго пошел к себе, но, поднявшись на пару ступенек, позвал сестру.

— Дай ей слабительное,— прошептал он, когда Мария подошла к нему.— Если у нее очистятся внутренности, она станет сговорчивее, и мы сможем убедить ее, что это был всего лишь печальный сон.

9

Но слабительное не оказало нужного действия, во всяком случае того, на которое рассчитывал Доминго. Каталина продолжала упорствовать в том, что видела святую деву и говорила с ней. Она так живо описывала эту встречу, что привела в замешательство Марию Перес. На следующий день, в пятницу, Мария пошла на исповедь. Отец Вергара много лет был ее исповедником, и она прониклась полным доверием к благочестивому доминиканцу. Получив отпущение грехов, она пересказала историю Каталины и многое из того, что говорил Доминго.

— Смирение и здравый смысл твоего брата поистине удивительны, потому что никто не мог ожидать от него ничего подобного. Такое дело требует осмотрительности. Тут нельзя спешить. Не должно быть никакого скандала, и ты обязана приказать дочери никому не говорить об этом. Я подумаю о том, что можно предпринять, а при необходимости переговорю с приором.

Отец Вергара исповедовал не только Марию, но и ее дочь и знал их обеих, как только исповедник может знать своих грешников. Он не сомне-

вался, что это простые, честные, бесхитростные, богобоязненные люди. Даже Доминго не мог повлиять на их искренность и прямоту. Каталина, понимал он, благоразумная девушка, с головой на плечах, и если она не смирилась с увечьем, то мужественно несла свой крест. Она была слишком чистосердечна, чтобы выдумать эту историю ради какой-то тайной выгоды. Отец Вергара был доминиканцем, и именно в монастыре этого ордена остановился епископ. Вергара не отличался большой ученостью и, так как история дочери Марии Перес не давала ему покоя, счел возможным рассказать обо всем приору. Выслушав отца Вергару, приор после недолгого раздумья решил, что необходимо поставить в известность и самого епископа. Он отправил послушника узнать, сможет ли епископ принять его и отца Вергару. Некоторое время спустя послушник вернулся и сказал, что епископ с радостью ждет их у себя.

В монастыре епископу отвели самую просторную келью. Она состояла из двух помещений, спальни и молельни, разделенных аркой. Когда они вошли, епископ диктовал письмо одному из секретарей. Приор коротко объяснил причину их прихода и попросил отца Вергару повторить свой рассказ. Тот первым делом упомянул о честности и набожности матери и дочери, рассказал о несчастном случае, в результате которого Каталина стала калекой, а ее возлюбленный ушел к другой, и закончил, повторив историю о том, как девушке явилась пресвятая дева и сказала, что епископ может излечить ее от увечья. И добавил, что Доминго Перес, дядя Каталины, взял с нее обещание никому ничего не говорить. С каждым словом

отца Вергары лицо епископа становилось все суровее.

— Я знаю этого Доминго,— сказал епископ, прервав наступившую тишину.— Он ведет дурную жизнь, и ни один человек, думающий о спасении своей души, не станет иметь с ним никаких дел. Но он далеко не дурак и правильно сделал, заставив молчать свою племянницу. Вы — исповедник девушки, не так ли? — Отец Вергара поклонился.— Я бы советовал не давать ей отпущения грехов, пока она не пообещает никому не рассказывать об этом странном событии.

Бедный монах стоял перед епископом в полном замешательстве. В глазах всех он уже давно был святым, и отец Вергара думал, что фра Бласко с радостью воспользуется случаем совершить чудо, тем самым прославив господа бога, и привести к покаянию многих грешников. И его удивил ледяной взгляд епископа. Казалось, лишь невероятным усилием воли он сдерживает распирающую его злость.

— А теперь я прошу позволить мне закончить письмо,— епископ повернулся к секретарю.— Прочти последнее предложение, продиктованное мной.

Монахи на цыпочках вышли из кельи.

— Почему он так рассердился? — спросил отец Вергара.

— Не стоило говорить ему об этом,— покачал головой приор.— Это моя вина. Мы оскорбили его скромность. Он не осознает своей святости и не считает себя достойным творить чудеса.

Отцу Вергаре такое объяснение показалось очень разумным, и, так как оно еще больше возвеличивало епископа, он рассказал обо всем

братьям-монахам. Скоро весь монастырь возбужденно гудел. Одни хвалили смирение епископа, другие сожалели, так как совершенное им чудо еще больше прославило бы орден.

А в скором времени о видении Каталины узнали в другой части города. Церковь, где молилась девушка, и откуда, как ей показалось, вышла святая дева, примыкала к монастырю кармелиток. Монастырь был очень богат, и аббатиса уже много лет давала Марии заказы на вышивание, не только из милосердия, но и потому, что та была искусной мастерицей. За это время Мария успела подружиться со многими монахинями. Мягкий устав ордена предоставлял монахиням большую свободу, и они нередко заходили в дом Марии, чтобы перекусить или поболтать. Через два или три дня после исповеди она пришла в монастырь по какому-то делу и по секрету рассказала о видении Каталины самой близкой подруге. Но, как известно, монахини любят посплетничать, и такая новость не могла остаться тайной. Не прошло и двадцати четырех часов, как весть о чудесной встрече Каталины достигла слуха аббатисы. Так как этой даме предстоит играть важную роль в нашем повествовании, необходимо, даже рискуя наскучить читателю, рассказать ее историю.

10

Беатрис Хенрикес и Браганса, в монашестве Беатрис де Сан Доминго, была единственной дочерью герцога Кастель Родригеса, богатого и влиятельного испанского гранда и рыцаря ордена Золотого Руна. Доверенное лицо Филиппа Второго, он занимал ответственные посты в Испании и Ита-

лии. Дела заставляли его много путешествовать, но, владея обширными поместьями в обеих странах, герцог больше всего любил побыть в кругу семьи и подышать целебным воздухом родного города. Отсюда пошел его род и стал знаменитым, когда один из предков разбил отряд мавров, осаждавший город. За несколько столетий Кастель Родригесы породнились практически со всеми знатнейшими семьями королевства. Когда Беатрис, единственной девочке из четырех детей герцога, исполнилось тринадцать лет, он начал искать подходящего жениха и остановил свой выбор на сыне герцога Антекера, прямого потомка Фердинанда Арагонского. Герцог собирался дать дочери роскошное приданое, и родители молодых людей быстро поладили. Их обручили, но, так как юноше еще не было шестнадцати, свадьбу решили отложить, пока он не подрастет. Беатрис позволили повидаться с женихом в присутствии родителей с обеих сторон, многочисленных дядюшек, тетушек и прочих более дальних родственников. Он оказался приземистым мальчиком, не выше ее самой, с копной жестких черных волос, носом-пуговкой и надутыми губами. Беатрис с первого взгляда невзлюбила его, но знала, что протестовать бесполезно, и утешилась тем, что скорчила ему гримасу. Жених в ответ показал ей язык.

После помолвки герцог послал дочь в кармелитский монастырь в Авиле, где его сестра была аббатисой. Беатрис наслаждалась жизнью. Там жили и другие девушки, дочери дворян, также помолвленные и ждущие, пока подрастут их женихи, и благородные дамы, которым по тем или иным причинам пришлось удалиться в мона-

стырь, но не принявшие обеты монахинь. Мягкий устав ордена кармелиток позволял и самим монахиням, не забывая, естественно, о своих обязанностях, навещать светских друзей и оставаться у них на несколько дней, а то и недель. В монастырской приемной всегда толпились посетители, мужчины и женщины, царило веселье, обсуждались проблемы страны и последние городские сплетни. Спокойная мирная жизнь, с невинными развлечениями, открывала монахиням-кармелиткам не слишком тернистый путь к вечному счастью.

В шестнадцать лет Беатрис покинула монастырь и вместе с матерью поехала в Кастель Родригес. Здоровье герцогини ухудшилось, и врачи посоветовали ей уехать из Мадрида. Герцог, занятый государственными делами, остался в столице. Приближался день свадьбы, и ее родители полагали, что девушке пора готовиться к замужеству. Герцогиня несколько месяцев посвящала дочь в различные аспекты светской жизни, о которых трудно узнать в кармелитском монастыре. Беатрис выросла в высокую красавицу, с гладкой, без единой оспинки, кожей, классическими чертами лица и изящной стройной фигурой. Испанцы, впрочем, отдавали предпочтение более пышным формам, и некоторые из дам, посещая герцогиню, сокрушались по поводу худобы Беатрис, но гордая мать обещала, что супружество быстро исправит этот недостаток.

Беатрис, веселая и жизнерадостная, уже тогда отличалась озорством и своеволием. Избалованная и привыкшая делать то, что ей хочется, она с ранних лет проявляла властность характера, ибо полагала, что весь мир должен плясать под

дудку такой благородной дамы, как она. Ее духовник, не в малой степени обеспокоенный этим обстоятельством, обратился к матери Беатрис, но герцогиня довольно холодно отнеслась к его предупреждению.

— Моя дочь рождена править, святой отец,— ответила она,— и нельзя ожидать от нее покорности прачки. Если она горда, ее муж, будь у него характер, несомненно, укротит ее. Если же нет, она сама разбудит в нем честолюбие, и он сможет занять в обществе положение, подобающее ее происхождению.

В монастыре Беатрис увлеклась рыцарскими романами, которые так нравились жившим там благородным дамам. Вернувшись в Кастель Родригес, она нашла в библиотеке несколько подобных книг и, воспользовавшись частыми недомоганиями матери и благодушием дуэньи, с жадностью вчитывалась в эти романтические истории. Романы разожгли ее юное воображение, и теперь Беатрис с отвращением думала о неизбежной свадьбе с юношей, которого она по-прежнему видела неуклюжим и некрасивым мальчишкой. О себе она была значительно более высокого мнения и во время церковных служб не упускала ни одного восхищенного взгляда, брошенного на нее молодыми аристократами. Они собирались на ступенях у дверей церкви, и, когда Беатрис выходила, опустив глаза, рядом с герцогиней и в сопровождении двух лакеев в ливреях, несущих бархатные подушечки, на которых преклоняли колени мать и дочь, до нее долетали обращенные к ней слова восторга. Хотя она никогда не смотрела на кавалеров, Беатрис знала, кто они, как их зовут, каково их происхождение и

вообще все, что можно о них узнать. Раз или два наиболее безрассудные пели ей серенады, но герцогиня тут же посылала слуг и прекращала это безобразие. Однажды она нашла на подушке письмо и догадалась, что кто-то подкупил служанку. Беатрис распечатала его, прочла дважды, а потом разорвала на мелкие кусочки и сожгла в пламени свечи. Это была первая и единственная в ее жизни любовная записка. Подписи не было, и Беатрис так и не узнала, кто ее написал.

Из-за плохого здоровья герцогиня ходила к мессе лишь по воскресеньям и праздникам, а Беатрис с дуэньей — каждый день. Скоро она обратила внимание на молодого семинариста, высокого, худощавого, с решительными чертами лица и темными страстными глазами, также каждое утро появлявшегося в церкви. Иногда, идя с дуэньей, Беатрис встречала его на улице.

— Кто это? — как-то раз спросила она, увидев его, шагающего навстречу, читая на ходу книгу.

— Это? Никто. Старший сын Хуана Суареса де Валеро. Hidalguia de gutierra.

Этим презрительным термином, в переводе означавшим нищее дворянство, называли людей благородного происхождения, финансовые возможности которых не позволяли им жить в соответствии с их положением в обществе. Дуэнья, вдова и дальняя родственница герцога, гордая, благочестивая, строгая, сама не имела ни гроша, но, живя во дворце, не относила себя к их числу. В Кастель Родригесе она провела всю жизнь, знала все обо всех и, несмотря на набожность, не упускала случая позлословить на счет других.

— А что он тут делает в такое время года? — спросила Беатрис.

Дуэнья пожала плечами.

— От усердия в занятиях он заболел, и его послали домой поправить здоровье, что он и сделал, благодаря милости господа бога. Говорят, он очень талантлив. Я полагаю, его родители надеются, что, по просьбе герцога, вашего отца, ему дадут церковный приход.

Больше Беатрис ни о чем не спрашивала.

Потом, без видимой на то причины, она потеряла аппетит. С ее щек исчез румянец, она постоянно грустила и часто плакала. Обеспокоенная герцогиня послала за мужем. Перемена в дочери потрясла герцога. Она еще больше похудела, и под глазами появились черные круги. Родители пришли к заключению, что необходимо сразу же сыграть свадьбу, но Беатрис разразилась такой истерикой, что этот вопрос больше не поднимался. Ее пичкали лекарствами, поили козьим молоком и бычьей кровью, но ничего не помогало. Беатрис оставалась печальной и подавленной. Они делали все, чтоб отвлечь ее. Нанимали музыкантов, водили на религиозные пьесы в соборе, на бои быков. Она продолжала таять, как восковая свечка. Дуэнья не отходила от нее ни на шаг и, так как Беатрис больше не читала рыцарских романов, развлекала больную, рассказывая ей городские новости. Беатрис вежливо слушала, но без всякого интереса. Как-то раз дуэнья упомянула о том, что старший сын дона Хуана Суареса де Валеро вступил в орден доминиканцев. Она продолжала говорить о ком-то еще, но тут Беатрис неожиданно лишилась чувств. Дуэнья позвала на помощь, и девушку уложили в постель.

Через день или два, когда Беатрис стало лучше, она попросила разрешения пойти на

исповедь. Несколько недель она отказывалась исповедоваться, ссылаясь на плохое самочувствие, и духовник согласился с ее родителями, что настаивать не следует. Теперь, однако, сами родители попытались отговорить Беатрис, но она так упрашивала, так горько плакала, что они не смогли отказать. Карета отвезла ее в доминиканскую церковь. Вернулась она почти прежней веселой Беатрис. На бледных щечках затеплился румянец, а прекрасные глаза засияли внутренним светом. Она опустилась на колени у ног отца и попросила его дозволения уйти в монастырь. Герцог сначала рассердился, во-первых, потому что не хотел отдавать церкви единственную дочь, а во-вторых, нарушение обещания, данного герцогу Антекере, не входило в его планы, но, будучи человеком добрым и набожным, он сдержал эмоции и спокойно ответил, что такое дело нельзя решать второпях, тем более теперь, когда она тяжело больна. Беатрис добавила, что советовалась с духовником и тот полностью одобрил ее намерения.

— Отец Гарсиа, несомненно, очень порядочен и благочестив,— нахмурившись, процедил герцог,— но его обеты, вероятно, не позволили ему понять, как велика ответственность тех, кто высоко вознесен богом и королем. Завтра я поговорю с ним.

На следующий день фра Гарсиа пригласили во дворец. Герцог и герцогиня, разумеется, понимали, что он не передаст им содержание исповеди Беатрис, и не пытались выяснить причины ее столь неожиданного решения. Но они резонно заметили, что Беатрис, хотя и следовала законам церкви, любила поразвлечься и никогда не выка-

зывала желания отдать себя богу. Они рассказали о намеченном союзе с герцогом Антекерой и о трениях, которые могут возникнуть, если свадьба расстроится. И наконец, с должным уважением к его сану, они обратили внимание монаха, что тому не следовало одобрять причуду Беатрис, вызванную, несомненно, ее загадочной болезнью. Но доминиканец проявил непонятное упорство. Он даже решился сказать, что высокое происхождение не дает им права воспрепятствовать дочери сделать шаг, который успокоит ее душу в этом мире и принесет счастье в последующем. За первой встречей с духовником последовали и другие. Беатрис продолжала настаивать на своем, а фра Гарсиа изо всех сил ее поддерживал. Наконец, герцог согласился отпустить Беатрис в монастырь, если через три месяца она не передумает.

С этого момента она начала выздоравливать, и три месяца спустя стала послушницей в кармелитском монастыре Авилы. Разодетая в шелк и бархат, надев все драгоценности, в сопровождении родственников и благородных кавалеров, Беатрис прибыла к монастырским воротам, радостно попрощалась со всеми и исчезла за ними.

Но герцог не захотел, чтобы его единственная дочь всю жизнь оставалась простой монахиней. Во славу господа и в свою честь он решил основать монастырь в Кастель Родригесе, в котором Беатрис со временем могла бы стать аббатисой. В городе ему принадлежали значительные земельные участки, и он без труда нашел подходящее место, где и построил красивую церковь, жилой корпус, необходимые подсобные помещения и разбил сад. Он нанял лучшего архитектора, превосходных художников и скульпторов. Когда строительство

закончилось, Беатрис, известная теперь как донья Беатрис де Сан Доминго, приехала погостить во дворец герцога вместе с несколькими монахинями, выбранными за их добродетель, ум и знатное происхождение. Герцог решил, что лишь девицы благородной крови смогут переступить порог его монастыря. Подобрали и аббатису, готовую отойти от дел, как только Беатрис достигнет необходимого возраста и сможет занять ее место. Отец Гарсиа отслужил мессу, монахини приняли святое причастие и вступили в свое новое жилище.

Ко времени нашего повествования донья Беатрис де Сан Доминго уже много лет была аббатисой монастыря. Она завоевала уважение жителей Кастель Родригеса и восхищение, если не любовь, духовных дочерей. Она никогда не забывала о своем высоком происхождении, как, впрочем, и о благородной крови монахинь. В трапезной они получали место в строгом соответствии с временем прихода в монастырь. Беатрис быстро решала все споры, возникающие по этому поводу. Она требовала полного повиновения и, если ее приказы не выполнялись, наказывала виновных, невзирая на лица. Когда же ее власть не ставилась под сомнение, она становилась любезной и иногда милосердной. Устав ордена кармелиток, введенный папой Иннокентием IV, предоставлял монахиням много привилегий, и аббатиса не видела смысла в каких-либо изменениях. Как и в Авиле, они могли навещать и гостить у друзей и родственников, в монастырь приезжало много гостей, обет молчания действовал лишь с вечернего богослужения до заутрени. Светские сестры выполняли черную работу, чтобы у монахинь оставалось

больше времени для молитв и других важных дел. Но, несмотря на предоставленную свободу, даже тень скандала ни разу не запачкала доброе имя этих добродетельных женщин. Репутация монастыря была столь высокой, что число желающих попасть туда превышало возможности аббатисы, так что она могла проводить тщательный отбор из кандидаток.

Она была деловой женщиной. Кроме религиозных обязанностей, ей приходилось следить за монастырским хозяйством, присматривать за поведением монахинь и их здоровьем, физическим и духовным. Монастырь владел домами в городе и землями в его окрестностях. Она часто бывала там, чтобы убедиться, все ли в порядке. Устав разрешал аббатисе иметь личную собственность, и герцог передал ей несколько домов и обширное поместье, приносящие ежегодно значительную прибыль. Большую часть этих денег донья Беатрис тратила на благотворительные цели, а остальное — на украшение трапезной и монастырской приемной и строительство молелен в саду, куда монахини могли бы удаляться для благочестивых размышлений. Церковь сияла великолепием. Сосуды для священных обрядов из чистого золота, дароносительница, искрящаяся драгоценными камнями, картины в дорогих золоченых резных рамах, статуи спасителя и пресвятой девы в бархатных одеждах, расшитых золотой и серебряной нитью (Марией Перес), и сверкающих коронах.

Празднуя двадцатилетие своего служения господу богу, донья Беатрис возвела часовню святого Доминика, к которому она испытывала особое почтение. Узнав у одной из сестер, урожен-

ки Толедо, что там живет грек, картины которого чудесным образом повергали верующих в религиозный экстаз, она написала герцогу, ее брату, чтобы тот заказал одну для алтаря и указала точные размеры. Но брат ответил, что король остался очень недоволен последней картиной грека, предназначенной для новой церкви в Эскуриале, и отказался от нее. В такой ситуации герцог счел неразумным обращаться к греку, но прислал в подарок картину Лодовико Караччи, известного итальянского художника, размеры которой, по счастливой случайности, в точности соответствовали требованиям аббатисы.

Отец Беатрис при строительстве монастыря позаботился о том, чтобы апартаменты аббатисы соответствовали ее высокому происхождению. Из жилой кельи, куда допускалась только светская сестра, следившая за чистотой, маленькая лесенка вела в молельню, расположенную этажом выше. Там аббатиса молилась, занималась делами и принимала гостей. Над небольшим алтарем висел крест с фигурой Христа, вырезанной из дерева почти в натуральную величину, и над ее рабочим столом — картина каталонского художника, изображающая деву Марию. Донье Беатрис, высокой, худой женщине, без единой морщинки на бледном лице и с огромными темными глазами, перевалило за сорок. Возраст облагородил ее черты и утончил некогда пухлые губы, а ее лицо светилось холодной и недоступной красотой. Всем своим видом она показывала, что смотрит на большинство сверху вниз и очень немногих считает равными себе. Аббатиса обладала мрачным, даже сардоническим чувством юмора, и в улыбке, довольно часто пробегавшей по ее губам, не было

веселья. Смеялась она редко, казалось, испытывая при этом не удовольствие, но боль.

И вот такой женщине стало известно, что святая дева явилась Каталине Перес на ступеньках кармелитской церкви.

11

Донья Беатрис не поощряла видений, посещавших ее духовных дочерей, чрезмерного аскетизма и умерщвления плоти. И если она замечала в ком-то из монахинь признаки религиозного фанатизма, то принимала решительные меры. Монахине запрещалось поститься, а если это не помогало, ее отправляли погостить к родным или знакомым. Твердость, проявляемая доньей Беатрис в этом вопросе, объяснялась воспоминаниями в этом вопросе, объяснялась воспоминаниями о скандалах, вызванными одной из монахинь в кармелитском монастыре Авилы, заявлявшей, что видела Иисуса Христа, пречистую деву и других святых и получала от них знаки внимания. Аббатиса не отрицала возможности подобных видений, так как некоторым людям, потом причисленным к лику святых, действительно являлись и Иисус, и дева Мария. Но, по ее твердому убеждению, монахиня из Авилы, Тереза де Сепеда, с которой она, еще послушницей, виделась в монастыре, была истеричной и обманутой жертвой помрачившегося рассудка.

Донья Беатрис, естественно, не сомневалась, что в истории Каталины нет ни грана правды, но, так как взволнованные монахини не могли говорить ни о чем другом, она подумала, что неплохо вызвать девушку в монастырь и побеседовать с ней самой. Она позвала одну из мона-

хинь и послала ее за Каталиной. Вскоре монахиня вернулась и сказала, что та готова прийти, но исповедник запретил ей рассказывать о встрече со святой девой. Донья Беатрис не привыкла к отказам и нахмурилась. А когда она хмурилась, весь монастырь дрожал от страха.

— Но ее мать здесь, ваше преподобие,— пробормотала монахиня.

— А зачем она мне?

— Девушка рассказала ей о встрече с нашей госпожой. Исповедник не подумал о том, чтобы заткнуть ей рот.

Мрачная улыбка скользнула по бледным губам аббатисы.

— Достойный, но недалекий человек. Хорошо, дочь моя. Я ее приму.

Марию Перес ввели в молельню. Она часто видела аббатису, но никогда не говорила с ней и от волнения едва держалась на ногах. Донья Беатрис сидела в кресле с высокой спинкой. В глазах Марии она выглядела королевой, гордой и недоступной. Упав на колени, она поцеловала протянутую руку. А потом слово в слово повторила рассказ Каталины. Когда она замолчала, аббатиса легким кивком отпустила ее.

— Вы можете идти.

После ухода Марии донья Беатрис долго сидела в глубоком раздумье, а потом подошла к столу и написала письмо епископу Сеговии с просьбой оказать ей честь, посетив ее по важному делу. Меньше чем через час она получила ответ. Епископ вежливо сообщал, что с радостью подчиняется ее желанию и придет в монастырь на следующий день.

Узнав о приходе столь знаменитого и святого

человека, монахини сразу же догадались, что его визит имеет отношение к чудесному появлению пресвятой девы на ступеньках их церкви. Он пришел во второй половине дня, после сиесты, в сопровождении двух монахов-секретарей. К неудовольствию монахинь, им запретили покидать кельи. Епископа провели к аббатисе, а секретарей попросили подождать в монастырской приемной, так как преподобная мать пожелала поговорить с ним наедине. Когда он вошел, донья Беатрис, подойдя, преклонила колени и поцеловала его епископский перстень, затем встала и, указав ему на стул, села сама.

— Я надеялась, что ваша светлость найдет удобным посетить наш монастырь, но, раз уж вы не пришли, я решилась пригласить вас.

— Мой учитель теологии предостерегал от частого общения с женщинами, советовал быть с ними вежливым, но держаться от них подальше.

Она сдержала едкий ответ, готовый сорваться с губ, и вместо этого пристально посмотрела на епископа. Тот ждал, потупив взор. А донья Беатрис не спешила перейти к делу. Прошло почти тридцать лет с тех пор, как они виделись в последний раз, и впервые они говорили друг с другом. На нем была старая, много раз штопанная ряса. На выбритой голове осталось лишь кольцо черных, чуть тронутых сединой волос, символизирующее терновый венец. Лицо, с впалыми щеками и изборожденное глубокими морщинами, несло печать страданий. И только глаза, попрежнему излучающие яростный огонь, напоминали о молодом семинаристе, которого она когда-то знала и так страстно любила.

Все началось с детской шалости. Беатрис заметила семинариста, когда тот служил мессу в церкви, где она молилась с дуэньей. Худой, с тонзурой среди густых черных волос, резкими чертами лица, какой-то особой, величественной осанкой, он напоминал одного из тех святых, что в молодые годы услышали глас божий и умерли юными и прекрасными. Когда он не служил мессу, то преклонял колени вместе с теми немногими, кто приходил в церковь в столь ранний час, и его взгляд никогда не покидал алтаря. Беатрис тех дней не думала ни о чем, кроме новых развлечений. Она уже знала о всесокрушающей силе своих сияющих глаз. И захотела, из чистого каприза, привлечь к себе внимание молоденького, но очень серьезного семинариста. Изо дня в день во время службы она пристально смотрела ему в затылок, ожидая ответного взгляда, пока, наконец, интуиция не подсказала ей, что юноше не по себе. Она не могла сказать, чем вызвано это ощущение, но, будучи уверенной, что вот-вот наступит желанный момент, ждала, затаив дыхание. И он резко обернулся, будто услышал неожиданный звук, поймал ее взгляд и вновь повернулся к алтарю. С тех пор Беатрис уже не смотрела на него, но через пару дней почувствовала его изучающий взгляд. Она стояла на коленях, наклонив голову, а он, потерявший голову, смотрел на нее так, как не смотрел ни на кого в жизни. Внутренне ликуя, Беатрис, медленно подняв голову, встретила его взгляд. Семинарист тут же отвернулся, но она заметила краску стыда, залившую его лицо.

Бывало, проходя по улице вместе с дуэньей, Беатрис встречала семинариста, и всякий раз он отводил взгляд в сторону. Однажды, заметив их,

он круто развернулся и пошел обратно. Беатрис громко хихикнула, вызвав неудовольствие дуэньи. Как-то раз они вошли в церковь, когда семинарист опускал пальцы в чашу со святой водой перед тем, как перекреститься. Беатрис протянула руку, чтобы коснуться его пальцев и окропить свои. Он побледнел, как полотно, и их взгляды вновь встретились. Лишь мгновение стояли они рядом, но и его хватило Беатрис, чтобы ощутить любовь, горячую человеческую любовь юноши к прекрасной девушке. И в ту же секунду она почувствовала острый укол в сердце, укол той же страстной любви девушки к мужественному юноше. Ее переполняла радость. Никогда еще она не знала такого блаженства.

В тот день он служил мессу. Беатрис не спускала с него глаз. Сердце защемило так, что она едва не умерла, но боль, если это была боль, показалась ей сладостней любого наслаждения. Еще раньше она обнаружила, что семинарист по какому-то делу каждый день проходит мимо дворца герцога. Хитростью ей частенько удавалось в этот момент оказаться у окна. Она видела, как он подходил ко дворцу, как замедлялись его шаги, словно он не хотел пройти мимо, а затем убыстрялись, будто он бежал от искушения. Напрасно надеялась она, что семинарист хоть поднимет голову. И однажды, чтобы подразнить его, бросила перед ним белую гвоздику. Инстинктивно он посмотрел вверх, но девушка отступила на шаг, чтобы он не увидел ее. Потом семинарист наклонился и взял цветок. Он держал его обеими руками, как держат драгоценный камень, и, как зачарованный, не сводил с него глаз, а затем неистово швырнул гвоздику на землю, втоптал в пыль и бросился бежать. Беат-

рис рассмеялась, но неожиданно смех тут же перешел в слезы.

Когда несколько дней подряд он не являлся к утренней мессе, Беатрис охватило волнение.

— А где семинарист, что служил мессу? — как бы невзначай спросила она дуэнью.

— Откуда мне знать? — буркнула та.— Наверное, вернулся в семинарию.

Больше Беатрис его не видела. Комедия переросла в трагедию, и она горько раскаивалась в совершенной глупости. Она привыкла к тому, что любое ее желание выполнялось в мгновение ока, и Беатрис бесило, что ее мечта никогда не станет реальностью. Раньше она принимала уготованного ей жениха как неизбежное зло высокого положения. Свой долг она видела в том, чтобы рожать мужу детей, в остальном же надеялась не иметь с ним ничего общего, но теперь мысль о том, что ей придется связать судьбу с этим тупоумным коротышкой, вызывала у Беатрис отвращение. Она понимала, что любовь к молодому дону Бласко де Валеро ни к чему не приведет. Да, он принял лишь низший духовный сан и мог отказаться от него, но Беатрис не могла не помнить о том, что отец никогда не даст согласия на этот брак. Да и собственная гордость никогда не позволила бы ей выйти замуж за такого безродного дворянина. А Бласко? Он любил ее, в этом Беатрис не сомневалась, но еще сильнее он любил бога. И, топча брошенный ею цветок, он топтал захватившую его презренную страсть. Беатрис мучали странные, пугающие сны. Она видела себя в объятьях Бласко, их губы сливались, грудь прижималась к груди, и она просыпалась от стыда, душевной муки и отчаяния. И Беатрис

слегла от болезни, против которой не помогали никакие лекарства, но она знала, что умирает от разбитого любовью сердца. И лишь услышав о том, что Бласко стал монахом, Беатрис внезапно прозрела. Он показал ей, что, уходя из мира, нашел способ убежать от нее, и сознание исходящей от нее силы почему-то обрадовало Беатрис. И она решила последовать его примеру, уйти в монастырь, тем самым избежав ненавистной ей свадьбы, и в любви к богу обрести покой. А где-то в глубине души она чувствовала, что, разделенные в этом мире, они смогут соединиться, служа создателю.

То, что столь долго описывалось словами, в один миг пронеслось перед мысленным взором суровой, неумолимой аббатисы, словно она взглянула на огромную фреску, нарисованную на длинной стене галереи. Та страсть, безрассудная страсть юности, давно угасла. Время, благочестивая монотонность монастырской жизни, молитвы и посты, многообразные обязанности аббатисы превратили ее лишь в горькое воспоминание. И сейчас, глядя на сидящего перед ней мужчину, такого худого, изнуренного, с выражением страдания на лице, она думала, помнит ли тот, что однажды он, против своей воли, но всем сердцем влюбился в юную красавицу, с которой не перемолвился ни словом, но каждую ночь видел в волнующих снах. Епископ прервал затянувшееся молчание:

— Ваше преподобие хотели поговорить со мной о важном деле.

— Да, но сначала позвольте мне поздравить вас с честью, оказанной вам его величеством.

— Я только могу надеяться, что моих скром-

ных сил хватит, чтобы оправдать его доверие.

— Те, кто знает, с каким усердием и требовательностью к себе вы служили богу в Валенсии, в этом не сомневаются. Хотя наш городок и затерян в горах, мы стараемся быть в курсе того, что происходит в большом мире, и слава о вашем аскетизме, добродетели и неослабной заботе о чистоте нашей веры не обошла и нас.

Епископ, насупив брови, пристально посмотрел на нее.

— Мадам, я благодарен вам за столь вежливую встречу, но молю не утруждать себя, рассыпая мне комплименты. Я никогда не любил людей, расписывающих мне мои достоинства. Я буду вам очень признателен, если, без дальнейшей задержки, вы соблаговолите сказать, зачем позвали меня сюда.

Подобный выговор не смутил аббатису. Что еще можно ждать от безродного дворянина, как говорила ее дуэнья, мир ее праху, будь он и епископом. А она — дочь герцога Кастель Родригеса, испанского гранда и кавалера ордена Золотого Руна. Одно слово ее брату, доверенному лицу нынешнего фаворита короля Филиппа Третьего, и этого священника отправят на Канарские острова.

— Я сожалею, что оскорбила скромность вашей светлости,— холодно ответила донья Беатрис,— но именно ваша добродетель и святость, если можно так выразиться, побудили меня пригласить вас к себе. Вам известно о странном видении местной девушки, Каталины Перес?

— Да. Ее исповедник, несомненно, достойный человек, но необразованный и не слишком умный,

сообщил мне об этом. Я отослал его и запретил монахам обсуждать это событие и упоминать о нем в моем присутствии. Девушка или жаждет известности, или просто заблуждается.

— Я не знакома с ней лично, сеньор, но, по мнению всех, кто ее знает, Каталина — милая и благочестивая девушка. Она правдива и не способна выдумать такую историю.

— Если все, что она говорила, действительно имело место, это дело рук сатаны. Дьяволы могут превращаться в небожителей, чтобы, искушая ничего не подозревающую жертву, обречь ее на вечные страдания в чистилище.

— С девушкой произошел несчастный случай. Не пристало нам приписывать дьяволу больше ума, чем у него есть на самом деле. Неужели он мог подумать, что ее душа подвергнется опасности, если святой человек возложит на нее руки во имя отца и сына и святого духа?

Все это время епископ смотрел в пол, но тут перевел взгляд, полный душевной боли, на аббатису.

— Мадам, Люцифер, сын зари, пал из-за гордыни. Что, кроме нее, может заставить меня, злого и очень грешного, поверить в то, что я могу творить чудеса?

— Возможно, из скромности вы называете себя злым и грешным, но остальные уверены в вашей добродетели. Послушайте, сеньор, об этой истории говорит весь город. Людей волнует ожидание чуда. Нельзя их разочаровывать.

Епископ вздохнул:

— Я знаю, что люди взбудоражены. Вокруг монастыря собралась толпа. Когда я вышел из ворот, чтобы идти к вам, они опустились на колени

и просили моего благословения. Что-то надо сделать, чтобы привести их в чувство.

— Ваша светлость, позвольте дать вам совет. Я не видела девушку, потому что исповедник запретил ей рассказывать о встрече со святой девой, но вы имеете право отменить его решение. Почему бы вам не встретиться с ней? С вашей беспристрастностью, знанием человеческого характера и опытом, приобретенным за годы служению богу в Святой палате, вы без труда сможете определить, обманута ли она дьяволом, или ей действительно явилась дева Мария.

Епископ грустно посмотрел на спасителя, поникшего на кресте, перед которым часто молилась аббатиса. Его душу раздирали сомнения.

— Нет нужды напоминать вам, сеньор, что монастыри кармелиток находятся под особым покровительством пресвятой богородицы. Мы, бедные монахини, разумеется, недостойны такой чести, но, возможно, она испытывает глубокую привязанность к церкви, воздвигнутой в ее честь моим отцом, герцогом Кастель Родригесом. Излечение вашей светлостью бедного дитя именем нашей небесной покровительницы послужит славе монастыря.

Епископ надолго задумался и снова вздохнул:

— Где я могу увидеть девушку?

— Трудно найти лучшее место, чем часовня нашей церкви, воздвигнутая в честь святой девы.

— Чем быстрее мы с этим покончим, тем лучше. Пусть она придет завтра, мадам, и я буду ждать ее там.— Он встал и поклонился аббатисе.

На губах его появилась тень грустной улыбки.

— Печальная ночь ожидает меня, ваше преподобие.— Она опустилась на колени и поцеловала его перстень.

12

На следующий день, в назначенный час, епископ, в сопровождении монахов-секретарей, вошел в богато украшенную церковь. Каталина, с одной из монахинь, ждала его в часовне пресвятой девы, опираясь на костыль. Увидев епископа, она хотела стать на колени, но тот удержал девушку.

— Вы можете оставить нас,— сказал он монахине и после ее ухода повернулся к секретарям: — Вы отойдите подальше, но останьтесь в церкви. Я хочу поговорить с ней наедине.

Подождав, пока монахи выполнят его приказание, епископ пристально взглянул на девушку-калеку. Его нежное сердце всегда отзывалось на человеческую боль. Каталина, бледная, как полотно, дрожала от страха.

— Не бойся, дитя,— мягко сказал епископ.— Если ты скажешь правду, все будет в порядке.

Очень скромная, простодушная девушка, удивительно красивое лицо, бесстрастно отметил он, словно оценивая масть встреченной на дороге лошади. Он начал расспрашивать Каталину о ее жизни. Сначала девушка стеснялась, но по мере того, как один вопрос сменялся другим, отвечала со все большей уверенностью. Голос ее был нежен и мелодичен, речь — правильной. Каталина рассказала простую историю ее короткой жизни, неотличимую от жизни других бедняков. Тяжелая

работа, невинные развлечения, молитвы, первая любовь. Но она говорила так естественно, с такой искренностью, что тронула сердце епископа. Эта девушка не стала бы что-либо выдумывать ради того, чтобы возвыситься в глазах остальных. В каждом ее слове слышались скромность и смирение. Потом она рассказала о несчастном случае, в результате которого ей парализовало ногу, а Диего, сын портного, ее жених и возлюбленный, ушел к другой.

— Я не виню его,— вздохнула Каталина.— Возможно, ваша светлость не знает, как трудна жизнь бедняков. Мужчина не может позволить себе иметь жену, которая не будет работать для него.

Епископ ласково улыбнулся.

— Где ты научилась так ясно излагать свои мысли, дитя мое? — спросил он.

— Мой дядя, Доминго Перес, научил меня читать и писать. Он много занимался со мной. Можно сказать, он заменил мне отца.

— Когда-то я знал его.

Каталина не без оснований опасалась, что упоминание дяди, дурная репутация которого ни для кого не была тайной, не украсит ее в глазах этого святого человека. Епископ молчал, и она решила, что разговор окончен.

— А теперь расскажи мне ту историю, что рассказывала матери,— его изучающий взгляд остановился на лице девушки.

Каталина колебалась, и он вспомнил о запрещении исповедника и добавил, что в его власти отменить приказ отца Вергеры.

Тогда она повторила все то, что говорила матери. Как она плакала на каменных ступенях,

потому что не могла веселиться со всеми, когда из церкви вышла незнакомая ей женщина, поговорила с ней, сказала, что его светлость может излечить ее, а потом исчезла, растворившись в воздухе. И как ее осенило, что ей явилась сама святая дева.

Она замолчала, и наступило долгое молчание. Епископ по-прежнему терзался сомнениями. Девушка не обманывала. Он не мог ошибиться в ее искренности и невинности. Это был не сон, потому что и он слышал колокольный звон, трубы и барабанный бой, которыми ознаменовался их с братом въезд в город. И разве мог сатана сохранить облик богородицы, когда бедная девушка изливала ей свое сердце и молила о помощи. Она, несомненно, благочестива. Не ей первой является дева Мария, не ей одной обещала она и излечивала от болезней. Если же он испугается и откажет бедняжке в ее смиренной просьбе, не совершит ли он тем самым смертный грех?

— Знак,— пробормотал епископ,— знак.

Он подошел к алтарю, над которым в роскошном одеянии, из синего, сплошь расшитого золотом бархата, со сверкающей короной на голове возвышалась статуя пресвятой девы. Преклонив колени, он молил указать ему путь. Но, несмотря на страстную молитву, в сердце его царила пустота, а душа окуталась черным покровом ночи. Наконец, тяжело вздохнув, он поднялся на ноги и, раскинув руки, пристально всмотрелся в полузакрытые глаза богоматери. И тут же Каталина испуганно вскрикнула. Монахи, услышав ее, бросились в придел, но, не добежав, остановились, как вкопанные. С отвисшими челюстями они стояли, как жена Лота, будто превратившись в

соляные колонны. Дон Бласко де Валеро, епископ Сеговии, медленно поднимался в воздух, пока не застыл, оказавшись лицом к лицу со статуей, как орел, парящий на распростертых крыльях. Один из монахов, опасаясь, что он упадет, бросился было к нему, но второй, отец Антонио, удержал его. А епископ так же медленно опустился на мраморный пол у алтаря. Его руки упали, как плети, и он обернулся. Оба монаха, подбежав, повалились ему в ноги, целуя подол рясы. Епископ, казалось, не замечал их присутствия и, как лунатик, двинулся к выходу. Монахи следовали за ним по пятам. О Каталине все забыли. Выйдя из церкви, епископ остановился на каменных ступенях, где дева Мария говорила с несчастной калекой, и обвел взглядом маленькую площадь, купающуюся в ярком августовском солнце. Несмотря на жару, он весь дрожал.

— Передайте девушке, что я сообщу ей о своем решении.— Со склоненной головой он сошел со ступенек и направился к доминиканскому монастырю.

Секретари почтительно следовали сзади, не решаясь вопросами нарушить мысли святого. У ворот епископ остановился и повернулся к ним:

— Под страхом отлучения от церкви я запрещаю упоминать о том, что вы сегодня видели.

— Но это же чудо, сеньор,— возразил отец Антонио.— Разве справедливо скрыть знак божественного расположения от наших братьев?

— Становясь монахом, сын мой, вы приняли обет повиновения,— отрезал епископ.

Отец Антонио был учеником фра Бласко, когда

тот преподавал теологию в Алькале, и под его давлением вступил в орден доминиканцев. Когда фра Бласко стал инквизитором Валенсии, он назначил умного и сообразительного монаха своим секретарем. Отец Антонио, безупречный в жизни и усердный в служении церкви, страдал от болезни, которую Ювенал называл cacoëthes scribendi. Не довольствуясь бесконечными протоколами допросов, донесениями, решениями и прочими документами, необходимыми для нормального функционирования сложного механизма Святой палаты, составление которых входило в обязанности секретаря, он в свободное время постоянно что-то писал. И как скоро выяснил инквизитор, а он, рано или поздно, узнавал обо всем, что делается вокруг, отец Антонио, из благоговения перед учителем, вел поминутный учет его действий, записывал каждое сказанное им слово и давал подробное описание любого, пусть самого незначительного события, имевшего отношение к фра Бласко. Тот, разумеется, понимал, зачем пишется этот труд, и не раз спрашивал себя, не положить ли этому конец. Отец Антонио крепко вбил себе в голову, что именно такие, как фра Бласко де Валеро, становятся святыми и составленный им документ, несомненно, понадобится Курии, когда, после смерти фра Бласко, начнется процедура его приобщения к лику блаженных. Инквизитор, хоть и сознавая свою никчемность, все-таки оставался человеком и с трепетом думал о том, что в один день он сможет оказаться среди святых. Он нещадно бичевал себя за столь высокомерные мысли, но не мог заставить себя поговорить с отцом Антонио.

И теперь, глядя на монаха, епископ не сомне-

вался, что тот непременно запишет все в свою книгу. В который раз он тяжело вздохнул и молча вошел в монастырь.

13

Но епископ не догадался связать Каталину обетом молчания. Как только монахи покинули церковь, она поспешила домой, хотя из-за увечья добралась туда не так быстро, как хотела. Доминго уехал по делам в близлежащую деревню, и ее встретила только мать. С восторгом Каталина рассказала ей о чуде, свидетелем которого она только что стала, а затем, по просьбе Марии, повторила все сначала.

Мария Перес, сдерживая нетерпение, едва дождалась часа отдыха, когда в монастырской приемной собирались монахини и многочисленные гости и ее рассказ произвел бы наибольшее впечатление. И действительно, ее надежды полностью оправдались. Помощница аббатисы поспешила к донье Беатрис, и очень скоро Марию провели в ее молельню. Там она вновь рассказала о чудесной левитации епископа. Аббатиса внимательно выслушала ее, не скрывая своего удовлетворения.

— Теперь он решится,— сказала она.— Чудо прославит не только наш скромный монастырь, но и весь орден кармелиток.

Она отпустила женщин и написала епископу письмо, в котором упомянула о том, что ей стало известно о божественном благоволении, дарованном ему сегодняшним утром. Происшедшее означало, что Каталина Перес сказала правду и ей действительно явилась святая дева. Аббатиса заклинала его отбросить сомнения, ибо долг

христианина требовал принять это тяжкое бремя. Вежливо, но достаточно твердо она убеждала епископа, что тот просто обязан совершить чудо в церкви, где небо выказало ему свое расположение. Письмо она послала со специальным посыльным.

Два дворянина из тех, что слышали рассказ Марии Перес, сразу же пошли в доминиканский монастырь. Монахи, естественно, ничего не знали, но не слишком удивились, узнав о случившемся. Святость епископа не вызывала у них никаких сомнений, и его левитация послужила лишь подтверждением того, что их мнение не расходится с мнением всевышнего. В то же время одна из благородных дам, живших у кармелиток, навещала друзей и также рассказала им о чуде в приделе святой девы. Пару часов спустя об этом говорил весь город. Еще несколько дворян пришли в доминиканский монастырь, чтобы узнать правду из первых рук. В результате отцу Антонио пришлось пойти к епископу и сказать, что, хотя ни он, ни второй секретарь не открывали рта, все узнали о его чудесной левитации. Епископ указал на распечатанное письмо аббатисы, лежащее на столе.

— Эти жалкие женщины не могут держать язык за зубами.

— Наши братья по монастырю надеются, что теперь вы согласитесь излечить бедную девушку.

В келью постучали. Отец Антонио открыл дверь, и вошедший монах сообщил епископу, что его хотел бы видеть приор.

— Пусть приходит,— ответил епископ.

Отец Антонио присутствовал при этом нелегком разговоре и изложил его содержание в своей

книге. В конце концов епископ позволил убедить себя, что господь бог желает от него выполнения поручения святой девы. Однако он поставил условия, с которыми приору, скрепя сердце, пришлось согласиться. Он-то хотел, чтобы церемония излечения происходила в присутствии всех монахов, дворянства и священнослужителей других церквей. Но епископ настоял на полной секретности. Он согласился утром следующего дня прийти в церковь кармелитского монастыря и отслужить мессу. С собой он решил взять лишь двух секретарей. Недовольный приор ушел к себе, а епископ послал отца Антонио к донье Беатрис, чтобы сообщить ей о своем решении. Он разрешил ей привести в церковь монахинь и потребовал, чтобы они молились за него всю ночь.

Спустя час возбужденная монахиня пришла к Марии Перес и попросила позвать Каталину.

— Это великий секрет,— сказала она вошедшей девушке.— Об этом никто не должен знать. Его светлость завтра утром излечит тебя, и ты будешь бегать на двух ногах, как и остальные христиане.

Каталина ахнула, и ее сердце от радости чуть не выскочило из груди.

— Завтра?

— Ты должна принять святое причастие, поэтому ничего не ешь после полуночи. Ты, конечно, об этом знаешь.

— Да, знаю,— ответила Каталина.— Но я никогда не ем после полуночи. Можно мне позвать маму и дядю Доминго?

— Об этом мне ничего не известно. Наверное, они могут прийти. Возможно, после этого твой дядя образумится и ступит на путь истинный.

Доминго вернулся лишь поздним вечером и не успел переступить порог дома, как Каталина ошеломила его радостным известием. Тот буквально оцепенел от страха.

— Разве ты не рад? — удивленно воскликнула Каталина.

Доминго молча ходил из угла в угол. Каталина никак не могла понять, что происходит.

— В чем дело, дядя? Почему ты молчишь? Я думала, ты обрадуешься. Разве ты не хочешь, чтобы я выздоровела?

Он раздраженно пожал плечами и продолжал мерить шагами комнату, думая о том, что произойдет, если епископу не удастся совершить чудо. Как бы этим делом не заинтересовалась Святая палата. Это означало катастрофу. Неожиданно он остановился и пристально взглянул на Каталину:

— Повтори мне слово в слово, что сказала тебе святая дева?

— Сын дона Хуана Суареса де Валеро, который лучше всех служил богу, излечит тебя.

Доминго даже вздрогнул:

— Но ведь матери ты говорила совсем другое. Что тебя излечит дон Бласко де Валеро.

— Это одно и то же. Епископ — святой человек. Это всем известно. Кто из сыновей дона Хуана служил богу лучше, чем он?

— Ты — дура! — вскричал Доминго.— Маленькая дура!

— Сам ты дурак! — огрызнулась Каталина.— Ты никогда не верил в то, что дева Мария явилась мне, говорила со мной, а потом растворилась в воздухе. Ты думал, что мне все приснилось. А теперь послушай, что я тебе расскажу.

И она рассказала, как епископ поднялся в воздух, завис перед статуей пресвятой девы и опустился на мраморные плиты.

— Это тоже не сон. Рядом со мной стояли два монаха и своими глазами видели это чудо.

— На свете случаются странные вещи,— пробормотал Доминго.

— И все же ты отказываешься поверить в то, что мне явилась святая дева?

Глаза Доминго хитро блеснули:

— Теперь я тебе верю. Меня убедило не то, что ты видела утром, а истинное значение слов девы Марии.

Каталина в недоумении посмотрела на него. Она не могла понять, почему незначительное изменение в ее рассказе оказало столь сильное влияние на взгляды Доминго. Тот нежно погладил ее по щеке.

— Я — большой грешник, дитя мое, и, что еще хуже, никак не могу раскаяться в своих грехах. Жизнь моя прошла довольно безалаберно, но я прочел много книг, древних и современных, и узнал многое из того, что, возможно, не стоило знать совсем. Успокойся, милая, все будет в порядке.

Он взял шляпу.

— Ты уходишь, дядя?

— У меня был тяжелый день, и я хочу отдохнуть. Пойду в таверну.

Однако вместо таверны он направился к доминиканскому монастырю. Учитывая поздний час, привратник отказался пропустить его. Доминго настаивал, что должен видеть епископа по делу чрезвычайной важности, но тот, глядя через глазок, даже не открыл дверь. Как последнее средство

Доминго упомянул, что он — дядя Каталины Перес и попросил позвать хотя бы секретаря дона Бласко. На этот раз привратник согласился, и через пару минут отец Антонио подошел к двери. Но и он, зная о дурной репутации Доминго, отказался провести его к епископу, сказав, что тот проводит всю ночь в молитвах и велел его не беспокоить.

— Если вы не позволите мне увидеться с ним, то вся ответственность падет на вас! — воскликнул Доминго.

— Пьяница,— презрительно ответил ему отец Антонио.

— Да, я — пьяница, но сейчас-то я трезв. Вы будете горько сожалеть о том, что не пустили меня.

— Ты что хотел ему передать?

— Скажите ему следующее: «Камень, который строители отбросили в сторону, стал краеугольным».

— Hijo de puta[1],— взревел отец Антонио, возмущенный тем, что этот беспутник посмел цитировать священное писание, и захлопнул глазок.

Доминго пожал плечами, повернулся и пошел прочь. Ноги сами привели его в таверну. Он напился, а вино всегда развязывало ему язык. Он всегда любил себя слушать, а на этот раз ему было что сказать и другим.

14

Следующим утром, когда, как написал бы Доминго, Аврора протерла глазки розовыми пальчиками, а Феб вскочил в золотую колесницу, или,

[1] Сукин сын! *(исп.)* — Примеч. перев.

проще говоря, на рассвете, три доминиканских монаха с надвинутыми на глаза клобуками выскользнули из монастыря. Но, несмотря на ранний час, у ворот стояли люди. Горожане ждали чуда. В высоком монахе они без труда узнали святого епископа и на почтительном расстоянии последовали за ними к кармелитской церкви, около которой также толпился народ. Один из монахов постучал, дверь приоткрылась и, пропустив пришедших, захлопнулась вновь.

Каталина ждала у статуи святой девы. Мария Перес и Доминго пришли вместе с ней, но в церковь их не пустили. Донья Беатрис встретила епископа со всеми двадцатью монахинями. Он прошел в ризницу, облачился в одеяния священнослужителя, а затем медленно направился к приделу святой девы. Монахини и Каталина стояли на коленях. Епископ отслужил мессу, и девушка приняла святое причастие. Благословив всех и прочтя последний отрывок из Евангелия, он преклонил колени у алтаря и погрузился в молитву. Потом поднялся, подошел к Каталине и возложил худую загорелую руку на ее голову:

— Я, ничтожное орудие нашего создателя, во имя отца и сына и святого духа, приказываю тебе бросить костыль и идти.

Каталина, побледнев от волнения, с сияющими глазами, поднялась на ноги, отбросила костыль, шагнула вперед и с горестным криком рухнула на пол. Чуда не произошло.

Монахини закричали, две упали без чувств. Аббатиса выступила вперед. Мельком посмотрев на Каталину, она перевела взгляд на епископа. Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза. Монахини рыдали. Епископ прошел в ризницу,

переоделся и вернулся в церковь. Привратница открыла дверь, и вместе с секретарями он вышел в солнечный свет летнего утра.

Весть о готовящемся совершении чуда облетела город, и маленькую площадь запрудила возбужденная толпа. Едва епископ появился на ступенях, как над площадью пронесся вздох разочарования. Каким-то образом все сразу поняли, что чуда не свершилось. Горожане расступились, и епископ с монахами в гробовом молчании проследовали в монастырь.

15

Узнав, что епископ будет жить у них в монастыре, доминиканцы обставили келью с роскошью, подобающей, по их мнению, его высокому званию. Но тот велел все убрать. Вместо мягкого матраца на кушетку положили соломенный, в палец толщиной, два удобных кресла заменили табуретками, резной стол из дорогого тикового дерева — простым, некрашеным. Картины, украшающие келью, он приказал снять и оставить лишь черный крест, даже без изображения Иисуса, чтобы он мог представить себя распятым на этом мученическом ложе и испытать боль спасителя, страдающего за все человечество.

Войдя в келью, епископ тяжело опустился на стул и уставился в пол. По его щекам медленно катились слезы. Сердце отца Антонио переполняло сострадание. Он что-то прошептал второму секретарю, тот вышел из кельи и спустя несколько минут вернулся с миской супа. Отец Антонио протянул ее епископу:

— Сеньор, пожалуйста, поешьте.

Епископ отвернул голову:

— Я не могу есть.

— Но со вчерашнего утра вы не брали в рот и макового зернышка. Я умоляю вас съесть хотя бы пару ложек.

Отец Антонио встал на колени, зачерпнул ложку дымящегося супа и поднес ее к губам епископа.

— Ты очень добр,— сказал тот.— Я не достоин такой заботы.

Чтобы не казаться неблагодарным, он проглотил содержимое ложки, и монах стал кормить его, как больного ребенка. Когда епископ поел, отец Антонио отставил миску и, оставаясь на коленях, осмелился коснуться его руки.

— Не огорчайтесь, сеньор, девушка обманута дьяволом.

— Нет, это моя вина. Я просил божественного знака, и небеса мне его даровали. В моем тщеславии я возомнил себя достойным совершить то, что удается лишь святым, избранным господом богом. А я — грешник и справедливо наказан за свое высокомерие.

— Все мы грешники, сеньор, но я удостоин чести много лет жить рядом с вами, и мне лучше других известна ваша безграничная любовь к ближним и неустанная забота о страждущих.

— Это говорит твоя собственная доброта, сын мой. Твоя привязанность ко мне, против которой я часто предостерегал тебя и которую я ничем не заслужил.

Отец Антонио с болью в сердце всматривался в изможденное лицо епископа, все еще сжимая его худую руку.

— Позвольте мне почитать вам, сеньор. Я бы

хотел узнать ваше мнение о том, что записал несколько дней назад.

Епископ почувствовал, как опечалился бедный монах из-за того, что он не смог совершить чуда. Его глубоко тронуло, что отец Антонио, забыв про собственные горести, делал все, чтобы отвлечь и успокоить его самого. Раньше он никогда не соглашался слушать записки трудолюбивого секретаря, но сейчас не нашел в себе сил отказать.

— Почитай, сын мой. Я с удовольствием послушаю.

Отец Антонио, с пылающими от радости щеками, поднялся на ноги, взял со стола стопку густо исписанных листов и сел на стул. Второй секретарь опустился на пол рядом с ним, и отец Антонио начал читать.

Он выбрал отрывок, описывающий торжественное объявление эдикта веры, auto de fe, которое увенчало карьеру фра Бласко в Святой палате, как упоминалось ранее, доставило безмерное удовольствие принцу, теперь королю Филиппу Третьему, и во многом послужило причиной назначения инквизитора епископом Сеговии.

Торжественная церемония состоялась в воскресенье, чтобы никто не мог найти предлог и уклониться от присутствия при совершении столь важного события. Участвовать в аутодафе считалось делом богоугодным. Для привлечения еще большего числа зрителей каждому полагалась индульгенция сроком на сорок дней. На центральной площади Валенсии воздвигли три огромных трибуны: одну — для инквизиторов, чиновников Святой палаты и священнослужителей, вторую — для городских властей и дворянства и третью — для грешников и их духовных пастырей. Празд-

нество началось прошлым вечером пышной процессией водружения хоругви инквизиции. Первыми под алым полотнищем с королевскими гербами прошли представители знатнейших родов города, за ними — монахи с белым крестом. Замыкал шествие приор доминиканского монастыря с хоругвью зеленого креста, окруженный монахами своего ордена с факелами в руках. Зеленый крест водружался над алтарем на трибуне инквизиторов, и доминиканцы охраняли его всю ночь. Белый крест отнесли на quemadero, кемадеро, площадь, где сжигали осужденных, которая охранялась солдатами, в чьи обязанности входила и подготовка костров.

В ночь перед аутодафе инквизиторы посещали приговоренных к сожжению, сообщали им об их участи и приставляли к каждому двух монахов, чтобы облегчить несчастному встречу с господом богом. Но в ту ночь отец Балтазар, младший инквизитор, остался в постели, мучаясь от колик, упросив дона Бласко освободить его от этого неприятного дела.

На заре у зеленого креста отслужили мессу и перенесли хоругвь к тюрьме инквизиции. Заключенных и монахов покормили завтраком и вывели из камер. Первых одели в sambenito, желтые туники, на одной стороне которых были написаны имена, место жительства и совершенные преступления, а на другой — нарисованы языки пламени, у тех, кого ждал костер. В одной руке каждый нес зеленый крест, в другой — зажженную свечу. Во главе процессии шел священник с крестом, обернутым в черное, и псаломщик, за ними — раскаявшиеся грешники, далее несли изображения или скелеты тех, кто, покинув

Испанию или умерев естественной смертью, избежал справедливой кары. И наконец — приговоренные к сожжению, в сопровождении монахов, проведших с ними ночь. Дворянин высокого происхождения нес ларец красного бархата, инкрустированный золотом, в котором лежали приговоры. Замыкали шествие приор доминиканского монастыря с хоругвью Святой палаты и инквизиторы.

Стоял прекрасный солнечный день, когда у молодых и старых играет кровь и особенно остро чувствуется радость жизни.

Процессия медленно продвигалась по кривым улочкам, пока не достигла площади. Не только с рисовых полей и оливковых рощ, разбросанных вокруг Валенсии, но и с виноградников Аликанте и плантаций финиковых пальм Элче стекались в город толпы людей. Окна окружавших площадь домов сверкали богатыми нарядами аристократии. Принц и его свита наблюдали за церемонией с балкона ратуши. Осужденных рассаживали на отведенной им трибуне в соответствии с тяжестью совершенных ими преступлений. Нижние скамьи занимали совершившие мелкие прегрешения, верхние — более серьезные. На двух кафедрах восседали судьи. Секретарь зачитал текст клятвы, согласно которой все присутствующие обязывались повиноваться Святой палате и способствовать ей в полном искоренении ереси и еретиков. Затем оба инквизитора поднялись на балкон к принцу, и тот на Евангелии поклялся защищать католическую веру и Святую палату, наказывать еретиков и вероотступников и всячески поддерживать инквизицию в ее борьбе за чистоту истинной веры.

Между кафедрами установили скамью, на которую поодиночке выводили преступников, и с одной из кафедр оглашали приговор. За исключением тех, кого ждал костер, они впервые узнавали о своей участи, и, так как многие от волнения теряли сознание, Святая палата из милосердия снабжала скамью перилами, дабы, упав, они не могли сильно расшибиться. В тот день один раскаявшийся грешник, измученный пытками, умер прямо на скамье. После вынесения последнего приговора осужденных передавали светской власти. Святая палата не только не убивала еретиков, но и советовала светской власти не пользоваться мечом правосудия, а действовать согласно писанию: «Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают их в огонь, и они сгорают». Еретиков сжигали, а благочестивые католики, поставившие дрова для костров, получали индульгенции.

На этом работа инквизиторов заканчивалась, и они удалялись. На площадь входили солдаты, вооруженные заряженными мушкетами. Они окружали осужденных и вели на место казни, защищая от ярости толпы, которая в богоугодной ненависти к еретикам могла разорвать их на куски, что иногда и случалось. Монахи сопровождали грешников, до самого конца борясь за их души и пытаясь привести их к покаянию и возвращению в лоно церкви. Среди них шли четыре крещеные мавританки, чья красота вызывала всеобщее восхищение, голландский купец, пойманный с книгой Нового завета на испанском языке, мавр, уличенный в том, что убил цыпленка, отрубив ему голову, двоеженец, капитан торгового

судна, который хотел вывезти еретика, разыскиваемого инквизицией, и грек, признанный виновным в убеждениях, оскорбляющих церковь. Альгвасил и секретарь инквизитора шли вместе с ними, чтобы проследить за правильным исполнением приговоров. На этот раз секретарем был отец Антонио, что дало ему возможность описать мельчайшие подробности этого волнующего события.

Кемадеро, площадь для сожжения, располагалась за городом. Для тех, кто выразил желание умереть в католической вере, пусть даже в самый последний момент, после вынесения приговора, к столбам привязывались гарроты. Раскаявшихся удушали, но их тела все равно сжигали на костре. Толпа смотрела на сожжение еретиков с жадностью, перед которой меркло даже наслаждение от боя быков, и трудно было найти более подобающее развлечение для члена королевской семьи. И какое духовное удовлетворение зрители получали, зная, что их участие умножает славу и могущество святой церкви! Тех, кого следовало удушить, задушили, и в небо взвились языки пламени. Люди кричали и хлопали в ладоши, заглушая вопли жертв. Спустились сумерки, костры догорели, и зрители потекли обратно в город, устав от долгого стояния и возбуждения, в полной уверенности, что не зря прожили этот день. Они заполнили таверны, бордели ломились от клиентов, и многие мужчины в ту ночь познали на себе чудодейственную силу клочка рясы дона Бласко, который они носили на груди.

Отец Антонио тоже устал, но первым делом доложил инквизиторам о свершении правосудия, а потом сел за стол и написал обстоятельный

отчет. Наконец, с чувством выполненного долга, он лег в постель и заснул сном праведника.

Все это, оттеняя самые значительные места, и прочел отец Антонио мрачно насупившемуся епископу. Он закончил, чувствуя, что смог сохранить в своем пересказе величие незабываемой церемонии. И поднял глаза, ожидая, как и любой автор, похвалы от довольного слушателя. Впрочем, что значила эта похвала по сравнению с главной целью: рассеять грустные мысли любимого и глубоко уважаемого учителя напоминанием о его звездных часах. Даже святой не мог не испытать чувства гордости, вспоминая тот великий день, когда столько проклятых еретиков низвергнулись в чистилище, обреченные на вечные муки, а сотни добропорядочных католиков открыли сердца господу богу. И к своему ужасу отец Антонио увидел, что по щекам епископа вновь катятся слезы, а руки сжаты в кулаки в попытке сдержать сотрясающие его рыдания.

Он отбросил рукопись, вскочил со стула и упал у ног дона Бласко.

— Мой господин, что случилось? — вскричал отец Антонио.— Что я сделал? Я читал для того, чтобы отвлечь вас.

Епископ поднялся и простер руки к кресту на стене.

— Грек,— простонал он.— Грек.

И, не в силах сдержаться, разразился громкими рыданиями. Монахи недоуменно переглянулись. В их присутствии обычно сдержанный епископ никогда не давал волю эмоциям. Наконец, дон Бласко нетерпеливо смахнул слезы.

— Моя вина,— пробормотал он,— только моя. Я совершил ужасный грех, и лишь безграничное

милосердие спасителя остается моей единственной надеждой на прощение.

— Мой господин, ради бога, скажите, в чем дело. Я весь в смятении, как моряк в бушующем море, когда его корабль лишился мачты и руля,— возвышенный слог отца Антонио объяснялся тем, что в его ушах еще звучала только что прочитанная рукопись.— Грек? Почему ваша светлость говорит о греке? Он — еретик и понес заслуженное наказание.

— Ты не понимаешь, о чем говоришь. Ты не знаешь, что мое прегрешение гораздо больше. Я просил божественного предзнаменования и получил его. Я думал, это проявление божьей милости, но на самом деле — знак его гнева. И я справедливо унижен в глазах людей, ибо я — ужасный грешник.

Стоя спиной к секретарям, епископ обращался не к ним, но к кресту, на котором он так часто видел себя с гвоздями, вбитыми в руки и ноги.

— Он был добрым стариком, в бедности своей щедрым к бедным, и за много лет нашего знакомства я не слышал от него дурного слова. С любовью и терпением смотрел он на все человечество, истинный дворянин души.

— Много людей, добродетельных в общественной и личной жизни, справедливо осуждены Святой палатой, ибо высокие моральные устои ни в коей мере не сравнимы со смертным грехом ереси.

Епископ обернулся и взглянул на отца Антонио полными болью глазами.

— И возмездие за грех — смерть,— прошептал он.

Грек, о котором шла речь, Деметриос Хри-

стопулос, уроженец Кипра, имел довольно значительное состояние и мог позволить себе заняться науками. Когда турки Селима Второго вторглись на остров и взяли штурмом его столицу, Никозию, они убили двадцать тысяч ее жителей. Фамагуста, где жил Деметриос, сдалась после года героической осады. Это произошло в 1571 году. Ему удалось бежать из обреченного города, спрятаться в окружающих его холмах, а затем на рыбачьей лодке добраться до Италии. У него не осталось ни гроша, и Деметриос Христопулос стал учителем греческого языка и толкователем древней философии. В недобрый час судьба свела его с испанским грандом, королевским послом в Риме, увлекавшимся модным в то время учением Платона. Гранд поселил его у себя во дворце, и они вместе читали бессмертные диалоги. Спустя три или четыре года гранд вернулся в Испанию, убедив грека поехать с ним. Его назначили наместником короля в Валенсии, там он и умер. Деметриос, уже почти старик, ушел из дворца и поселился в скромном домике вдовы, зарабатывая на жизнь уроками греческого языка.

Фра Бласко услышал о греке, еще преподавая теологию в университете Алькалы, и, став инквизитором Валенсии, навел о нем справки. Убедившись в добропорядочности и благопристойном образе жизни Деметриоса, фра Бласко пригласил его к себе. Ему понравилось смирение грека, и он спросил, не сможет ли тот обучить его языку, на котором был написан Новый завет. И в течение девяти лет, когда инквизитору удавалось выкроить часок-другой, они изучали премудрости древнего языка. Фра Бласко оказался способным учеником, и спустя несколько месяцев Деметриос, страст-

ный поклонник великой литературы Эллады, убедил его перейти к произведениям классиков. Сам он выше всех ставил Платона, и очень скоро они взялись за диалоги. От диалогов они перешли к Аристотелю. Инквизитор отказался читать «Илиаду», которую находил слишком жестокой, и «Одиссею», по его мнению чересчур фривольную, но восхищался древними драматургами. Однако, в конце концов, они неизменно возвращались к диалогам.

Благочестие, изящество и глубина мысли Платона пленили епископа. Истинный христианин мог одобрить многое из того, что написал великий философ. В новом мире, открывшемся фра Бласко, он находил желанный отдых после тяжких трудов, возложенных на него Святой палатой. За время их долгого и плодотворного общения инквизитор начал испытывать нечто, напоминающее привязанность к этому никчемному греку, и с каждым днем росло его восхищение Деметриосом, простотой его жизни, добротой, благородством и щедростью.

И тут, как гром с ясного неба, голландец, лютеранин, арестованный за то, что осмелился привести в Валенсию Новый завет, изданный на испанском языке, признался под пыткой, что передал греку один экземпляр. Вздернутый еще раз на дыбу, он показал, что они часто говорили о религии и по многим вопросам их мнения совпадали. Имея такие показания, Святой палате пришлось начать расследование. Как всегда, сбор сведений проводился в полном секрете, и грек даже не подозревал, какие тучи собираются над его головой. Прочтя окончательный отчет, фра Бласко ужаснулся. Ему не приходило в голову, что грек,

такой добропорядочный, такой смиренный, проведя долгие годы сначала в Италии, а потом в Испании, остался язычником и не принял католическую веру. Нашлись свидетели, подтвердившие под присягой его еретические взгляды. Он отрицал святую троицу, отвергал верховную власть папы римского и, преклоняясь перед святой девой, не признавал непорочного зачатия. Вдова, у которой он жил, слышала, что грек называл индульгенции ничего не стоящими клочками бумаги, а кто-то еще показал, что тот не принимает католической концепции чистилища.

Коллега фра Бласко, инквизитор дон Балтазар Кармона, доктор юриспруденции и строгий моралист, высохший коротышка с длинным острым носом, безгубым ртом и маленькими бегающими глазками, страдал от какой-то внутренней болезни, изрядно портившей его и без того нелегкий характер. Должность инквизитора давала дону Балтазару огромную власть, и он испытывал звериное наслаждение, пользуясь предоставленной свободой действий. Ознакомившись с результатами расследования, дон Балтазар потребовал ареста грека. Фра Бласко сделал все, чтобы спасти его. Он заявил, что, будучи схизматиком, Деметриос не мог быть еретиком и, следовательно, не подлежал суду Святой палаты. Но свидетельство подвергнутого пыткам лютеранина было не единственным; французский кальвинист, также под пыткой, признал, что грек в разговоре с ним одобрил протестантство. Под тяжестью таких улик чувство долга фра Бласко взяло верх над эмоциями. Старика Деметриоса арестовали и препроводили в казематы инквизиции. При допросе он признал все обвинения. Ему предложили отказаться от ложных убежде-

ний и принять католическую веру, но, к удивлению фра Бласко, грек отказался. Это считалось серьезным преступлением, и фра Бласко пришлось приложить немало усилий, чтобы уговорить дона Балтазара не отправлять Деметриоса на костер, а дать ему последнюю возможность загладить свой проступок. Он настоял на пытке, чтобы склонить грека к обращению в истинную веру и спасти таким образом его бессмертную душу.

При проведении пытки по закону требовалось присутствие обоих инквизиторов, представителя епископа и нотариуса, записывающего все сказанное на допросе.

Грека ввели в камеру, раздели и привязали за руки к веревкам, перекинутым через блок, привешенный к потолку, а к ногам подвесили по гире. Во имя господа от него потребовали сказать правду, ибо инквизиторы не хотели причинять ему страдания. Он молчал. Палач дернул за веревки, и грек взвыл от боли. Кожа на бедрах и лодыжках лопнула. Учитывая преклонный возраст Деметриоса, фра Бласко потребовал, чтобы того вздергивали на дыбе не более четырех раз, так как и здоровые мужчины редко выдерживали более шести или семи подъемов. Грек молил убить его и перестать мучить. Хотя фра Бласко по долгу службы присутствовал при пытке, от него не требовалось следить за ее ходом, и поэтому он сидел, уставившись в каменный пол. Но крики грека отдавались в ушах инквизитора, разрывая его сердце на части. Этим голосом его друг цитировал благородные периоды Софокла, этот голос, едва сдерживая рыдания, декламировал предсмертную речь Сократа. Перед каждым вздергиванием греку предлагали покаяться, но тот, сжимая зубы, мол-

чал. Когда его сняли с дыбы, он не мог идти, и его отнесли в темницу.

Хотя грек ни в чем не сознался, его приговорили к сожжению на основе имеющихся улик. Фра Бласко пытался спасти его жизнь, но дон Балтазар, доктор юриспруденции, заявил, что Деметриос виновен не менее других лютеран и должен понести то же наказание. Представитель епископа с ним согласился. Так как до аутодафе оставалось несколько недель, фра Бласко написал Великому Инквизитору с просьбой рассмотреть это дело. Великий Инквизитор ответил, что не видит оснований вмешиваться в действия особого трибунала. Исчерпав возможности спасти жизнь грека, фра Бласко продолжил борьбу за его душу. Он посылал к Деметриосу духовных пастырей, чтобы склонить его к принятию католической веры и покаянию, что спасло бы его душу и позволило задушить перед сожжением. Но грек не поддавался. Несмотря на пытку и долгое заключение, он сохранял ясность ума и на доводы монахов находил более тонкие контраргументы, приводя последних в неописуемую ярость.

И наконец, подошел срок аутодафе. Прежде эти торжества не волновали фра Бласко, ибо иудействующие и мориски, отправляющие запрещенные обряды, так же, как и протестанты, были преступниками в глазах бога и людей, и их страдания укрепляли церковь и государство. Но никто лучше его не знал благочестия, доброты и заботы о ближнем, свойственных греку. Несмотря на доводы его коллеги, по существу, очень жестокого человека, фра Бласко сомневался в справедливости вынесенного приговора. Они крупно поспорили, и дон Балтазар обвинил фра Бласко, что дружеские отноше-

ния с преступником заслонили ему само преступление. Сердцем фра Бласко чувствовал, что в этих словах есть доля правды. Не знай он грека, решение трибунала не вызвало бы у него никаких нареканий. Но, проиграв тело, он до самого конца боролся за душу Деметриоса и в ночь перед аутодафе решился на беспрецедентную вещь. Перед самым рассветом он вернулся в тюрьму инквизиции и приказал провести его в камеру грека. Последнюю ночь тот проводил в компании двух монахов. Фра Бласко отпустил их.

— Он отказался нас слушать,— сказал, уходя, один из монахов.

По губам грека пробежала улыбка.

— Ваши монахи, без сомнения, достойные люди, сеньор, но их умственные способности оставляют желать лучшего. Прошу извинить меня за то, что принимаю ваше преподобие, лежа в постели. Пытка очень ослабила меня, и я хочу сохранить силы для завтрашнего дня.

— Не будем тратить время на любезности,— резко ответил фра Бласко.— Через несколько часов тебя ждет ужасная смерть. Я бы с радостью отдал десять лет жизни, чтобы спасти тебя, но улики слишком весомы. Но, если ты примешь католическую веру, я смогу облегчить твою участь, освободив от мучительной смерти в языках пламени. Тебя задушат до того, как загорится костер. Я любил тебя, Деметриос, я у тебя в долгу и смогу искупить его лишь спасением твоей бессмертной души. Эти монахи невежественны и необразованны. Я пришел сюда, чтобы предпринять последнюю попытку и убедить тебя, что ты заблуждался.

— Вы только потеряете время, сеньор. Мы могли бы использовать его с большей пользой, если

поговорим, как бывало, о последних часах Сократа. Мне не разрешили взять в темницу книги, но у меня хорошая память, и я часто находил успокоение, повторяя про себя его предсмертную речь.

— Я не могу приказывать тебе, Деметриос, но умоляю выслушать меня.

— Я не вправе отказать вам, сеньор.

И инквизитор, обстоятельно и не без убедительности, пункт за пунктом, изложил основополагающие принципы, которыми церковь подкрепляла свои претензии и опровергала утверждения еретиков.

— Я бы перестал уважать себя,— ответил грек, выслушав фра Бласко,— если бы из страха перед мучительной смертью притворился, что согласен с этими ошибочными, по моему мнению, положениями.

— Я и не прошу тебя об этом. Я хочу, чтобы ты всем сердцем признал мою правоту.

— «Что есть истина?» — спрашивал Понтий Пилат. Человек так же бессилен изменить свою веру, как и успокоить бушующее море, когда ревет ураган. Я благодарен вашему преподобию за вашу доброту, и, поверьте мне, я не держу на вас зла за свалившуюся на меня беду. Вы действовали по велению совести, а что еще можно требовать от человека? Я — старик и не вижу большой разницы в том, умру ли я сейчас или годом позже. У меня к вам только одна просьба: не забывайте литературу Древней Греции. Она обогатит ваш ум и укрепит душу.

— Разве ты не страшишься гнева божьего, упорствуя в своем заблуждении?

— У бога много имен. Люди зовут его Иеговой,

Зевсом, Брамой. Чем имя, данное ему вами, важнее остальных? Но среди множества приписываемых ему качеств главным, как указывал еще Сократ, хотя он и жил сотни лет назад, является справедливость. Он, несомненно, понимает, что человек верит не в то, во что должен, а в то, во что может, и я просто не могу представить, что он будет карать свои создания за проступки, в которых они не виноваты. Надеюсь, ваше преподобие не сочтет гордыней мою просьбу покинуть камеру и позволить мне провести последние оставшиеся часы наедине с собой.

— Я не могу уйти. Я обязан помочь твоей душе избежать адского огня. Скажи мне хоть одно слово, дай мне надежду на твое спасение. Хотя бы намекни, что ты раскаиваешься, и я сделаю все, чтобы облегчить твои земные страдания.

Грек иронически улыбнулся:

— Вы играете свою роль, а я — свою. Вам суждено убивать, а мне — безропотно умирать.

Слезы слепили инквизитора, и он едва нашел дорогу из глубоких казематов.

Все это, отрывистым голосом, епископ рассказал монахам-секретарям. Отец Антонио старался запомнить каждое слово, чтобы на досуге записать рассказ дона Бласко в свою книгу.

— А потом я совершил ужасный проступок. Дон Балтазар лежал в постели, и я знал, что он не встанет до самого последнего момента. Я мог делать все, что сочту нужным. Мысль о том, что несчастный старик сгорит заживо, терзала меня, как дикий зверь. Его крики во время пытки все еще звенели в моих ушах. И я сказал, что, после разговора со мной, грек раскаялся и признал святую троицу. Я отдал приказ, чтобы его задуши-

ли перед сожжением, и послал палачу деньги, чтобы тот мгновенно умертвил старика.

Последнее требует короткого пояснения. Дело в том, что, затягивая или ослабляя гарроту, палач мог продлить агонию жертвы на долгие часы и, чтобы гарантировать осужденному быструю смерть, полагалось дать ему взятку.

— Я знал, что это грех. Но обезумел от горя и едва сознавал, что делаю. Это был грех, и до конца дней я буду корить себя за то, что совершил его. Я рассказал обо всем духовнику, и он наложил на меня покаяние. Выполнив его, я получил отпущение, но не могу простить самого себя, и события сегодняшнего дня — мое наказание.

— Но, мой господин, это был акт милосердия,— заметил отец Антонио.— Тот, кто провел с вами столько лет, сколько я, не может не знать нежность вашего сердца, И кто посмеет обвинить вас за то, что однажды вы позволили ему возобладать над чувством долга?

— Нельзя назвать мои действия актом милосердия. Кто знает, а вдруг мои доводы поколебали грека? И когда языки пламени коснулись бы его обнаженной плоти, он мог бы понять величие бога и, смирившись, признать свои ошибки. Многие в этот последний, ужасный миг, готовясь предстать перед создателем, спасали таким образом свои души. Я лишил грека этого последнего шанса, тем самым приговорив на вечные муки.

Из его груди вырвалось сдавленное рыдание:

— Вечные муки! Кто может представить себе вечные муки?! Грешник корчится в огненном озере, из которого поднимаются зловонные испарения, превращая каждый вдох в агонию. Его тело кишит червями. Жажда и голод мучают его. Он

кричит от боли, и по сравнению с этими криками рев урагана покажется мертвой тишиной. Дьяволы, отвратительные дьяволы насмехаются над ним и бьют его в ненасытной ярости. И вечность, как ужасна эта вечность! Пройдут миллионы лет, а он будет страдать, как и в первый день. Вот к чему я приговорил этого несчастного. Чем я смогу искупить такой проступок? О, я боюсь, боюсь.

Рыдания сотрясали его тело. Он смотрел на секретарей глазами, полными ужаса, и в глубине расширенных зрачков им мерещились отблески адского пламени.

— Позовите сюда всех монахов. Я скажу им, что согрешил и для спасения моей души велю подвергнуть меня круговому бичеванию.

Отец Антонио, упав на колени, молил епископа не навлекать на себя столь суровое испытание.

— Братья этого монастыря не любят вас, мой господин. Они сердиты из-за того, что сегодня утром вы не разрешили им пойти в церковь. Они не пощадят вас. Они будут бить кнутом вас изо всей силы. Монахи часто умирали под их ударами.

— Я и не хочу, чтобы они щадили меня. Если я умру, справедливость восторжествует. Принятым тобой обетом повиновения я приказываю тебе позвать их сюда.

Отец Антонио с трудом поднялся на ноги.

— Мой господин, вы не имеете права подвергать себя такому ужасному оскорблению. Вы — епископ Сеговии. Вы запятнаете весь епископат Испании. Вы унизите тех, кто высоко вознесен господом богом. Не впадаете ли вы в грех тщеславия, выставляя напоказ свой срам?

Никогда раньше не решался говорить он в та-

ком тоне с духовным отцом. Вопрос вернул епископа на землю. Только ли раскаяние владело им в желании подвергнуть себя публичному унижению? Он пристально посмотрел на отца Антонио.

— Я не знаю,— едва слышно прошептал епископ.— Сейчас я напоминаю человека, темной ночью бредущего по незнакомой стране. Возможно, ты и прав. Я думал только о себе и не предполагал, что мои действия каким-то образом отразятся на других.

Отец Антонио облегченно вздохнул.

— Вы двое, в уединении кельи, подвергнете меня бичеванию.

— Нет, нет, нет!— вскричал несчастный монах.— Я не смогу причинить боль вашему святому телу.

— Я снова должен напомнить тебе о принятых обетах?— с прежней суровостью спросил епископ.— Как ты можешь говорить, что любишь меня, если не хочешь наказать мою бренную плоть для успокоения души? Плети под кроватью.

Монах молча наклонился и достал запятнанные кровью плети. Епископ снял рясу и нижнюю рубашку, сплетенную из оловянной нити и шершавую, как терка. Отец Антонио, зная, что епископ обычно поддевает под рясу власяницу, ужаснулся, увидев это страшное орудие умерщвления плоти, но в то же время почувствовал благоговейный трепет. Без сомнения, он видел перед собой святого. И решил, что должен отразить этот подвиг в своей книге. Спину епископа покрывали шрамы от бичеваний, которым он подвергал себя не реже раза в неделю, и незажившие язвы.

Он уперся руками в стену и застыл. Секретари

нехотя подняли плети и один за другим опустили их на кровоточащую плоть. При каждом ударе епископ вздрагивал, но ни единого стона не сорвалось с его побелевших губ. Получив дюжину ударов, он упал на пол, потеряв сознание. Монахи подняли его, осторожно перенесли на кушетку, брызнули в лицо водой, но епископ не приходил в себя. Испугавшись, отец Антонио послал второго секретаря за доктором и велел сказать братьям-монахам, чтобы те ни в коем случае не беспокоили епископа. Он омыл иссеченную спину, озабоченно прощупал слабый пульс. Некоторое время отец Антонио думал, что епископ умирает, но, наконец, тот открыл глаза и, через мгновение вспомнив, что произошло, попытался улыбнуться.

— Как же я слаб. Я лишился чувств.

— Не разговаривайте, мой господин. Лежите тихо.

Но епископ приподнялся на локте.

— Дай мне рубашку.

По телу отца Антонио пробежала дрожь от одной мысли об этом орудии пытки.

— О, мой господин, вам нельзя надевать ее.

— Дай мне рубашку.

— К вам придет доктор. Вы же не хотите, чтобы он увидел вас облаченным в это ужасное одеяние.

Епископ упал на кушетку.

— Дай мне мой крест,— проговорил он.

Наконец появился доктор, велел пациенту оставаться в постели и обещал приготовить лекарство. Он прислал успокоительную микстуру, и, выпив ее, епископ быстро заснул.

16

На следующий день, несмотря на протесты отца Антонио, епископ поднялся, отслужил мессу и занялся обычными делами.

После полудня пришел монах, чтобы сказать, что дон Мануэль ждет в монастырской приемной и хотел бы с ним переговорить. Предположив, что брат решил навестить его, узнав, что он заболел, епископ попросил монаха поблагодарить гостя и передать, что неотложные дела не позволяют принять его у себя. Монах вернулся с известием, что дон Мануэль отказался уйти, не переговорив с братом. Со вздохом епископ попросил монаха привести дона Мануэля. Со времени приезда в Кастель Родригес он старался как можно реже встречаться с ним. Коря себя за недостаток великодушия, дон Бласко не мог перебороть неприязнь, которую испытывал к этому тщеславному, грубому и злому человеку.

Вошел дон Мануэль, разодетый в дорогие одежды и пышущий здоровьем, презрительно хмыкнул, оглядев голые стены кельи. Епископ указал ему на табурет.

— Нет ли у тебя чего-нибудь поудобнее? — недовольно пробурчал дон Мануэль.

— Нет.

— Я слышал, ты заболел.

— Легкое недомогание. Сейчас я совершенно здоров.

— Это хорошо.

Наступило долгое молчание.

— Ты хотел поговорить со мной,— сказал, наконец, епископ.

— Да, брат. Похоже, что вчерашним утром ты потерпел неудачу.

— Будь добр, Мануэль, скажи, зачем я тебе понадобился.

— С чего ты взял, что именно ты можешь излечить девушку?

— Я получил божественное подтверждение того, что девушка сказала правду, и, хотя и считал себя недостойным, взял на себя смелость исполнить волю святой девы.

— Ты ошибся, брат. Тебе следовало допросить ее более тщательно. Святая дева сказала, что ее излечит сын дона Хуана де Валеро, который лучше всех служил богу. Почему ты решил, что речь идет о тебе? Не руководило ли тобой недостойное христианина высокомерие?

Епископ побледнел:

— Что ты имеешь в виду? Девушка говорила о том, что святая дева прямо указала на меня.

— Девушка невежественна и глупа. Она действительно решила, что речь шла о тебе. Во-первых, потому что ты — епископ, а во-вторых, жителям этого городка слишком часто твердили о твоей святости.

Епископ мысленно взмолился господу богу, чтобы тот помог ему сдержать злость, вызываемую у него самодовольством дона Мануэля.

— Но откуда ты узнал истинные слова девы Марии?

Дон Мануэль довольно хмыкнул:

— У девушки есть дядя, Доминго Перес. Кажется, мы знали его в детстве. А ты, если не ошибаюсь, учился с ним с семинарии.

Епископ согласно кивнул.

— Доминго Перес — пьяница. Он ходит в та-

верну, где ужинают мои слуги. Он познакомился с ними, несомненно, для того, чтобы выпить за их счет. Вчера он нализался до чертиков. Естественно, они говорили об утренних событиях, ибо твое фиаско, брат, обсуждается на всех перекрестках. Доминго, оказывается, не ждал другого исхода и хотел предупредить тебя, но его не пустили в монастырь. И в точности повторил моим слугам то, что сказала его племяннице святая дева.

Доводы дона Мануэля смутили епископа. Он не знал, что ответить. В глазах брата он видел откровенную насмешку.

— А тебе не приходило в голову, брат,— продолжал дон Мануэль,— что речь шла обо мне?

— О тебе?— Епископ не верил своим ушам. Если бы он мог смеяться, то расхохотался бы ему в лицо.

— Почему это удивляет тебя, брат? Двадцать четыре года я служил моему королю. Бессчетное число раз рисковал жизнью, и мое тело покрыто боевыми шрамами. Я страдал от голода и жажды, пронизывающего холода проклятых Нидерландов и удушливой жары африканских пустынь. Ты сжег на кострах пару дюжин еретиков, а я, во славу господа, убивал их тысячами, разрушал дома и сжигал посевы. Я предавал мечу цветущие города, не щадя ни стариков, ни женщин, ни детей.

По телу епископа пробежала дрожь.

— Святая палата признает виновным лишь тех, кто нарушил закон. И предоставляет им возможность раскаяться и искупить грех. Справедливость для нее превыше всего, и, карая преступников, она освобождает невинных.

— Я слишком хорошо знаю этих голландцев,

чтобы рассчитывать на их раскаяние. Они предали веру и короля и заслужили смерть. Никто не сможет отрицать, что я хорошо служил господу богу.

Епископ задумался. Грубость и хвастовство дона Мануэля наполняли его отвращением. Казалось невероятным, что бог мог выбрать его исполнителем своей воли. Хотя, с другой стороны, он мог предпочесть дона Мануэля, с тем чтобы напомнить ему, дону Бласко де Валеро, о совершенном им непростительном грехе.

— Мне лучше других известна моя ничтожность,— сказал он.— Но, если ты предпримешь попытку совершить чудо и потерпишь неудачу, люди будут смеяться. Я заклинаю тебя не торопиться. Сначала надо как следует подумать о последствиях.

— Все уже решено,— холодно ответил дон Мануэль.— Я посоветовался с друзьями, а они тут самые влиятельные люди. Узнал мнение протоиерея и приора этого монастыря. Они все считают, что стоит попробовать.

И вновь епископ задумался. Он догадывался, что многие в городе завидуют высокому положению, достигнутому им и его братом, потому что их захудалый, хотя и дворянский, род не принадлежал к элите Кастель Родригеса. Возможно, они специально разжигали честолюбие Мануэля, чтобы потом облить грязью их обоих.

— Ты не должен забывать о том, что Каталину мог попутать дьявол.

— Если мне не удастся излечить девушку, значит — она ведьма, и ее следует передать в Святую палату для суда и наказания.

— Раз ты получил согласие городских властей и хочешь предпринять такую попытку, я не стану

возражать. Но прошу тебя держать все в полном секрете, чтобы при неудаче избежать крупного скандала.

— Благодарю тебя за совет, брат. Я об этом подумаю.

После ухода Мануэля епископ тяжело вздохнул и, встав на колени, долго молился перед черным крестом. А потом попросил отца Антонио привести к нему Доминго Переса.

— Если ты не застанешь его дома, то найдешь в таверне неподалеку от дворца, в котором остановился мой брат, дон Мануэль. Спроси Доминго, не сможет ли он незамедлительно прийти ко мне.

17

Вскоре отец Антонио ввел Доминго Переса в молельню епископа. Мужчины долго смотрели друг на друга. Они не виделись с тех пор, как Доминго удрал из семинарии Алькала де Энарес.

— Ваша светлость хотели меня видеть,— сказал Доминго.

Епископ улыбнулся:

— Много воды утекло с нашей последней встречи.

— Наши тропинки разошлись в разные стороны. Я думал, что ваша светлость давно забыли о существовании какого-то Доминго Переса.

— Мы знали друг друга всю жизнь. И я сожалею, что ты обращаешься ко мне с такой почтительностью. Прошло много лет, как я слышал, что друг называл меня просто Бласко.

Доминго широко улыбнулся:

— У великих нет друзей, дорогой Бласко. Это

неизбежная плата, от которой никуда не денешься.

— Давай-ка забудем о моем величии и поговорим как старые добрые приятели, какими мы были в далекой юности. Я не забыл о тебе, наоборот, старался быть в курсе твоих дел.

— Я думаю, моя жизнь не может служить поучительным примером для других.

Епископ опустился на табурет и предложил Доминго сесть на другой.

— Но еще больше я узнал о тебе из твоих писем.

— Но как? Я же не написал тебе ни одного письма.

— От себя — да. Но я узнал твой почерк, который хорошо запомнил по поэмам, написанным тобой в семинарии, в письмах отца и брата Мартина. Мне лучше других известно, что они не способны так правильно и изящно выражать свои мысли.

Доминго рассмеялся:

— Действительно, эпистолярные способности дона Хуана и Мартина невелики. Они могут сказать, что находятся в полном здравии, желают тебе того же, урожай выдался неважным, да вот, пожалуй, и все. И я на свой страх и риск оживлял эти сухие строчки городскими сплетнями и шутками, что пришли мне в голову.

— Как жаль, что ты бесцельно растратил великий талант, Доминго. То, что я постигал долгими часами усердных трудов, приходило к тебе по наитию. Да, меня часто ужасала смелость твоих мыслей, этого потока неожиданных идей, бившего из тебя, как вода из родника, но я никогда не сомневался в величии твоего ума. Тебя ждала бессмертная слава, и, если б не твой беспокой-

ный характер, ты бы стал гордостью нашей святой церкви.

— А вместо этого,— продолжил Доминго,— я всего лишь писарь, драматург, который не может найти актеров, согласных играть его пьесы, жалкий писака, сочиняющий проповеди священникам, которые слишком глупы, чтобы написать их самим, пьяница, в общем, пустое место. Я прошел мимо своего призвания, дорогой Бласко. Я нашел себя не в монастыре или у семейного очага, но на большой дороге, с ее приключениями, опасностями, случайными встречами. Я жил. Страдал от голода и жажды, натирал мозоли на ногах, бывал бит, терпел неудачи, словом, жил полной жизнью. И теперь, когда возраст дает о себе знать, я не раскаиваюсь в тех годах. Ибо я тоже спал на Парнасе. А когда я прихожу в далекую деревню и пишу письмо неграмотному крестьянину или сижу в своей маленькой комнатушке, в окружении книг, и рифмую диалоги пьес, которые никогда не увидят сцены, душа моя наполняется таким ликованием, что я не поменяюсь местами ни с кардиналом, ни даже с папой римским.

— Разве ты не боишься, что за все это придется расплачиваться? Возмездие за грех — смерть.

— Кто задает этот вопрос, епископ Сеговии или мой старый друг Бласко де Валеро?

— Я никогда не предал ни друга, ни врага. Тебе нечего бояться, если, конечно, ты не собираешься оскорблять нашу веру.

— Тогда я отвечу следующее. Мы приписываем господу богу великое множество добродетелей, но мне всегда казалось странным, что никто ни разу не упомянул о присущем ему здравом смысле. Я не могу поверить, что он создал столь

прекрасный мир, не желая, чтобы человек наслаждался его творением. Неужели он сделал бы звезды столь яркими, дал птицам такие сладкие голоса, а цветам — нежный запах, если бы не хотел, чтобы все это несло нам радость. Я грешил перед людьми, и люди осудили меня. Но бог создал меня человеком со всеми человеческими страстями, и неужели он дал мне их только для того, чтобы я их подавлял? Он дал мне мятежную душу и жажду жизни, и я сохраняю слабую надежду, что создатель, когда придет мой черед предстать перед ним, простит мои недостатки и отпустит мои грехи.

Исповедь Доминго взволновала епископа. Он мог бы сказать бедному поэту, что мы посланы на землю, чтобы презреть ее прелести, устоять перед искушениями, подчинить себе желания плоти. Чтобы в конце жизненного пути лучшие из нас, несчастных грешников, были признаны достойными занять место среди небожителей. Но чего он мог достигнуть, убеждая Доминго? Оставалось лишь молиться о том, чтобы божья благодать открылась этому грешнику до того, как он отойдет в мир иной, и он успел покаяться в содеянном. В молельне повисло тяжелое молчание.

— Сегодня я послал за тобой не для того, чтобы наставить тебя на путь истинный,— сказал епископ.— Мне не составило бы труда опровергнуть эти рассуждения, но еще с семинарии я помню о твоем умении, жонглируя словами, превращать черное в белое и наоборот. И готов поверить, что большая часть твоей речи предназначалась для того, чтобы подразнить меня. У тебя есть племянница.

— Да.

— Что ты думаешь об этой истории, которая взволновала весь город?

— Каталина — добродетельная и правдивая девочка. И благочестивая католичка.

— Ты веришь в то, что ей явилась пресвятая дева?

— Теперь — да, но сомневался до вчерашнего дня, пока она не повторила мне истинные слова девы Марии. Я сразу понял, кто должен излечить ее, и побежал в монастырь, чтобы оградить тебя от скандала. Но твой секретарь указал мне на дверь.

Епископ вздохнул:

— Он заботился о моем благе. Но в разговоре со мной девушка сказала, что пресвятая дева назвала меня.

— Для ребенка, который чуть ли не каждый день слышал о твоей святости, это естественная ошибка. На самом деле святая дева сказала, что ее излечит тот из сыновей дона Хуана, кто лучше всех служил богу.

— Это мне уже говорили.

— И ты не понял, кого имела в виду дева Мария? Это же ясно, как божий день.

Епископ побледнел:

— Моего брата Мартина?

— Пекаря,— кивнул Доминго.

На лбу епископа выступили крупные капли пота. Он дрожал, как осиновый лист.

— Это невозможно. Он, без сомнения, хороший человек, но в нем нет ничего святого.

— Почему же невозможно? Только из-за того, что он не получил образования? Но одна из загадок нашей веры состоит в том, что бог, дав человеку разум и тем самым вознеся его над про-

чими тварями, никогда, если верить святому писанию, не придавал особого значения развитию умственных способностей. Твой брат добр и скромен. Жене он верный муж, детям — любящий отец. Он чтит родителей. Он кормит их, когда они голодны, и ухаживает за ними во время болезни. Он покорно сносит презрение отца, вызванное тем, что он, рожденный дворянином, в силу обстоятельств занялся делом, унизившим его в глазах дураков. Как отец наш, Адам, он добывает хлеб насущный в поте лица своего и гордится тем, что его хлеб — лучший в городе. Радости жизни он принимает с благодарностью, печали — со смирением. Он помогает нуждающимся. С ним приятно вести беседу, а с его лица никогда не сходит улыбка. Пути господни неисповедимы, и вполне вероятно, что пекарь Мартин, в его трудолюбии и простоте, добрый и веселый, служил ему лучше, чем ты, искавший спасение души в молитве и покаянии, или твой брат Мануэль, гордящийся тем, что убивал женщин и детей и превращал в руины цветущие города.

Епископ провел рукой по лбу. Его лицо исказила гримаса душевной боли.

— Ты слишком хорошо знаешь меня, Доминго, чтобы подумать, что я решился на эту попытку, не заглянув в свое сердце. Я понимал, что недостоин такой чести, и моя душа была в смятении, но я принял божественное предзнаменование, выказанное мне, как сигнал к действию. Я решил, что именно меня господь бог выбрал исполнителем своей воли. И ошибся. А теперь мой брат Мануэль хочет излечить девушку.

— Еще с детства он больше отличался силой, чем глубиной ума.

— Он так же упрям, как и глуп. Знать Кастель Родригеса поощряет его, чтобы после неудачи вдоволь посмеяться над ним. Он получил согласие протоиерея и приора этого монастыря.

— Любой ценой ты должен остановить его.

— Я не в силах этого сделать.

— Если твой брат будет упорствовать в собственной глупости, он попытается свалить вину за неудачу на несчастного ребенка. И люди его поддержат. Они не пожалеют ее. Во имя нашей дружбы я умоляю тебя защитить Каталину от его злобы и слепой ненависти толпы.

— Крестом, на котором распяли нашего господа, я клянусь, что отдам жизнь, но спасу ребенка.

Доминго встал:

— Благодарю тебя от всего сердца. Прощай, мой друг. Мы идем разными путями и вряд ли встретимся вновь. Прощай навсегда.

— Прощай. О, Доминго, как я несчастен. Молись за меня, молись каждый день, чтобы господь бог в доброте своей избавил меня от тяжелого бремени этой жизни.

И так печален был его вид, что старый пьяница, охваченный состраданием, неожиданно обнял епископа и расцеловал в обе щеки. Грешник прижал святого к груди и быстро ушел.

18

Странные события случились той ночью. Полная луна, сияя неистовой белизной, величественно плыла по безоблачному небу, густой синевой напоминающему плащ пресвятой девы, в котором та явилась Каталине. Жители Кастель Родригеса спали. И тут тишину ночи прорезал громовой звон

колоколов, способный разбудить и мертвого. Проснулся весь город. Одни бросились к окнам, другие полураздетые выскочили на улицы. Звон колоколов в столь неурочный час обычно означал, что где-то занялся пожар, и женщины начали вязать вещи в узлы, потому что никто не мог предсказать, как далеко распространится огонь, и каждый стремился спасти самое ценное до того, как сгорит его дом. Некоторые выкидывали через окна перины, кое-кто вытаскивал мебель.

Толпа запрудила улицы и потекла к центральной площади, гордости Кастель Родригеса. Все спрашивали друг друга, в какой части города бушует огонь. Мужчины ругались, женщины заламывали руки. Они метались взад-вперед в поисках горящих домов. Они смотрели на небо, чтобы по всполохам определить место пожара. Но ничего не видели. На площади сошлись люди изо всех кварталов города, и нигде ничего не горело. Затем, словно пронесшийся ветер, их захватила мысль о том, что какие-то не в меру разыгравшиеся юнцы решили колокольным звоном вытащить всех из постели и напугать до полусмерти. Разъяренные мужчины полезли на колокольни, чтобы задать им хорошую трепку. Там их ждало удивительное зрелище. Веревки без всякого человеческого участия дергались вверх и вниз. На мгновение они застыли в изумлении, а затем с факелами и фонарями двинулись к крутым ступенькам, ведущим в звонницы. Достигнув площадки, где висели колокола, они замерли, оглушенные их звоном. Колокола качались из стороны в сторону, и языки гулко били в их бронзовые бока. Казалось, колокола сошли с ума. Они звонили сами по себе.

В ужасе мужчины посыпались вниз по сту-

пенькам, будто за ними гнался дьявол. Выбежали на улицы и, отчаянно жестикулируя, начали рассказывать о том, что видели.

Это было чудо. В колокольне звонил сам господь бог, и никто не знал, принесет ли этот звон радость или горе. Многие падали на колени и громко молились. Грешники каялись, страшась божьего гнева, священники распахнули двери церквей, и горожане заполнили их до отказа, умоляя всевышнего смиловаться над своими созданиями. И очень нескоро, в молчании и тревоге, разошлись они по домам.

19

Трудно сказать, кому первому пришла в голову эта мысль, но очень скоро весь Кастель Родригес знал, что ночное происшествие имеет прямое отношение к явлению пресвятой девы Каталине Перес. Горожане говорили об этом на улицах, священнослужители — в церквах, аристократы — во дворцах. Монахи и монахини, захваченные водоворотом странных событий, не могли молиться.

И вскоре ни у кого не осталось сомнений в истинном значении таинственных слов девы Марии. Многие из священнослужителей задавались вопросом: а угоден ли богу чрезмерный аскетизм епископа и нет ли гордыни в его излишнем смирении? Зато дон Мануэль был человеком без сучка и задоринки. Лучшие годы он отдал служению богу и королю. Его величество, помазанник божий, неоднократно награждал верного слугу. Только на нем, доне Мануэле де Валеро, могла остановить свой выбор пресвятая дева. Представительная де-

легация города посетила дона Мануэля и объявила ему об этом. Тот, как и полагается солдату, решительно ответил, что готов исполнить волю девы Марии. Днем дон Мануэль исповедовался у протоиерея и получил отпущение грехов, а вечером отменил званый ужин, ибо утром следующего дня собирался принять святое причастие.

Приор доминиканского монастыря лично сообщил епископу о принятом решении и попросил его возглавить процессию братьев-монахов, так как они собирались принять участие в торжественной церемонии. Распознав затаенную злобу предложения приора, епископ, тем не менее, поблагодарив, согласился. Зная склонность Доминго к парадоксальным идеям, он не принял его толкования воли святой девы, но ни на секунду не сомневался, что дон Мануэль недостоин чести совершить чудо. Он с радостью отказался бы от участия в этом представлении, но понимал, что его отказ будет расценен как гордыня. Кроме того, он обещал Доминго оберегать девушку.

На следующий день, с тяжелым сердцем, в сопровождении двух верных секретарей, епископ шел к собору во главе процессии монахов. Толпа раздавалась в стороны, освобождая проход. Он поднялся по ступенькам и сел в кресло у алтаря. Хоры заполнила городская знать. Появился дон Мануэль в сопровождении дворян и сел по другую сторону алтаря. Он был в парадных доспехах, сверкающих золотом, и плаще с зеленым крестом ордена Калатравы. Дворяне на хорах громко переговаривались между собой и смеялись, здоровались и улыбались друг другу. Не отставал от них и простой люд, стоявший внизу. Казалось, они пришли не в церковь, а на бой быков. Епископ,

нахмурив брови, думал о том, а не приструнить ли ему собравшихся.

Каталина, опираясь на костыль, стояла у ступенек, ведущих к алтарю.

Но вот собор наполнили торжественные звуки органа, и шум быстро стих. Из ризницы вышли священнослужители в дорогих ризах, надеваемых по самым торжественным случаям, подаренных церкви набожными благородными дамами. После мессы дон Мануэль и Каталина приняли святое причастие. И наступил долгожданный момент.

Дон Мануэль, расправив плечи, уверенный в своих силах, спустился по ступенькам к девушке, положил ей на голову руки и твердо, будто командуя солдатами, произнес требуемые слова:

— Во имя отца и сына и святого духа, я приказываю тебе, Каталина Перес, встать, отбросить ненужный костыль и идти.

Девушка, зачарованная его видом, испуганная, встала, отбросила костыль, шагнула вперед и с отчаянным криком рухнула на пол.

Толпа взревела от ярости.

— Ведьма! Ведьма!— кричали мужчины и женщины.— Костер! Костер! Сжечь ее! Сжечь!

В едином порыве они подались вперед, чтобы разорвать несчастную на куски. Некоторые падали, и их безжалостно давили напиравшие сзади. Церковь наполнилась воплями боли.

Епископ со сверкающими глазами вскочил на ноги.

— Назад, назад!— прогремел его голос.— Кто посмел осквернить храм божий?! Назад, говорю я вам, назад!

И так страшно кричал он, что толпа застыла, будто перед ней разверзлась пропасть.

— Грех, грех! — ревел епископ, грозя горожанам сжатым кулаком. — На колени, на колени! Молитесь, чтобы вам простилось оскорбление, нанесенное святому месту.

И многие, рыдая, повалились на колени, а остальные, парализованные ужасом, не отрываясь, смотрели на извергающего громы и молнии епископа. Тишину нарушали лишь истерические всхлипывания женщин.

— Слушайте, слушайте, что я вам скажу, — властно, но уже без угрозы продолжал епископ. — Вам известны слова, с которыми пресвятая дева обратилась к Каталине Перес, и вы знаете о чудесах, происшедших в этом городе и взбудораживших ваши умы и сердца. Дева Мария сказала этой девушке, что ее излечит сын дона Хуана де Валеро, который лучше всех служил господу богу. В нашем грешном тщеславии я, кто обращается к вам, и мой брат дон Мануэль опрометчиво решили, что речь шла об одном из нас. И были жестоко наказаны за нашу самоуверенность. Но у дона Хуана есть еще один сын.

Толпа ответила веселым смехом.

— El panadero, el panadero, пекарь, пекарь, — закричали присутствующие. И постепенно их крики слились в ритмичный рев, скандирование: — El panadero, el panadero!

— Тихо! — вскричал епископ, и смех прекратился. — Смеетесь? Что может быть хуже смеха дураков! Господь бог требует от вас справедливости в поступках, сострадания к ближнему и смирения. Так-то вы чтите нашего господина? Лицемеры и богохульники. Грех, грех, грех!

Страшен был его гнев. С каждым словом, выплеснутым им в лицо, горожане подавались назад.

— Есть ли здесь слуги Святой палаты?

Единый вздох пронесся по церкви, ибо одно упоминание об инквизиции вызывало трепет у самых смелых. Восемь мужчин спустились с хоров и встали позади епископа.

— Слушайте. Святая палата ничего не делает второпях или по злобе. Она милосердна к раскаявшимся, а если наказывает, то по справедливости. Только она может вершить суд над этой несчастной калекой. Святая палата определит, обманута ли она или одержима дьяволом. Если чуда не свершится, слуги инквизиции отведут девушку в особый трибунал. Но воля святой девы еще не исполнена. Где Мартин де Валеро?

— Здесь, здесь,— послышались голоса.

— Пусть он пройдет вперед.

— Нет, нет, нет,— это кричал Мартин, пекарь.

— Если он не хочет идти, приведите его.

Несколько мужчин подтащили отчаянно сопротивлявшегося Мартина к ступеням и, отступив, смешались с толпой. Пекарь остался один. В церковь он пришел прямо из пекарни, в рабочей одежде, даже не вымыв руки, чтобы не пропустить чуда, о котором говорил весь город. Лицо его раскраснелось от жара печи и недавней схватки, и на лбу блестели крупные капли пота.

— Подойди,— приказал епископ.

Мартин тяжело поднялся по ступенькам.

— Брат, брат, что ты со мной делаешь?— в отчаянии восклицал он.— Как я могу справиться с тем, что не удалось тебе. Я — простой человек и такой же христианин, как и мой сосед.

— Молчи.— Епископ, разумеется, и не рассчитывал, что пекарь может совершить чудо, но

подумал о нем как о единственном средстве спасения Каталины от ярости толпы. Ему требовалась короткая передышка, чтобы утихомирить страсти. И теперь он знал, что девушка в безопасности.— Приведите девушку.

Каталина, сотрясаясь от рыданий, лежала там, где и упала, закрыв лицо руками. Два инквизитора подняли ее на ноги, помогли подняться по ступенькам и подвели к епископу. Зажав под мышкой костыль, Каталина с мольбой простерла к нему руки. По щекам девушки катились слезы.

— О, мой господин, пожалейте меня. Не надо, не надо, умоляю вас, из этого ничего не выйдет. Отпустите меня домой, к маме.

— На колени!— вскричал епископ.— На колени!

Всхлипывая, она опустилась на колени.

— Возложи руку ей на голову,— обратился епископ к брату.

— Я не могу. Не хочу. Я боюсь.

— Под страхом отлучения от церкви я приказываю тебе сделать то, что сказал.

Дрожь пробежала по телу Мартина, ибо он чувствовал, что в случае неповиновения брат, не колеблясь, приведет в исполнение эту страшную угрозу. И возложил трясущуюся руку на голову девушки.

— А теперь повтори то, что сказал твой брат Мануэль.

— Я ничего не помню.

— Тогда повторяй за мной. Я, Мартин де Валеро, сын Хуана де Валеро.

— Я, Мартин де Валеро, сын Хуана де Валеро,— повторил Мартин.

Епископ громко и отчетливо закончил фразу, и Мартин едва слышным шепотом повелел девушке отбросить костыль и идти. Собрав все силы, Каталина поднялась, отчаянным жестом отбросила костыль, шагнула вперед, покачнулась... И не упала. Она стояла. А затем, с радостным криком, забыв, где находится, сбежала вниз по ступенькам.

— Мама, мама!

Мария Перес, вне себя от счастья, бросилась ей навстречу и прижала к груди.

На мгновение толпа застыла в изумлении, а затем началось что-то невообразимое.

— Чудо, чудо!

Люди кричали, хлопали в ладоши, женщины махали носовыми платочками, в воздух взлетали шляпы. Многие плакали от радости. Своими собственными глазами они видели чудо.

И вдруг в соборе воцарилась тишина и все взгляды устремились на епископа. Мартин, едва поняв, что произошло, давно смешался с толпой, и епископ, в потрепанной, много раз штопанной рясе, стоял один, спиной к алтарю, в ореоле яркого света.

— Святой, святой! — кричали горожане. — Будь благословенна женщина, родившая тебя. Дозволь нам удалиться с миром. О, счастливый, счастливый день!

Они не знали, что говорили. Они были вне себя от радости, любви и страха. И только Доминго заметил разбитое стекло в одном из витражей, сквозь которое, совершенно случайно, упал на епископа солнечный луч. Епископ поднял руку, требуя тишины, и мгновенно крики ликования сменились молчанием. Он постоял, оглядывая море обращенных к нему лиц, грустный и суровый,

а затем, возведя глаза к небу, словно обращаясь к создателю, неторопливо и торжественно начал читать никийский символ веры. Все его слушатели знали эти слова, так как каждое воскресенье слышали, приходя к мессе, и собор наполнил низкий гул голосов собравшихся, шепотом повторявших молитву вслед за епископом. Он дочитал до конца. Затем повернулся и пошел к алтарю. Окружавшее его сияние пропало, и Доминго, взглянув на разбитый витраж, увидел, что солнце спустилось в своем неустанном движении по небосклону и ни один луч не смог проникнуть сквозь пробоину в цветном стекле.

Епископ распростерся перед алтарем в молчаливой молитве. Огромная тяжесть свалилась с его измученного сердца, ибо ему стало ясно, что, хотя на голове девушки лежала рука Мартина, именно он был исполнителем божьей воли и он, Бласко де Валеро, совершил чудо в его честь. Этим господь бог показал, что прощает своему ничтожному слуге совершенный им грех, когда тот, по доброте души, приказал задушить грека перед сожжением. Бог, который знал все, прошлое, настоящее и будущее, видел грешника насквозь и сам приговорил его к вечным страданиям. Можно жалеть мучающихся грешников, но никто не смел оспаривать правосудие господа.

Епископ встал и медленно пошел к ступенькам, ведущим вниз. За ним последовали два его секретаря, приор и доминиканцы. На верхней ступени дон Бласко остановился.

— Да пребудет с вами благословение господина нашего Иисуса Христа, любовь божья и причастие святого духа.

Он сошел по ступеням. Толпа раздалась в сто-

роны, пропуская епископа и его спутников. Монахи запели Te Deum Laudamus, и их сильные голоса наполнили церковь. Епископ, как в трансе, шел сквозь коленопреклоненное многолюдье, благословляя окружавших его горожан. Он не заметил иронического взгляда Доминго.

В этот момент ударили колокола собора, и вскоре к их звону присоединились колокола остальных церквей города. На этот раз обошлось без вмешательства сверхъестественных сил. Дон Мануэль как настоящий солдат не оставил без внимания ни малейшей детали и позаботился о том, чтобы колокола собора отметили чудо, которое он рассчитывал совершить.

Распахнулись резные двери собора, и епископ вышел в слепящий свет августовского дня. Толпа устремилась вслед и сопровождала его и монахов до ворот доминиканского монастыря. Епископ хотел войти в них, но громкие крики остановили его. Люди хотели, чтобы он говорил с ними. У стены монастыря находилась кафедра, которую использовали, когда в город приезжал проповедник, знаменитый своим красноречием, и церковь монастыря не могла вместить всех желающих услышать его. Приор выступил вперед и сказал епископу, что народ умоляет его согласиться с их просьбой. Епископ огляделся, словно не понимал, где находится. Со стороны могло показаться, что до этого момента он не сознавал, что его окружает столько людей. На мгновение он застыл, собираясь с мыслями, а затем молча поднялся на кафедру.

— Невозможно познать глубину сердца человека, невозможно представить, о чем он думает. Как же тогда можем мы найти бога, который

создал все вокруг, и узнать его мысли или постигнуть его намерения?

Мощный голос епископа достигал самых дальних рядов, и даже когда он понижал его, все отчетливо слышали каждое слово. В страстном обличении грехов человеческих голос его гремел раскатами грома. Внезапно он замолчал, и тишина казалась мгновением страшного суда. Люди содрогались, когда он напомнил им о скоротечности жизни, об опасностях, подстерегающих детей Адама от колыбели до могилы, о мимолетности удовольствий, о страданиях души. Они ужасались, когда он расписывал адские муки грешников. Они плакали, когда тающим от нежности голосом он напомнил о вечном блаженстве рая. Многие раскаялись в своих грехах и с того момента стали другими людьми. В заключение он воздал хвалу деве Марии и господину нашему Иисусу Христу. Никогда раньше не говорил он со столь яростным красноречием.

Когда епископа провели в келью, он так ослаб, что позволил верным секретарям уложить его в постель. Душевные переживания и усталость отняли у него все силы.

20

Всю ночь в городе царило веселье. В тавернах не успевали наполнять кружки и рога для вина. Никто не сомневался, что чудо совершил святой епископ, и всех тронула его скромность, проявившаяся в том, что он излечил девушку не сам, а посредством брата, пекаря. Его пример показал всем, что только смирением можно добиться божественного расположения. Многие клялись,

что видели, как он шел по воздуху, в двух футах от земли, как говорили одни, или в четырех, как утверждали другие.

21

Когда горожане вслед за епископом покинули собор, Мартин, сжавшийся в комок в надежде, что никто не обратит на него внимания, остался в соборе. Он ждал, чтобы уйти незамеченным, но чувствовал, что ему надо спешить, так как в связи с происшедшим возрастет число покупателей, а он оставил пекарню на двух учеников и опасался, что они не смогут всех обслужить. Он не только выпекал хлеб, но и жарил мясо для тех, кто не мог сделать этого дома. И многие из горожан могли подумать о том, чтобы отпраздновать свершение чуда. Решившись, наконец, выйти на улицу, Мартин заметил лежащий на мраморных плитах костыль Каталины, поднял его, так как не любил беспорядка, и унес с собой.

Протоиерей, вернувшись домой и сев за обеденный стол, вспомнил, что костыль остался в соборе, и подумал, что такую реликвию не стоит упускать из виду. Он сразу послал слугу за костылем и очень расстроился, когда тот вернулся с пустыми руками. После обеда он распорядился, чтобы костыль нашли. На следующий день протоиерею доложили, что костыль стоит в углу пекарни Мартина. Он вновь послал слугу, Мартин отдал костыль, и протоиерей убрал его в шкаф, еще не решив, что с ним делать дальше.

Донья Беатрис, прослышав о свершившемся чуде, направила к Марии Перес двух монахинь, велев подарить девушке золотую цепочку, если та

действительно излечилась, попросив взамен костыль, который аббатиса намеревалась поместить в приделе святой девы, и осталась весьма недовольной, когда, вернувшись, монахини доложили, что ни Каталина, ни ее мать и дядя понятия не имеют, куда подевался сей предмет. Однако аббатиса твердо решила добыть его и, не доверяя монахиням в столь деликатном деле, пригласила к себе управляющего своими поместьями и приказала ему выяснить, кто завладел костылем, а затем от ее имени потребовать вернуть святую реликвию кармелитскому монастырю. Спустя два или три дня управляющий сообщил аббатисе, что костыль у протоиерея, но тот не желает с ним расставаться.

Донья Беатрис очень рассердилась и высказала управляющему много нелицеприятных слов, а потом написала протоиерею вежливое письмо, в котором попросила отдать костыль, чтобы она могла поместить его в церкви, на ступенях которой святая дева явилась Каталине. Она сказала, что трудно найти лучшее место для реликвии, которую следует сохранить в назидание будущим поколениям. Протоиерей прислал не менее вежливый ответ, в котором сообщал, что, несмотря на искреннее желание выполнить волю аббатисы, он не может пойти ей навстречу. Далее протоиерей резонно заметил, что после совершения чуда костыль остался в соборе. И этим, по его мнению, господь бог сам определил место нахождения святой реликвии. После первых писем последовали и другие, уже не такие вежливые. Аббатиса становилась все более категоричной, а протоиерей — упрямым. Конфликт разгорался, и сторонники враждующих сторон обменивались не-

лестными эпитетами, которыми награждали друг друга их преподобия. В частности, аббатиса назвала протоиерея наглым ослом, снедаемым сладострастием. Тот не остался в долгу, заметив со вздохом, что поведение этой старой карги порочит всю католическую веру.

Наконец, донья Беатрис решила, что бывает предел и христианскому терпению, и дала волю праведному гневу. Она вновь послала за управляющим. На этот раз донья Беатрис в ультимативной форме потребовала вернуть костыль, в противном случае угрожая лишить протоиерея поддержки ее брата, герцога, в одном сложном судебном процессе. Кроме того, она просила передать, что не может больше оставлять без внимания скандальные слухи о связи протоиерея с некоей женщиной и будет вынуждена передать имеющиеся в ее распоряжении сведения епископу провинции. На этот раз удар попал в цель. Протоиерей по протекции герцога получил должность каноника в кафедральном соборе Севильи, но церковный капитул возбудил судебное дело, требуя его отставки на основании того, что он жил в другом городе. Протоиерей не хотел терять это доходное место. Закон, однако, был против него, и на благополучный исход процесса протоиерей мог рассчитывать лишь в случае вмешательства могущественного герцога. Опять же епископ провинции придерживался строгих моральных взглядов и мог серьезно воспринять обвинения аббатисы. Короче, протоиерей понял, что проиграл, и передал управляющему злосчастный костыль. Чтобы как-то скрасить свое поражение, он послал аббатисе письмо, в котором, выразив глубокое уважение к ее добродетели, сообщил, что тща-

тельно обдумал ее предложение и пришел к выводу, что костыль должен храниться в кармелитской церкви.

Аббатиса украсила костыль серебром и выставила в часовне святой девы в назидание верующим.

22

В замешательстве, вызванном толпой, устремившейся за епископом, Доминго увел сестру и племянницу домой. Мария хотела уложить Каталину в постель, дать ей слабительное и послать за цирюльником, чтобы пустить девушке кровь, но та не хотела об этом и слышать и ради забавы бегала вверх-вниз по лестнице. Приходили соседи, чтобы поздравить ее и еще раз восхититься свершившимся чудом. Снова и снова Каталина рассказывала, как выглядела святая дева и что она говорила. Во второй половине дня Каталину пригласили в один из дворцов, и благородные дамы млели от восторга, прося ее пройтись взад-вперед, будто никогда не видели шагающего человека. Она получила массу подарков: носовые платки, шелковые шарфы, чулки и даже платья, пусть и слегка поношенные, а также золотую цепочку, серьги с драгоценными камнями и браслет. У Каталины никогда не было и сотой доли такого великолепия. Наконец, предупредив, что она не должна задирать нос из-за того, что святая дева излечила ее, и знать свое место, Каталину отпустили домой.

Спустилась ночь. Мария, Доминго и Каталина поужинали. Мать и дочь в сотый раз обговаривали подробности незабываемого события. Домин-

го предложил им пойти спать, но Каталина ответила, что слишком возбуждена и не сможет заснуть. Тогда, чтобы успокоить девушку, он начал читать пьесу, которую недавно закончил. Каталина слушала вполуха, но Доминго, захваченный мелодией своей поэзии, ничего не замечал. Неожиданно она вскочила из-за стола.

— Это он,— воскликнула Каталина. С улицы донеслись звуки гитары.

— Кто он? — сурово спросил Доминго, ибо авторы не любят, когда их прерывают на полуслове во время чтения собственного произведения.

— Диего. Мама, можно мне пойти к решетке?

— Я думала, в тебе есть хоть капля гордости,— ответила Мария.

Решетка, о которой шла речь, закрывала окно, выходящее на улицу, не столько от воров, сколько от пылких влюбленных. Будучи хорошо воспитанной девушкой, Каталина знала, что мужчины похотливы, а девственность — главная добродетель незамужней женщины. Поэтому она даже не думала о том, чтобы пустить возлюбленного в дом, но, по обычаю, девушка могла по вечерам подходить к зарешеченному окну и говорить с ним о тех загадочных пустяках, что занимают ума и сердца влюбленных.

— Он оставил тебя, когда с тобой случилось несчастье,— продолжала Мария,— а как только ты стала знаменитостью и о тебе заговорил весь город, сразу прибежал, поджав хвост.

— О, мама, ты плохо знаешь мужчин,— улыбнулась Каталина.— Они слабы и непостоянны. Я не представляю, что бы произошло, принимай мы всерьез каждую их глупость. Вполне естественно, что он не хотел жениться на калеке. Его

отец и мать нашли ему достойную пару. Но он сто раз говорил, что любит меня больше жизни.

— Пусть она идет,— вмешался Доминго.— Она любит его, и этим все сказано. Мне кажется, он ничем не хуже других юношей этого распутного века.

Пожав плечами, Мария встала, взяла высокую свечу и взглянула на брата.

— Пойдем на кухню, Доминго. Я хочу дослушать твою пьесу.

— Нет,— возразил тот,— у меня пропало настроение. Ты, Мария, хорошая женщина, но не можешь отличить пентаметра от коровьего хвоста. Я могу читать свои пьесы только перед такой аудиторией, которая хорошо разбирается в поэтических ценностях.

Они пошли спать, а Каталина подбежала к окну, и ее сердце радостно забилось, когда в ночной тьме она разглядела знакомую фигуру.

— Диего.

— Каталина.

И вот, наконец, пришла пора представить читателю нашего героя.

Его отец, портной, обшивал всю знать Кастель Родригеса, и с детских лет Диего учился владеть иглой, кроить штаны и подгонять по фигуре камзол. Он вырос в высокого юношу с прямыми ногами, тонкой талией и широкими плечами. А если прибавить к этому пышную шевелюру, загорелое лицо, на котором сверкали смелые черные глаза, чувственный рот и прямой нос, то не покажется удивительным, что для Каталины он был эталоном красоты. Наделенный вольнолюбивой душой, он изнывал от тоски, час за часом под бдительным оком отца сшивая шелк, бархат и

парчу для более удачливых людей, чем он. Он полагал, что рожден для более достойных дел, и в своих мечтах сыграл много прекрасных ролей на сцене жизни.

Он влюбился. Родители пришли в ужас, когда он объявил, что станет солдатом в Нидерландах или уедет искать счастья в Америку, если ему не позволят жениться на Каталине Перес. Все состояние Каталины составлял лишь дом, который она унаследовала бы после смерти матери, но родители Диего схитрили и не стали спорить. Ему было лишь восемнадцать лет, и они надеялись, что влюбленность юноши угаснет сама по себе и тогда он найдет себе достойную пару. А пока они резонно заявили, что негоже заводить семью, не закончив обучения ремеслу, и обещали вернуться к этому вопросу, когда Диего станет самостоятельным портным. Не возражали они и против того, чтобы вечер за вечером он ходил под окно Каталины и развлекал ее серенадами. Несчастье, случившееся с Каталиной, они восприняли как подарок судьбы. Диего был вне себя от горя, но и ему пришлось признать, что он не может позволить себе жениться на калеке. А вскоре мать сообщила Диего, что дочь процветающего галантерейщика питает к нему нежные чувства, и он начал за ней ухаживать. Отцы молодых людей встретились и решили, что такой союз выгоден им обоим. Оставалось лишь договориться о приданом, но портной хотел получить побольше, а галантерейщик — дать поменьше, и выработка окончательных условий потребовала длительных переговоров.

Они все еще не закончились, когда Диего появился под окном исцеленной Каталины. Не-

смотря на молодость, он уже твердо знал, что мужчина никогда не должен извиняться, так же, как и Каталина понимала, что упреки ни к чему не приведут. Какими бы ужасными ни были его проступки, мужчина только раздражается, когда о них говорят ему в лицо. Умная женщина удовлетворится тем, что они будут тяготить совесть мужчины, если она у него есть, а если — нет, то обвинения тем более бесполезны. Поэтому, не теряя времени, они сразу перешли к делу.

— Сердце моей души,— сказал Диего.— Я обожаю тебя.

— Моя любовь, моя драгоценная любовь,— ответила Каталина.

Не будем повторять их сладостные, нежные глупости. Во все времена влюбленные говорили друг другу одно и то же. Диего не мог пожаловаться на отсутствие красноречия. И скоро Каталина почувствовала, что долгие недели страданий стоят мига блаженства. Темнота почти полностью скрывала девушку, но звук ее мелодичного голоса и серебристый смех разжигали кровь Диего.

— Будь проклята разделяющая нас решетка. Ну почему я не могу обнять тебя и покрыть твое лицо поцелуями, чтобы наши сердца бились рядом?

Каталина прекрасно понимала, к чему это может привести, и эта мысль не вызвала у нее ни малейшего неудовольствия. Она знала, что помыслы мужчин устремлены к наслаждениям, и ее пронизала дрожь гордости и одновременно сладко защемило сердце от сознания того, что Диего так страстно желает ее. У нее даже перехватило дыхание.

— О, любимый мой, почему ты хочешь от меня

того, что я не могу дать тебе? Если ты любишь меня, то зачем же стремишься к тому, чтобы я согрешила, да и в любом случае эти железные прутья являются непреодолимой преградой.

— Дай мне тогда твою руку.

Окно, у которого она сидела, находилось довольно высоко, и Каталине пришлось опуститься на колени, чтобы выполнить его просьбу. Она просунула руку сквозь решетку, и Диего прижался к ней жадными губами. У нее были маленькие руки, с тонкими пальцами, руки благородной дамы. Она гладила лицо Диего и краснела и смеялась, когда ее кулачок оказался у него во рту.

— Бесстыдник,— сказала она.— Что ты сделаешь еще? — она убрала руку.— Веди себя прилично, и давай поговорим о наших делах.

— Как можно говорить о делах, когда ты сводишь меня с ума? Женщина, с таким же успехом ты могла бы просить реку течь в гору.

— Тогда тебе лучше уйти. Уже поздно, и я устала. Дочь галантерейщика наверняка тебя ждет. Нельзя же оставить ее без внимания.

— Клара? — вскричал Диего.— Да на что она мне? Она горбата, косоглаза, а волосы у нее, как у шелудивой собаки.

— Лжец,— рассмеялась Каталина.— Действительно, на ее лице остались оспинки и зубы у нее слегка желтоваты, а одного нет совсем, но, в общем, она не так уж страшна, и у нее добрый характер. Я не виню твоего отца, что он нашел тебе такую жену.

— Мой отец может катиться...

Для соблюдения приличий мы не будем повторять слова Диего, предоставив право закончить фразу читательскому воображению. Но Ката-

лина привыкла к прямому языку тех времен и даже не покраснела. Наоборот, пылкость ее возлюбленного вызвала у девушки довольную улыбку.

— Сегодня утром я был в соборе,— продолжал Диего,— и когда увидел тебя, во всей красе стоящую перед алтарем, будто меч вонзился в мое сердце, и я понял, что все отцы мира не смогут разлучить нас.

— А я никого не видела. Я не понимала, где нахожусь и что со мной происходит. А потом миллион иголок вонзились в мою ногу, и от боли я чуть не потеряла сознания и пришла в себя только в объятиях мамы. Она смеялась и плакала, и я тоже разрыдалась.

— Ты бежала и бежала, а мы кричали от радости. Ты мчалась, как лань, убегающая от охотника, как лесная нимфа, услышавшая приближающиеся голоса людей, как...— Тут воображение изменило Диего, и он закончил фразу довольно банальным сравнением: — Ты бежала, как небесный ангел. И была прекраснее зари.

Каталина слушала бы его до утра, но за спиной раздался голос Марии:

— Иди спать, дитя. Ты же не хочешь, чтобы соседи сплетничали о тебе, и, вообще, уже поздно.

— Спокойной ночи, любимый.

— Спокойной ночи, свет моих глаз.

Надо же так случиться, что отец Диего и галантерейщик в эти дни спорили о куске пустующей земли, который портной хотел получить в приданое, а галантерейщик — оставить за собой. Вероятно, за кружкой пива они могли бы найти компромиссное решение, но, к удивлению галантерейщика, портной уперся, как баран. Произошел крупный разговор, закончившийся скандалом, и

почтенные отцы разошлись в разные стороны. Портной, тем не менее, имел веские причины для столь странного, на взгляд галантерейщика, поведения. Во-первых, чудо прославило Каталину и могло благотворно отразиться на количестве заказов, выйди она замуж за Диего. Во-вторых, Каталина сама была опытной вышивальщицей. И в-третьих, что, возможно, и стало решающим, начались разговоры, что благородные дамы города, очарованные ее скромностью и хорошими манерами, решили собрать девушке достойное приданое. И теперь портной смотрел на Каталину как на желанную партию. Диего она принесла бы счастье, а ему — новых клиентов. Так исчезло последнее препятствие, преграждавшее влюбленным путь к счастью.

23

В то время, как Каталина и Диего мирно беседовали, разделенные лишь железной решеткой, аббатиса строила планы, не в малой степени касающиеся их будущего.

Донья Беатрис всегда скрупулезно выполняла религиозные обязанности. Монастырь в Кастель Родригесе стал гордостью ордена, монахини отличались безупречным поведением, пышность церковных служб привлекала сотни верующих, а каждый нуждающийся, обратившийся за помощью, находил, как минимум, сочувствие. Но, несмотря на набожность и благочестивость, аббатиса питала лютую ненависть к некоей монахине из Авилы, Терезе де Сепеда. Когда донья Беатрис была послушницей, эта монахиня, в монашестве мать Тереза, наделала немало шума, неоднократно

заявляя, что ей являлись Иисус Христос, пресвятая богородица и прочие небожители, не говоря о том, что она выгнала дьявола, явившегося к ней в келью, брызнув в него святой водой. Наконец, недовольная мягкостью устава кармелитского ордена, она ушла из монастыря и основала новый орден, с более суровыми правилами. Остальные монахини расценили этот поступок как оскорбление и приложили все силы, чтобы уничтожить нежелательного конкурента. Но Тереза де Сепеда оказалась женщиной энергичной, решительной и смелой и, подавляя непрекращающуюся оппозицию, открывала монастыри босоногих кармелиток по всей Испании. Название ее ордена определялось тем, что, вместо крепких кожаных башмаков, монахини матери Терезы носили сандалии с подошвами, сплетенными из веревки. И к моменту ее смерти, случившейся за несколько лет до описываемых событий, орден босых кармелиток по своему влиянию сравнялся, а где-то и превзошел старый орден.

Самого упорного противника мать Тереза встретила в лице доньи Беатрис. Аббатиса не терпела даже разговоров о длительных умерщвлениях плоти, которым подвергали себя босоногие кармелитки, и о посещавших их видениях. Какое право имела эта снедаемая гордыней, высокомерная и хитрая женщина, к тому же низкого происхождения, ставить себя выше других. Наконец, она настолько обнаглела, что обратилась к епископу провинции с просьбой открыть монастырь в Кастель Родригесе. К тому времени она уже приобрела влиятельных друзей как при дворе, так и среди духовенства, и донье Беатрис пришлось использовать все свое влияние, чтобы остановить

соперницу. Чаша весов в этой отчаянной борьбе все еще колебалась, когда мать Тереза умерла.

И, помолившись за ее грешную душу, донья Беатрис облегченно вздохнула. Она не сомневалась, что с уходом этой беспокойной женщины созданный ею орден придет в упадок и монахини вернутся в кармелитские монастыри. Но она не представляла, какую глубокую память оставила мать Тереза в своих духовных дочерях. Очень скоро по всей Испании пошли слухи о чудесах, совершенных ею при жизни и после смерти. Когда мать Тереза отошла в мир иной, ее келью, как рассказывали очевидцы, наполнил нежный запах, а девять месяцев спустя ее тело выкопали из могилы, и оказалось, что оно совершенно не изменилось, а тем же нежным запахом благоухал уже весь монастырь. Больные исцелялись, прикоснувшись к ее останкам. Многие уже говорили о том, что пора причислить ее к лику блаженных, и донья Беатрис, наконец, поняла, что рано или поздно мать Тереза станет святой.

Это обстоятельство серьезно обеспокоило аббатису. Приобщение матери Терезы к лику святых значительно укрепило бы позиции босоногого ордена. Конечно, святые были и среди кармелиток, например оба основателя ордена, но это произошло очень давно, а люди почему-то всегда чтили новых кумиров, незаслуженно забывая старых. Аббатиса не могла воспрепятствовать подъему нового ордена, но тут ей представилась возможность выдвинуть своего кандидата в небожители. Провидение указало ей правильный путь, и отказываться от такого подарка было бы грешно. Лазарь стал святым только потому, что присут-

ствовал при чудесах, совершаемых Иисусом. А Каталина, набожная и добродетельная девушка, излечилась милостью святой девы в присутствии не двух-трех полоумных монахинь и ищущих собственных выгод священников, но огромного числа верующих. Получив знак божественного расположения, она, естественно, всю оставшуюся жизнь должна посвятить служению Иисусу. Правда, донья Беатрис краем уха слышала, что Каталина влюблена в какого-то юношу, но сочла эти слухи несущественными. Ей не верилось, что девушка в здравом уме могла выйти замуж за портного, вместо того чтобы наслаждаться благами духовными и материальными, предоставленными ей монастырем. Каталина прославила бы и саму обитель и весь орден. Дева Мария, несомненно, еще не раз выразит девушке свое благоволение, ее известность будет расти, и после смерти Каталина сможет занять достойное место среди небожителей.

Донья Беатрис раздумывала над этой привлекательной идеей не один день, но, будучи женщиной осторожной, решила посоветоваться с духовником. Тот с энтузиазмом воспринял предложение аббатисы дать господу богу невесту, отмеченную самой богородицей. В разговоре аббатиса упирала на благодарность, которую должна испытывать излеченная девушка, посчитав ненужным упомянуть о скромных мотивах, которыми руководствовалась сама. Духовник, человек набожный, но недалекий, не смог разобраться в хитросплетениях интриг доньи Беатрис. Но, тем не менее, и он нашел одно серьезное возражение.

— Статус этого монастыря требует, чтобы монахиня была благородного происхождения.

А семья Каталины, хоть и сохранила чистоту крови, не принадлежит к дворянству.

Аббатиса, впрочем, без труда нашла обходной путь.

— Мне кажется, что расположение пресвятой девы вполне может заменить дворянскую грамоту. В моих глазах она равна самому гордому гранду.

Услышав такой ответ из уст дочери герцога бедный монах пришел в восторг. Теперь оставалось решить лишь техническую сторону дела. Аббатиса предполагала пригласить девушку к себе и предложить ей провести несколько дней в монастыре, чтобы та могла должным образом выразить создателю свою благодарность. Предугадывая возможные возражения Каталины, вызванные привязанностью к юноше, донья Беатрис попросила монаха рассказать обо всем исповеднику девушки, чтобы тот посоветовал Каталине, а если надо — и приказал, принять предложение аббатисы. Тот с радостью обещал выполнить это богоугодное поручение.

На следующий день Каталину провели в молельню доньи Беатрис. Раньше она едва могла отличить девушку от десятка других, но сейчас аббатису приятно поразила красота Каталины, и она довольно улыбнулась. Донья Беатрис не жаловала уродливых монахинь и считала, что невестами Христа должны становиться лишь те, кто сочетал в себе ум и приятную наружность. Скромность, нежный голосок и хорошие манеры Каталины также пришлись ей по нраву. А речь девушки, благодаря урокам Доминго, отличалась не только правильностью построения фраз, но и элегантностью. Аббатиса не могла не подивиться, обнаружив, что в столь невзрачном окружении

вырос такой прекрасный цветок. И последние сомнения в правильности принятого решения растаяли, как дым. Девушка, несомненно, родилась для славных дел, а что могло сравниться с честью посвятить жизнь служению господу богу?

Каталина поначалу держалась скованно, с почтением взирая на благородную даму, чьи добродетели славились на весь город, но донья Беатрис сумела расположить девушку к себе. С ее лица не сходила улыбка, которую так редко видели монахини, и Каталина даже подумала, не преувеличены ли слухи о суровости аббатисы. Скоро она рассказывала историю своей короткой жизни. К неудовольствию доньи Беатрис, ничем, естественно, внешне не проявившемся, девушка расписывала достоинства и красоту Диего, с радостью сообщив, что его родители, ранее относившиеся к ней крайне холодно, теперь дали согласие на свадьбу. Аббатиса пожелала из ее собственных уст услышать историю появления девы Марии, а затем, как бы невзначай, заметила, что после чудесного исцеления Каталине следовало бы провести в монастыре пару недель, чтобы, удалившись от мирской суеты, в молитвах отблагодарить свою небесную покровительницу. Слова доньи Беатрис ужаснули Каталину. Но она привыкла говорить то, что думала, ее страх перед аббатисой уже пропал, и девушка ответила честно и откровенно.

— Но, ваше преподобие,— вскричала она,— я не могу этого сделать. Мы с Диего так долго не видели друг друга. Если я удалюсь в монастырь, у него разорвется сердце. Он каждый вечер говорит мне, что целый день живет лишь ради

того часа, когда мы можем побыть наедине у моего окна.

— Я не собираюсь принуждать тебя, дитя мое. Пребывание в монастыре пойдет тебе лишь на пользу, если ты поступишь туда из любви к богу и искреннего желания совершенствоваться. И, должна признать, меня удивляет твое нежелание отблагодарить пресвятую деву за ниспосланную тебе милость. Не думаю, что этот юноша, как ты говоришь, без памяти в тебя влюбленный, станет возражать, что за добро ты отплатишь добром. Но довольно об этом. Я полагаю, тебе следует посоветоваться с исповедником. Возможно, он скажет, что мое предложение не имеет смысла, и тогда твоя совесть будет спокойна.

И донья Беатрис отпустила девушку, подарив ей янтарные четки.

24

Аббатиса ничуть не удивилась, когда два или три дня спустя ей доложили, что Каталина ждет в приемной и просит разрешения провести в монастыре несколько дней. Она пригласила девушку к себе, поцеловала ее и передала наставнице послушниц. Каталине отвели келью со скромной обстановкой, но просторную, чистую и прохладную, с окнами, выходящими на ухоженный монастырский сад.

Доброта, очарование и простота Каталины немедленно покорили все сердца. Монахини, послушницы, мирские сестры и благородные дамы, жившие в монастыре, баловали ее, как любимого ребенка. Постель Каталины полностью соответствовала уставу ордена, но по сравнению

с той, к которой привыкла девушка, она казалась пуховой периной, а нехитрая еда монахинь — изысканными яствами. Рыба, цыплята, дичь поставлялись к столу из обширных поместий аббатисы, и вдобавок благородные дамы зазывали Каталину к себе и пичкали сладостями и деликатесами.

Донья Беатрис с довольной улыбкой наблюдала, как девушке открывались радости монастырской жизни, надежно защищенной от хлопот и суеты внешнего мира. Некоторая ее монотонность оживлялась в час отдыха, когда монастырскую приемную заполняли знатные дамы и дворяне, и их разговоры не ограничивались лишь религиозными темами. Каталине не в малой степени льстило оказываемое ей внимание. Она вошла в монастырь в воинственном настроении, по приказу исповедника, горячо поддержанного матерью, но скоро поняла, что пребывание там не лишено определенных преимуществ. Счастливая, упорядоченная жизнь монахинь существенно отличалась от той, какую вела она дома в непрестанной утомительной работе и постоянной нужде. Бывали же времена, когда никто не приглашал мать и дочь вышивать дорогие одежды, и тогда они перебивались лишь случайными заработками Доминго.

Каталина наслаждалась богослужениями, которые посещала с остальными монахинями. И хотя ей недоставало Диего, она не могла не признать, что в будущем будет с радостью вспоминать дни, проведенные в монастырской тишине.

Каждый вечер донья Беатрис посылала за Каталиной и проводила с ней час. Она ни разу не упомянула, что хотела бы видеть Каталину мона-

хиней, но, беседуя с девушкой, скоро поняла, что та не только добродетельна, но и очень умна, обладает твердым характером и со временем может стать гордостью ордена. Донья Беатрис говорила с ней не как гордая дама или мать-настоятельница, но как близкая подруга. Она прилагала все силы, чтобы подчинить девушку своему влиянию, но чувствовала, что действовать надо с предельной осторожностью. Она рассказывала о жизни различных святых, чтобы расширить кругозор Каталины, и придворные сплетни, чтобы показать ей, что, будучи монахиней, можно играть важную роль в государственных делах. Она говорила об управлении монастырем и многообразных обязанностях аббатисы, не без намека, что при благоприятном стечении обстоятельств и Каталина может занять этот важный пост. Такая перспектива, без сомнения, не могла не поразить дочь вышивальщицы.

В монастыре тайное быстро становилось явным, и, хотя донья Беатрис никому не говорила о своих планах, монахини скоро поняли, что означало повышенное внимание аббатисы к этой симпатичной девушке. И одна из них сказала Каталине, что они будут счастливы, если она останется с ними навсегда. А благородная дама, жившая в монастыре, потому что ее муж воевал где-то за морями, поведала Каталине, что с радостью стала бы монахиней, не связывай ее узы брака.

— На твоем месте, дитя,— продолжала она,— я бы попросила аббатису, чтобы она взяла тебя послушницей.

— Но я собираюсь замуж,— удивленно ответила Каталина.

— И всю жизнь будешь сожалеть об этом.

Мужчины по своей природе грубы, злы, эгоистичны и неверны женам.

Взглянув на серое морщинистое лицо дамы и ее оплывшую фигуру, Каталина подумала, что ее муж, возможно, действительно не лишен недостатков, но мог привести аргументы, говорящие в его пользу.

— Как ты можешь колебаться, когда небесный жених открыл тебе свои объятья? — и дама положила в рот очередную конфетку.

В другой раз, в час отдыха, высокородная гостья ущипнула Каталину за щечку и, улыбнувшись, сказала:

— Я слыхала, в нашем монастыре скоро появится маленькая святая. Ты должна поминать меня в молитвах, ибо я большая грешница и могу попасть в рай лишь с твоей помощью.

Каталина испугалась. Она не хотела становиться ни монахиней, ни тем более святой. Она начала вспоминать как бы невзначай брошенные фразы, на которые ранее не обращала внимания. И с ужасом поняла, что все ждут от нее вступления в монастырь. В тот вечер она вошла в молельню аббатисы со смятенной душой. Волнение девушки не укрылось от глаз доньи Беатрис.

— Что случилось, дитя? — спросила она, неожиданно прервав Каталину, которая что-то рассказывала.

Та вздрогнула и покраснела.

— Ничего, ваше преподобие.

— Ты боишься сказать мне? Разве ты не знаешь, что я люблю тебя, как родную дочь. Я надеялась, что ты питаешь ко мне хоть каплю привязанности.

Каталина разрыдалась, и аббатиса протянула к ней руки:

— Подойди ко мне и расскажи, что беспокоит тебя.

Каталина подошла и села у ног аббатисы.

— Я хочу домой,— всхлипывая, прошептала она.

Донья Беатрис замерла, но тут же взяла себя в руки.

— Разве ты не счастлива здесь? Мы делаем все, чтобы ублажить тебя. Ты — всеобщая любимица.

— Эта любовь связывает меня по рукам и ногам. Я — как кролик, попавший в силок. Монахини, благородные дамы, все воспринимают как должное мой уход в монастырь. Я этого не хочу.

Аббатису охватила ярость на этих глупых женщин, предавших ее в своем усердии, но ничего не отразилось на ее холеном лице.

— Никто не хочет совершить над тобой насилие. Ты можешь стать монахиней лишь по своей воле. И не стоит винить их в том, что, полюбив тебя, они не хотят, чтобы ты покинула монастырь. И я была бы рада, если бы святая дева разбудила в твоем сердце желание стать одной из нас, тем самым отблагодарив небо за оказанную великую милость. Ты прославила бы нашу обитель. Мне знакомо не только твое смирение и благочестие, но и то, что у тебя ясная голова. Слишком редко в невестах Христа ум сочетается с добротой. Я — старая женщина, и мне уже тяжело нести груз моих обязанностей. Возможно, думать об отдыхе и грешно, но я испытала бы огромное облегчение, будь ты рядом со мной, а в должное время, когда наш создатель призовет меня к себе, смогла бы занять мое место.

Она замолчала и в ожидании ответа нежно погладила щеку девушки.

— Ваше преподобие очень добры ко мне. Не знаю, как отблагодарить вас за столь щедрое предложение. У меня разорвется сердце, если вы сочтете меня неблагодарной, но я недостойна такой чести.

Хотя слова Каталины и не содержали прямого отказа, от аббатисы не укрылся истинный смысл ответа. И ее настойчивость, чувствовала она, вызовет лишь возрастающее противодействие. Донья Беатрис не признала поражения, но сочла необходимым пойти на временное отступление.

— Решение можешь принять только ты сама, прислушавшись к голосу совести, и я далека от мысли оказать на тебя какое-нибудь давление.

— Так я могу вернуться домой?

— Ты свободна в своих поступках. Я лишь прошу тебя, из уважения к исповеднику, провести в монастыре назначенный им срок. Я уверена, что ты позволишь нам наслаждаться твоим очарованием несколько оставшихся дней.

Каталина не могла не согласиться. Аббатиса отпустила ее, поцеловав в лоб, села в кресло и глубоко задумалась. Она не привыкла к тому, чтобы кто-то брал над ней верх, тем более какая-то девчонка. Но донья Беатрис подавила бушующие в ней страсти, ибо такое важное дело требовало холодного рассудка, и скоро в ее изобретательной голове созрело несколько возможных вариантов. Она тщательно взвешивала их преимущества и недостатки, считая себя вправе использовать любые средства, не содержащие в себе элемента греха, чтобы, обеспечив благополучие девушки в этом мире и прямую дорогу в рай в следующем,

достигнуть желанной цели и прославить орден. В первую очередь следовало предпринять еще одну попытку и все-таки убедить Каталину уйти в монастырь. И сделать это мог лишь один человек — дон Бласко де Валеро, епископ Сеговии. Он совершил чудо, излечив Каталину, его высокий сан и святость вызывали необходимое благоговение. Донья Беатрис подошла к столу и написала епископу письмо с просьбой прийти к ней, так как ей необходим его совет.

25

Епископ обещал прийти на следующий день и с пунктуальностью, необычной для Испании, явился в точно назначенный час. Аббатиса сразу перешла к делу.

— Я хотела поговорить с вашей светлостью о Каталине Перес.

Епископ присел на краешек предложенного аббатисой кресла и ждал, опустив глаза.

— По совету исповедника она удалилась в наш монастырь. Мне представилась возможность поговорить с ней. Она образованней многих благородных дам. Ее манеры и поведение безупречны. Она искренне любит нашу госпожу, пресвятую деву, и достойна стать невестой Христа. Мне кажется вполне естественным, если, в благодарность за проявленное к ней милосердие, она посвятит жизнь служению господу богу. Она могла бы стать гордостью нашего ордена, и я не колеблясь приняла бы ее в этот монастырь, несмотря на низкое происхождение.

Епископ молча кивнул.

— Девушка молода,— продолжала аббати-

са,— она не знает, как распорядиться своей жизнью, ее влечет мирская суета. Я слишком грешна и невежественна, чтобы говорить с ней об этом деликатном деле. И мне подумалось, что кто, как не вы, сможете помочь ей найти себя и объяснить, в чем состоит ее долг и где она обретет счастье и покой.

— Я стараюсь не иметь дела с женщинами,— сказал, наконец, епископ.— И никогда не исповедую их.

— Мне хорошо известно, что ваша светлость сторонится нас, но тут совершенно особый случай. Вы вернули ее к жизни, и теперь вы не можете бросить на распутье. Это равносильно тому, чтобы вытащить утопающего из ледяной воды и оставить на берегу умирать от голода и холода.

— Если девушка не видит своего призвания в служении богу, я не могу заставить ее уйти в монастырь.

— Вашей светлости, несомненно, известно, что многие женщины уходили в монастырь, потрясенные смертью близких, потому что не нашли подобающего мужа или из-за неразделенной любви. Тем не менее они становились прекрасными монахинями.

— Я не собираюсь с вами спорить, но не пойму, какое отношение имеют приведенные вами примеры к Каталине Перес. И посмею напомнить вашему преподобию, что дорога в рай открыта не только монахам, но и мирянам.

— Но насколько тернистей путь последних. Разве святая дева даровала бы вам силу совершить чудо в ее честь, если б не хотела, чтобы в дальнейшем девушка стала светочем, ведущим к покаянию тысячи грешников.

— Не нам, грешным, вдумываться в мотивы действий небожителей.

— Но, по меньшей мере, мы можем быть уверены, что они служат добру.

— Мы можем.

Донье Беатрис не нравилась сдержанная лаконичность епископа, и в ее голосе появились резкие нотки:

— Я прошу вас оказать эту маленькую услугу за все хорошее, что сделала моя семья ордену доминиканцев. Так вы отказываетесь встретиться с девушкой, поговорить с ней и, если ваше мнение совпадет с моим, объяснить, где она найдет счастье?

Епископа удивляла настойчивость доньи Беатрис. Он не верил, что эта понаторевшая в интригах гордая женщина действительно заботилась о благополучии дочери вышивальщицы. Тут он вспомнил слова доминиканского аббата, рассказавшего ему, что она изо всех сил боролась с матерью Терезой, чтобы помешать той основать обитель босых кармелиток в Кастель Родригесе. Ненависть, которую питали кармелитки к новому ордену, ни для кого не составляла секрета. И у епископа зародилось подозрение, что уход Каталины в монастырь, на котором настаивала донья Беатрис, имел отношение к этой смертельной борьбе и аббатиса обратилась к его помощи, потому что сама не смогла сломить сопротивление девушки. Он поднял голову, и пронзительный взгляд его темных глаз обратился к донье Беатрис. Ее лицо напоминало каменную маску.

— Допустим, я встречусь с девушкой и сочту своим долгом убедить ее посвятить жизнь богу. Но я склонен думать, что ей будет спокойнее

среди босых кармелиток, чем в монастыре, предназначенном только для благородных дам.

Неожиданный всплеск ярости, на мгновение сверкнувший в глазах доньи Беатрис и тут же погашенный усилием воли, подсказал епископу, что его догадка верна.

— Мне кажется, что нам не следует полностью лишать мать девушки возможности общения с ее единственным ребенком,— вкрадчиво заметила аббатиса.— В этом городе нет монастыря босых кармелиток.

— И только потому, если меня правильно информировали, что ваше преподобие убедили епископа провинции отказать матери Терезе в ее просьбе открыть тут обитель нового ордена.

— В Кастель Родригесе предостаточно монастырей. Если бы епископ пошел на поводу у де Сепеды, городу пришлось бы взвалить на себя непомерное бремя.

— Ваше преподобие не слишком уважительно отзывается о святой женщине.

— Она низкого происхождения.

— Вы ошибаетесь, сеньора. Она — благородная дама.

— Какой вздор,— резко ответила аббатиса.— Ее отец купил дворянскую грамоту в начале столетия. Прошу извинить меня, но я, как и наш государь, терпеть не могу тех, кто незаслуженно носит это высокое звание. Страна наводнена безродными дворянчиками.

Епископ сам принадлежал к этому сословию, и на его лице появилась слабая улыбка.

— Каким бы ни было происхождение матери Терезы, ее благочестие отмечено небом, а труды

во славу церкви достойны самой высокой похвалы.

Донья Беатрис так рассердилась, что не замечала внимательного взгляда епископа, следящего за выражением ее лица, за каждым жестом холеных рук.

— Позвольте, ваша светлость, не согласиться с вами. Я знала ее и говорила с ней. Эта беспокойная женщина прикрывала свои безумные выходки религиозным туманом. Какое право имела она оставить монастырь и, учинив скандал, основать новый? Кармелитки свято чтут нашего создателя, и устав ордена достаточно суров.

Устав ордена, введенный святым Альбертом и смягченный папой Евгением IV, предусматривал пост от праздника вознесения святого креста в сентябре до самого рождества по четыре дня в неделю, а во время рождественского и великого постов вообще запрещал есть мясо. По понедельникам, средам и пятницам каждая монахиня должна была подвергаться бичеванию и не могла произнести ни слова с вечернего богослужения до заутрени. Носили монахини черные рясы и башмаки. Спали без простыней.

— Я, должно быть, очень глупая женщина,— продолжала аббатиса,— если не понимаю, каким образом замена кожаных башмаков на веревочные сандалии и саржи на мешковину служит умножению славы господа бога. Де Сепеда утверждала, что покинула наш древний орден якобы потому, что соблазны мешали ей спокойно молиться и предаваться благочестивым размышлениям. На самом деле она всю жизнь скакала с места на место. Заставляя своих монахинь молчать, она сама трещала, как сорока.

— Если бы ваше преподобие прочли жизнеописание матери Терезы, написанное ей самой, вы бы с большим снисхождением говорили об этой святой женщине,— холодно заметил епископ.

— Я его читала. Мне прислала его принцесса Эболи. Писать книги — не женское дело. Пусть этим занимаются мужчины.

— Мать Тереза писала, выполняя волю ее духовника.

Аббатиса презрительно улыбнулась.

— Вас не удивляло, что духовник матери Терезы всегда выражал ее собственные желания?

— Я сожалею, что ваше преподобие так суровы к женщине, завоевавшей любовь и уважение не только ее монахинь, но и всех, кто удостоился чести общаться с ней.

— Своими нововведениями она внесла раскол в наш орден и грозила уничтожить его. Я уверена, что ею руководили лишь честолюбие и злоба.

— Но вашему преподобию, несомненно, известно о чудесах, совершенных ею при жизни, и тех, что свершились у ее тела, и теперь многие влиятельные и уважаемые люди просят его святейшество причислить мать Терезу к лику блаженных.

— Да, я знаю об этом.

— Тогда, я не ошибусь, утверждая, что вступление Каталины Перес в ваш орден необходимо вам для того, чтоб слава, окружающая девушку, в какой-то мере компенсировала рост влияния босых кармелиток вследствие приобщения матери Терезы к сонму святых.

Возможно, аббатиса и удивилась проницательности епископа, но ни один мускул не дрогнул на ее бледном лице.

— В нашем ордене достаточно святых, и нам остается только сожалеть, если его святейшество, обманутый корыстолюбцами и полоумными монахинями, окажет такую честь этой злонамеренной бунтовщице.

— Вы не ответили на мой вопрос, сеньора.

Гордость доньи Беатрис не позволила ей солгать.

— Я бы считала, что моя жизнь не прошла даром, если б мне удалось помочь невинной душе достигнуть совершенства и дать ей возможность присоединиться к компании святых. Если б это удалось, она смогла бы уничтожить зло, причиненное Терезой де Сепеда. Если вы не хотите помочь мне оказать добрую услугу бедняжке, мечущейся в неопределенности, я обойдусь без вас.

Епископ ответил долгим, суровым взглядом.

— Мой долг напомнить вашему преподобию, что принуждение человека к вступлению в монастырь против его воли карается отлучением от церкви.

Аббатиса побледнела, как смерть, но не от страха перед угрозой епископа, а от ярости, что тот решился произнести ее вслух и тем не менее по ее спине пробежал холодок. Впервые в своей жизни она испытала власть мужчины. Она молчала. Епископ встал и, галантно поклонившись, удалился. Она попрощалась с ним кивком головы, не поднявшись с кресла.

26

Суровые слова епископа не охладили пыла доньи Беатрис, искренне убежденной в том, что пострижение Каталины не только умножит славу

ордена кармелиток, но обеспечит благополучие самой девушке и послужит укреплению веры. Не добившись помощи епископа, она решила изменить тактику. Аббатиса понимала, что основным препятствием для осуществления ее планов являлась любовь этой глупышки к молодому портному по имени Диего. Упорство Каталины, отказывающейся из-за такого пустяка воспользоваться огромными преимуществами монастырской жизни, выводило ее из себя. Но умный человек принимает мир таким, как он есть, и, манипулируя обстоятельствами, стремится достигнуть желанной цели.

На следующий день аббатиса послала за доньей Анной де Сан Хосе, наставницей послушниц, своей скромной, умной и надежной помощницей. О ее преданности донье Беатрис ходили легенды, и, прикажи та броситься в реку, донья Анна не колеблясь прыгнула бы в воду. Аббатиса поинтересовалась, какое впечатление произвела на наставницу Каталина Перес. Донья Анна чуть не задохнулась от восторга, расписывая благочестие, красоту, почтительность и доброту девушки. По мнению наставницы, она была создана для монастырской жизни.

— Как жаль, что происхождение не позволяет ей вступить в нашу маленькую обитель,— с печальным вздохом закончила донья Анна.

— Господь бог не делает различий между людьми,— возразила аббатиса.— Для него все равны. Если девушка хочет служить нашему создателю, мы обойдем это препятствие. Статус монастыря определял мой отец, его основатель. Учитывая исключительность этого случая, я уве-

рена, что мой брат сможет ввести необходимые изменения.

— Ваши духовные дочери с радостью примут ее в нашу семью.

— И я гордилась бы тем, что эта девушка служит богу в нашей обители.

Далее аббатиса предложила донье Анне рассказать монахиням, послушницам, благородным дамам, жившим в монастыре, городским гостям, что она готова взять Каталину сначала в послушницы, а потом в монахини. После чудесного исцеления милостью святой девы она, несомненно, хочет стать невестой Христа, и донья Беатрис, заботясь о славе города, согласна открыть ей двери своего монастыря.

Какой бы силой воли ни обладала простая девушка, казалось невероятным, что она устоит под давлением общественного мнения и отвергнет одобрение, даже восхищение, с которым будет встречено ее желание покинуть мирскую суету со столь преходящими радостями. Но, будучи женщиной практичной, донья Беатрис не забывала про материальный фактор, играющий в жизни немаловажную роль. Она послала донью Анну к Марии Перес с просьбой передать, что ее дочь произвела на аббатису самое благоприятное впечатление, и сообщить о своем великодушном предложении. Аббатиса знала наверняка, что донья Анна преподнесет его, как великую честь, оказанную девушке, и распишет все выгоды монастырской жизни, не идущей ни в какое сравнение с женитьбой на сыне портного, который, к тому же, мог оказаться бездельником, пьяницей и картежником. Наконец, донья Беатрис просила сказать, что сама заплатит за приданое, необходи-

мое для вступления в монастырь, и назначит Марии пенсию, достаточную для безбедной жизни до конца ее дней. Донью Анну переполнял восторг. Аббатиса, эта чудесная женщина, не забывала ни о чем. Ее щедрость не знала границ. И донья Беатрис отпустила верную монахиню, добавив напоследок, что разговор с Марией Перес должен держаться в полном секрете, ибо она опасалась, что брат Марии, беспутный Доминго, мог убедить сестру отвергнуть протянутую руку.

Не прошло и суток, как донья Анна доложила, что предложение аббатисы принято со смирением и благодарностью. Мария Перес, как и любая благочестивая испанка, считала служение богу самым достойным делом. Вступление юноши или девушки в монастырь приносило семье почет и уважение и воспринималось как божья милость. А о том, что ее дочь войдет в монастырь для благородных дам, Мария не смела и мечтать. Ей льстило, что донья Анна смотрела на Каталину, как на святую и высказала мысль, что, если богородица и в дальнейшем будет выказывать к ней свою благосклонность, то придет время, когда Мария станет матерью девы, признанной святой самим папой. И тогда художники станут писать портреты Каталины, их повесят над алтарями, и страждущие будут излечиваться, коснувшись ее останков. Такие ослепительные перспективы могли разжечь воображение любой женщины. Не забыла Мария поблагодарить и за обещанную ей пенсию. Она зарабатывала на жизнь тяжелым трудом, а тут могла бы целыми днями ничего не делать, кроме как ходить в церковь да сидеть у окна, наблюдая за прохожими.

— А что она говорила о юноше, который, как я слышала, оказывает Каталине знаки внимания? — спросила аббатиса, выслушав донью Анну.

— Она его не любит. Тот вел себя очень дурно после того, как с ее девочкой произошел несчастный случай. Она полагает, что он эгоистичен и слишком высоко себя ценит.

— Трудно найти мужчину, лишенного этих недостатков,— сухо заметила аббатиса.— Эгоизм и самодовольство — суть их существа.

— И она не любит его мать. Когда муж Марии убежал в Америку, мать юноши заявила во всеуслышание, что этого и следовало ожидать, так как ему жилось хуже, чем собаке.

— Ну что ж, возможно, так было на самом деле. А ты не сказала Марии, чтобы та, как бы невзначай, естественно, от своего имени, намекнула Каталине, что она одобряет уход дочери в монастырь.

— Я думала, это не причинит вреда.

— Наоборот, только пойдет на пользу. Ты с честью выполнила мое поручение, донья Анна. Я тобой довольна.

Монахиня покраснела от удовольствия. Похвала редко слетала с губ аббатисы.

27

Аббатиса подождала несколько дней, пока весть о том, что монастырь кармелиток примет Каталину, объяви та о желании посвятить себя богу, разнесется по всему городу. Горожане с одобрением восприняли эту новость. По общему убеждению, пострижение Каталины послужило бы

славе Кастель Родригеса и девушка, несомненно, была достойна такой чести. Мысль о том, что, излечившись милостью святой девы, она могла выйти замуж за портного, вызывала у всех возмущение и казалась кощунственной. Донья Анна вновь зашла к Марии Перес и предупредила, что та должна действовать тактично, не принуждать дочь, но при каждом удобном случае сравнивать мир и спокойствие монастыря с тяготами, опасностями и лишениями семейной жизни.

Донья Беатрис умела подбирать преданных и надежных слуг, но самым преданным и надежным мог, без сомнения, считаться управляющий ее поместьями, дворянин Мигель де Беседас, ее дальний родственник. Он лучше других знал, как щедра аббатиса, ибо распределял ее деньги, выделенные ей на милостыню, и восхищался ее добротой. Она умела вести дело и могла торговаться не хуже любого мужчины. Она прислушивалась к голосу разума, но, придя к какому-либо решению, никогда не изменяла его. Оставалось лишь выполнять волю аббатисы, и дон Мигель привык к слепому повиновению. Аббатиса послала за ним и велела собрать сведения в Кастель Родригесе и Мадриде о доне Мануэле де Валеро, полководце, брате епископа, и о юноше Диего Мартинесе и его отце.

К тому времени, как дон Мигель доложил, что ее поручение выполнено, аббатиса уже отослала Каталину домой с дорогим подарком и заверениями в любви. И Каталина прощалась с ней со слезами на глазах.

— Не забывай, дитя,— напутствовала девушку аббатиса,— если ты попадешь в беду, тебе

стоит только прийти ко мне, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь тебе.

Донья Беатрис внимательно выслушала управляющего и осталась довольна результатами его трудов. Она попросила его при случае встретиться с доном Мануэлем и намекнуть тому, что аббатиса с радостью примет у себя доблестного воина, о котором слышала столько хорошего.

После фиаско в соборе дон Мануэль на три дня заперся в своих апартаментах и не желал никого видеть. Тщеславие делало его уязвимым к насмешкам. Он слишком хорошо знал веселый нрав соотечественников и понимал, что уж теперь-то они вволю над ним потешатся. Он не думал, конечно, что кто-нибудь выскажет ему в лицо свои соображения о случившемся, ибо дон Мануэль был искусным фехтовальщиком, и вряд ли нашелся бы смельчак, рисковавший быть нанизанным на шпагу за удовольствие пошутить, но уж за его спиной горожане брали свое. Когда он, наконец, решился показаться в обществе, его свирепый взгляд охлаждал самые буйные головы. Оказавшись в дурацком положении, дон Мануэль поставил под угрозу и свои планы на будущее. Напомним читателю, что он прибыл в Кастель Родригес, чтобы найти себе жену из знатной, но обедневшей семьи, так как не без оснований полагал, что его состояние откроет перед ним многие двери. Но публичное унижение, которому дон Мануэль подвергся в соборе, существенно уменьшило его шансы. Пусть бедные, но гордые дворяне Кастель Родригеса могли не отдать одну из своих дочерей тому, кто стал всеобщим посмешищем. Дону Мануэлю оставалось лишь уехать в Мадрид, в надежде, что там еще ничего не знают

об этой нелепой истории, и подыскать подходящую невесту в столице.

Визит дона Мигеля пролился бальзамом на его уязвленное самолюбие, так как дон Мануэль и не мечтал, что аббатиса может принять его у себя. Он ответил, что сочтет за честь посетить донью Беатрис в любое удобное для нее время. Управляющий, упомянув, что аббатиса очень редко принимает посторонних, назвал условленный с ней час.

— Если вы не возражаете, я зайду за вами, сеньор, и отведу в монастырь.

Дон Мануэль согласно кивнул.

Его ввели в молельню и оставили наедине с аббатисой. Она что-то писала за столом и не поднялась, чтобы встретить гостя. Дон Мануэль стоял, переминаясь с ноги на ногу, не решаясь сесть без приглашения. Наконец, аббатиса взглянула на него.

— Я много слышала, сэр, о вашем благочестии и доблести, с которой вы верно служили его величеству, и захотела увидеть того, кто сам, без всякой протекции, достиг таких высот. Я надеялась, что вы выкроите время и навестите меня, чтобы я лично могла воздать вам должное за ваши великие подвиги.

— Я не предполагал, что могу без приглашения нарушить ваш покой, — пробормотал дон Мануэль.

Постепенно он начал успокаиваться. Если его хвалит дочь великого герцога Кастель Родригеса, значит, еще не все потеряно. Но уже следующая фраза, хотя и сопровожденная улыбкой, перечеркнула его надежды.

— Вы прошли долгий путь, дон Мануэль, с

того времени, как босоногим мальчишкой бегали по деревенским улочкам, загоняя в хлев свиней вашего отца.

Он покраснел и, не найдя, что ответить, промолчал. Донья Беатрис смерила его оценивающим взглядом, будто раздумывая, подойдет ли ей такой лакей. Если она и заметила неудовольствие дона Мануэля, то оставила его без внимания. Перед ней стоял высокий, стройный, приятной наружности мужчина, чуть выше своего брата, епископа. Красивые глаза несколько скрашивали жесткие складки лица. Без сомнения, его отличали наглость, хвастовство и распущенность, обычные недостатки мужчин, которые аббатиса воспринимала как неизбежное зло, вроде пронизывающего холода кастильской зимы. В общем, дон Мануэль произвел на нее хорошее впечатление.

Тут аббатиса, казалось, впервые заметила, что он все еще стоит.

— Почему вы стоите, сеньор? — спросила она.— Окажите мне честь и присядьте.

— Вы очень добры, мадам.

Он сел.

— Я веду уединенную жизнь, и мои религиозные обязанности вкупе с заботами о монастыре не оставляют мне свободного времени, но иногда и к нам долетают сведения из внешнего мира. Я слышала, вы приехали в Кастель Родригес не только для того, чтобы засвидетельствовать сыновью почтительность, но и выбрать жену благородного происхождения.

— Отдав столько лет служению королю, я действительно хочу жениться, чтобы наслаждаться радостями домашнего уюта, которых мне не хватало все эти годы.

— Это похвальное желание, сеньор, возвышающее вас в моих глазах и подтверждающее вашу безупречную репутацию.

— Я полон сил и богат. Полагаю, мои знания и опыт пригодятся и при дворе.

— Если я вас правильно поняла, вы рассчитываете ускорить осуществление ваших планов, породнившись с семьей, имеющей обширные связи?

— Не буду этого отрицать, мадам.

— Моя племянница, маркиза де Каранера, овдовев, осталась без гроша. Сейчас она живет здесь. Я надеялась, что она пострижется в монахини, а когда создатель призовет меня к себе, займет мое место, ибо, будучи внучкой основателя монастыря, имеет на это право. Но у нее нет желания посвятить себя богу, и я пришла к заключению, что ее следует выдать замуж.

Дон Мануэль насторожился. Возможность породниться с семьей герцога настолько опережала его самые честолюбивые мечты, что он не мог не ожидать подвоха.

— Я бы хотел жениться не на вдове,— осторожно ответил он,— а на молоденькой девушке.

— Маркизе двадцать четыре года, вполне подходящий возраст для мужчины ваших лет.— В голосе аббатисы слышались резкие нотки.— Она красива и не бесплодна, так как родила сына, который умер от болезни, унесшей и его отца. Я собиралась поставить ее на мое место, значит, достаточно высоко ценю ее умственные способности. И нет нужды напоминать, что дон Мануэль де Валеро не может и мечтать о племяннице герцога Кастель Родригеса. Мне придется при-

ложить немало усилий, чтобы добиться согласия брата на этот брак.

Дон Мануэль соображал быстро. С поддержкой герцога он мог достичь недосягаемых высот. Такая свадьба заткнула бы глотки всем насмешникам.

— Маркиз де Каранера умер, не оставив наследника. Вполне возможно, что король дарует вам этот титул. Он вам больше подходит, чем тот жалкий итальянский титул, который вы носите.

Последние слова аббатисы решили дело. Пусть маркиза и старовата (он думал о невесте лет четырнадцати), но брак с ней сулил такие перспективы, что дон Мануэль больше не колебался.

— Я не знаю, как отблагодарить ваше преподобие за такую честь.

— Сейчас я вам объясню,— холодно ответила аббатиса.— И должна отметить, что лишь доказав свою благодарность, вы можете рассчитывать на продолжение этого разговора.

Дон Мануэль давно понял, что не его богатство или боевые награды послужили причиной неожиданного предложения аббатисы. И даже подумал, что маркиза беременна и его выбрали отцом незаконнорожденного ребенка. Но донья Беатрис рассеяла его сомнения.

— Я хочу, чтобы вы ходатайствовали перед эрцгерцогом Альбертом за одного юношу, уроженца этого города. Я бы не обратилась к вам, если б мой брат не поссорился с эрцгерцогом и теперь не мог мне помочь. Насколько мне известно, вы пользуетесь доверием эрцгерцога.

— Он высоко отзывался о моей доблести.

В те времена эрцгерцог Альберт командовал испанскими войсками в Нидерландах.

— Мне кажется, этому юноше стоит поступить к нему на службу. Он храбр и силен, из него получится отличный солдат.

Дон Мануэль облегченно вздохнул. Его отношения с эрцгерцогом позволяли обратиться к последнему с подобной просьбой.

— Я думаю, что без труда выполню желание вашего преподобия. Юноша, естественно, из хорошей семьи?

— Среди его предков нет ни мавров, ни евреев.

Такой ответ не устроил дона Мануэля, так как указывал лишь на чистоту крови юноши.

— А как его зовут?

— Диего Мартинес.

— Сын портного? Но, мадам, вы требуете невозможного. У эрцгерцога служат только дворяне, и я не могу злоупотреблять его доверием.

— Я предвидела ваши возражения. У меня есть небольшое поместье неподалеку от города, которое я могу отдать юноше и через моего брата получить для него дворянскую грамоту. Вы рекомендуете его не как сына портного, но идальго дона Диего де Кинтамилла.

— Ваше преподобие, я не могу этого сделать.

— Тогда нам не о чем больше говорить.

Дон Мануэль забеспокоился. Предложение аббатисы сулило ему радужное будущее, и он предчувствовал, что, отказавшись, наживет себе могущественного врага. С другой стороны, если б эрцгерцог узнал истинное происхождение идальго Диего, то воспринял бы эту историю как личное

оскорбление. Донья Беатрис быстро поняла причину его тревоги.

— Вы — глупец, дон Мануэль. Дон Диего будет землевладельцем, и, поверьте мне, его поместье не идет ни в какое сравнение с тощими акрами, принадлежащими дону Хуану.

Каждое слово аббатисы хлестало его, как кнутом. «Если я пойду против ее воли,— подумал дон Мануэль,— она, не колеблясь, уничтожит меня».

— Могу я узнать, чем вызван интерес вашего преподобия к этому юноше? — спросил дон Мануэль.

— Моя семья всегда считала своим долгом помогать достойным людям занять соответствующее положение в обществе.

Осторожный ответ аббатисы успокоил дона Мануэля, и он даже позволил себе улыбнуться.

— Этот юноша — возлюбленный Каталины Перес?

Донью Беатрис возмутил и вопрос, и проницательность взгляда дона Мануэля, но она сдержала негодование.

— Он досаждает бедняжке своим вниманием.

— И поэтому вы хотите отправить его в Нидерланды?

Аббатиса на мгновение задумалась. Возможно, он кое о чем догадывался и уж явно не отличался тактичностью. Совсем не обязательно произносить вслух то, что понятно без слов. Тем не менее она ответила на вопрос дона Мануэля:

— Девушка молода и не знает, как распорядиться своей судьбой. В монастыре ее ждет блестящее будущее, и обстоятельства требуют, чтобы она постриглась в монахини. Я уверена, что

лишь присутствие молодого человека мешает ей оценить преимущества монастырской жизни и сделать шаг, которого с нетерпением ждет весь город.

— Но, мадам, не проще ли просто избавиться от юноши. Перерезать ему горло, и дело с концом.

— Это смертный грех, сеньор, и я в ужасе от вашего предложения. Убийство вызвало бы скандал, по городу поползли бы слухи, и я не убеждена, что нам удалось бы добиться желаемого результата.

— Так что я должен сделать, мадам?

Аббатиса задумчиво поглядела на дона Мануэля. Она понимала, что никто не должен знать о ее причастности к этому делу. Поэтому исполнение плана придется доверить кому-то еще, а она все еще сомневалась, что дон Мануэль обладал необходимым умом и хитростью. Что ж, она должна рискнуть, и она ответила без дальнейших колебаний.

— Заказать костюм.

Дон Мануэль опешил от изумления. Он взглянул на донью Беатрис, полагая, что это шутка, но на лице аббатисы не появилось и тени улыбки.

— Пошлите за портным. Пусть он принесет образцы материи и снимет с вас мерку. Он будет польщен вашим приглашением. У вас появится возможность поговорить о его сыне и упомянуть, что влиятельная персона хочет ему помочь. А потом по секрету посвятите его в мой план. Разумеется, не называя имен. А затем попросите портного под каким-нибудь предлогом прислать к вам юношу и раскройте ему замысел. Он наверняка чувствует, что рожден для более важных

дел, чем прозябание на скамье портного, и несомненно схватится за ваше предложение.

— Надо быть круглым дураком, чтобы отказаться.

— Когда у вас будет, что сказать, зайдите ко мне. Я надеюсь на вашу скромность и тактичность.

— Не волнуйтесь, мадам. Максимум через два дня я доложу об успешном выполнении вашего поручения.

— Можете быть уверены, в этом случае и я сделаю то, что обещала.

28

Дон Мануэль послал за портным. Он умел располагать к себе людей и после того, как портной снял необходимые размеры и показал разные материалы, легко втянул его в беседу. Портной, маленького роста, высохший мужчина с длинным острым носом, нашел в доне Мануэле внимательного слушателя и начал длинный рассказ о трудностях жизни. Войны и налоги вызвали всеобщее обнищание, и даже знатнейшие дворяне носили штаны и камзолы, пока они не протирались до дыр. Скоро, благодаря умело поставленным вопросам дона Мануэля, разговор перешел к сыну портного. Оказалось, что тот не хочет идти по стопам родителя и с большой неохотой учится ремеслу.

— А теперь, хотя ему всего восемнадцать, он задумал жениться.

— Тогда он остепенится.

— Только поэтому я и дал согласие на эту свадьбу.

— Да и приданое невесты, несомненно, пригодится в хозяйстве,— улыбнулся дон Мануэль.

— У нее нет ни гроша. Говорят, некоторые благородные дамы собираются дать ей приданое, но я не знаю, что из этого выйдет.

Портной рассказал, кто эта девушка.

— Я хотел бы женить его на другой, но ее отец почему-то не принял моих очень скромных условий, и я разрешил Диего жениться на Каталине. Я рассчитываю, что ее слава принесет мне новых клиентов. Жена, правда, ругает меня. Она говорит, какой смысл обшивать дворян, если они не могут заплатить за работу.

— Очень разумная мысль. Но, если уж дела так плохи, почему бы вам не отправить сына в армию?

— Жизнь, конечно, тяжела, но ремеслом он всегда сможет заработать себе на хлеб.

— Послушай-ка, приятель,— простота дона Мануэля очаровала портного,— ты же знаешь, что я уехал из города бедным, как церковная мышь. А теперь я — рыцарь Калатравы и обеспечен до конца своих дней.

— Но ваша светлость — дворянин, и вам помогали могущественные друзья.

— Дворянин — да, но я полагался не на друзей, а на силу, смелость и ум. О твоем сыне я слышал только хорошее, и, честно говоря, мне кажется, он рожден для больших дел. Я тоже был беден, мы — земляки, и я с удовольствием протяну ему руку помощи, получив, разумеется, твое согласие.

— Я не понимаю вас, сеньор.

— Эрцгерцог Альберт — мой друг и выпол-

нит любую мою просьбу. Если я рекомендую ему твоего сына, он возьмет его к себе.

От изумления у портного отвисла челюсть.

— Мы, естественно, должны позаботиться о том,— продолжал дон Мануэль,— чтобы он прибыл в армию не сыном портного. Неподалеку от города у меня есть маленькое поместье, которое я могу перевести на его имя. А мои друзья в Мадриде помогут ему получить дворянскую грамоту. Твой сын предстанет перед эрцгерцогом как дон Диего де Кинтамилла.

Так как аббатиса велела дону Мануэлю не упоминать ее имени, он преспокойно приписал себе благодеяния, сыпавшиеся на юношу, как из рога изобилия. Великодушие дона Мануэля потрясло портного. Его лицо задергалось, и по щекам потекли слезы радости. Дон Мануэль дружески похлопал его по плечу:

— Ну, ну, не надо волноваться. Иди домой, никому ничего не говори и пришли ко мне сына. Скажи ему, что забыл показать мне образец какой-нибудь материи.

Приятная наружность юноши обрадовала Мануэля. Подобающе одетый, он действительно мог сойти за дворянина. Держался он скромно, но с достоинством, и, судя по всему, не затерялся бы в любой компании. И после нескольких вступительных фраз дон Мануэль перевел разговор на интересующую его тему. Они проговорили почти час, а потом он поспешил в кармелитский монастырь.

— Я не терял времени даром и встретился и с отцом, и с сыном.

— Вы очень исполнительны, сеньор.

— Я — солдат, мадам. Отец полностью согла-

сен с нашим планом. Он просто потрясен щедростью неизвестного благодетеля к его сыну.

— Это вполне естественно.

Дон Мануэль переступил с ноги на ногу.

— Я хочу слово в слово повторить вашему преподобию разговор с сыном.

Аббатиса нахмурилась:

— Говорите.

— Он — очень симпатичный юноша и произвел на меня хорошее впечатление.

— Ваши впечатления меня не волнуют.

— Я быстро выяснил, что ему противно ремесло, которым занимается его отец, но он не видит другого выхода.

— Это мне уже известно.

— Я сказал, что не могу понять, как такой красивый и умный юноша, обладающий всем необходимым, чтобы завоевать место под солнцем, может смириться с прозябанием на скамье портного. Он ответил, что хотел бы отправиться на поиски приключений, но, не имея ни гроша, не решился покинуть отчий дом. Я объяснил ему, что королю нужны солдаты и на службе его величеству он может обрести почет и богатство. И мало-помалу рассказал, каким образом мы собираемся ему помочь.

— Очень хорошо.

— Он воспринял мое предложение довольно спокойно, но я видел, что искушение велико.

— Еще бы. Он согласился?

Дон Мануэль медлил с ответом, предчувствуя, что он не устроит аббатису.

— На определенных условиях.

— Выражайтесь яснее.

— Он заявил, что хочет жениться на своей

возлюбленной, но через год, когда она родит ему первенца, готов отправиться в Нидерланды.

Аббатиса пришла в ярость. Зачем ей нужна замужняя женщина с вопящим ребенком? Целомудрие, вечное целомудрие Каталины являлось основой ее замысла.

— Болван, вы все испортили,— воскликнула она.

Дон Мануэль побагровел:

— Разве я виноват, что этот идиот влюбился по уши.

— У вас хоть хватило ума показать ему, что только безумец может отказаться от такой возможности.

— Да, мадам. Я сказал, что это его единственный шанс и другого уже не представится. Я сказал, что в его возрасте глупо обзаводиться женой, а став дворянином и офицером, он найдет себе лучшую партию, чем дочь вышивальщицы. А если ему нужна женщина для развлечений, так в Нидерландах их больше, чем достаточно.

— И?

— Он ответил, что любит Каталину.

— Не приходится удивляться, что в мире все стало с ног на голову, а страна разваливается на глазах, если у правящих ею мужчин не осталось и капли здравого смысла.— Аббатиса презрительно взглянула на дона Мануэля. Тот не знал, что сказать, и молчал.— Вы не выполнили моего поручения, дон Мануэль, и я не вижу смысла в нашем дальнейшем общении.

Надежда на могущественную поддержку при дворе рассеивалась, как дым, но дон Мануэль не собирался отдать маркизу без борьбы.

— Ваше преподобие слишком легко отказы-

вается от своих планов. Отец юноши на нашей стороне. Ему не хочется, чтобы Диего женился на Каталине. Будьте уверены, он использует все средства, чтобы убедить сына принять наше предложение.

Аббатиса нетерпеливо махнула рукой.

— Плохо вы знаете человеческий характер, сеньор. Родительское противодействие лишь усиливает любовь молодых. С таким настроением девушка вряд ли пойдет в монастырь. Вот если бы Диего сам уехал в Нидерланды, она бы поняла, что любовь мужчины ничто по сравнению с любовью бога. Она бы погрустила, но в конце концов осознала, где истинное счастье.

— Есть много способов избавиться от неугодного человека. У меня есть надежные люди. Юношу схватят, отвезут в морской порт и посадят на корабль. Юность непостоянна. В Нидерландах, увидев новые города, окунувшись в водоворот сражений, с дворянской грамотой, он быстро забудет свою возлюбленную и скоро возблагодарит небо за спасение от семейных уз.

Аббатиса ответила на сразу. План дона Мануэля пришелся ей по душе. Непослушных сыновей часто отправляли в Америку, а дочерей, отказывающихся выйти замуж за избранника родителей, запирали в монастырях, пока они не начинали внимать голосу разума. Она не сомневалась, что разлука Диего и Каталины лишь пойдет им на пользу.

— Юноша наверняка расскажет Каталине о моем предложении,— добавил дон Мануэль.

— Почему?

— Чтобы показать, чем он жертвует ради нее.

— Ваша проницательность делает вам честь, сеньор.

— Когда однажды утром он исчезнет, Каталина решит, что он не устоял перед искушением.

— Это возможно. Но остается его отец. Если он обратится к властям, обман выплывет наружу.

— Чтобы этого не случилось, я собираюсь посвятить его в мой план. Он связывает с сыном честолюбивые замыслы и без колебаний сделает все, что я скажу. Портной будет молчать, а когда юноши хватятся, он уже покинет Испанию.

Аббатиса вздохнула.

— Мне не нравится ваш план, но молодежь, к сожалению, глупа, и будет лучше, если их судьбу решат люди, умудренные опытом прожитых лет. Я лишь требую, чтобы вы, по возможности, обошлись без насилия.

— Могу обещать вашему преподобию, что ему не причинят вреда. Мой человек проследит, чтобы он ни в чем не нуждался.

— Это в ваших же интересах,— сухо заметила аббатиса.

— Я знаю об этом, мадам. Можете полностью положиться на меня.

— Когда вы собираетесь увезти юношу?

— Как только закончу необходимые приготовления.

Донья Беатрис задумалась. Исчезновение Диего будет обсуждаться на всех перекрестках, и вполне вероятно, что о нем узнает епископ. Она уже столкнулась с его прозорливостью и понимала, что тот может догадаться, кто замешан в этом деле. Теперь она горько сожалела, что в порыве

гнев позволила себе сказать лишнее. Аббатиса не знала, что он предпримет, но чувствовала, что не стоит доводить их отношения до открытой конфронтации.

— Когда ваш брат уезжает из города, дон Мануэль? — спросила донья Беатрис.

Вопрос удивил его.

— Не знаю, ваше преподобие, но, если вас это интересует, могу выяснить.

— Я хочу, чтобы до его отъезда вы ничего не предпринимали.

— Но почему?

— Потому что мне так хочется. Вам достаточно знать, что таково мое желание.

— Как вам будет угодно, мадам. Юношу увезут в ночь после отъезда моего брата.

— Меня это устраивает, дон Мануэль.

Он поцеловал протянутую руку аббатисы и покинул молельню.

29

Хотя разумом донья Беатрис понимала, что действует по справедливости и для блага Каталины, в глубине души ее мучили сомнения. Раз или два она даже собиралась остановить дона Мануэля, но затем корила себя за проявленную слабость. Слишком много было поставлено на карту. Однако она нервничала, и монахини отметили ее непривычную раздражительность. И вот как-то утром донья Анна сообщила аббатисе, что епископ уехал. Не привлекая внимания, он на заре покинул Кастель Родригес, сопровождаемый лишь секретарями и слугами. Часом позже дон Мануэль прислал записку, в которой докладывал,

что все приготовления закончены и ночью Диего исчезнет из города.

Ближе к вечеру ей сказали, что Каталина просит принять ее. Девушку провели в молельню. К своему неудовольствию, аббатиса увидела, что та крайне возбуждена. Она догадалась, что Каталина о чем-то узнала.

— Что случилось, дитя мое? — спросила донья Беатрис.

— Ваше преподобие говорили, что я могу прийти к вам, если попаду в беду,— и Каталина разрыдалась.

Аббатиса подождала, пока девушка успокоится, и повторила вопрос. Всхлипывая, Каталина рассказала, что какой-то знатный дворянин предложил послать Диего в армию, пообещав подарить ему поместье и дворянскую грамоту. Тот из любви к ней отказался и в результате жестоко поссорился с отцом. Портной заявил, что, если Диего не примет этого великодушного предложения, его увезут силой, и запретил ему жениться на Каталине. Аббатиса нахмурилась. Портной спутал им все карты. Если Диего исчезнет, девушка будет знать, что его увезли против воли. А она рассчитывала представить дело так, будто он все-таки поддался искушению и сам покинул невесту.

— Он не мог и мечтать о такой судьбе,— заметила аббатиса.— Любой юноша, не колеблясь, схватился бы за такой шанс. Мужчины тщеславны и трусливы и, совершая дурной поступок, стараются доказать, что действовали с благими намерениями. Возможно, он лжет, говоря о насилии, чтобы ты не думала, что он бросил тебя.

— Этого не может быть! Он любит меня. О, мадам, вы — святая женщина, вы не знаете, что

такое любовь. Если у меня отнимут Диего, я умру.

— Никто еще не умирал от любви,— с горечью ответила аббатиса.

Каталина упала на колени и простерла к ней руки в страстной мольбе:

— О, ваше преподобие, пожалейте нас. Спасите Диего. Не разрешайте им увезти его. Я не смогу без него жить. О, мадам, если б вы знали, что я испытала, думая, что потеряла его навсегда, и как ночь за ночью я плакала, пока не испугалась, что ослепну. Разве пресвятая дева излечила меня не для того, чтобы я смогла стать женой моего любимого? Она пожалела меня, почему же вы не хотите помочь мне?

Аббатиса сжала ручки кресла так, что побелели костяшки пальцев.

— Все это время я стремилась к нему. У меня разрывается сердце. Я лишь бедная и невежественная девушка. У меня ничего нет, кроме моей любви. Я люблю его всем сердцем.

— Он — никто,— прохрипела донья Беатрис.— Он ничем не отличается от других.

— Ах, мадам, вы говорите так, потому что никогда не испытывали страданий и блаженства любви. Я хочу чувствовать его руки, обнимающие меня. Я хочу ощущать тепло его губ, прижатых к моим, ласку его рук на моем обнаженном теле. Я хочу, чтобы он обладал мной, как влюбленный обладает женщиной, которую любит. Я хочу, чтобы его семя устремилось в меня и я зачала ему ребенка. Я хочу, чтобы его ребенок сосал мою грудь.

Каталина прижала руки к груди, и чувственность изливалась из нее столь ярким пламенем,

что аббатиса отпрянула назад. Ее словно обдало жаром печи, и она подняла руки, защищаясь от него. Она взглянула в лицо девушки и содрогнулась. Оно странно изменилось, побледнело, превратилось в маску желания. Каталина жаждала мужчину. Страсть захватила ее. И внезапно лицо аббатисы исказилось гримасой, гримасой невыносимой боли, и из ее глаз брызнули слезы. Каталина испуганно вскрикнула:

— О, ваше преподобие, что я сказала? Простите меня, простите.— Она прижалась к коленям доньи Беатрис. Каталину поразил всплеск чувств в женщине, в которой она всегда видела лишь спокойствие, степенность, достоинство. Она ничего не понимала. Она не знала, что делать. Она взяла в свои тонкие руки руки аббатисы и поцеловала их.— Мадам, почему вы плачете? Что я сделала?

Донья Беатрис вырвала руки и, сжав их в кулаки, попыталась успокоиться.

— Я — злая и несчастная женщина,— простонала она.

Аббатиса откинулась в кресле и закрыла лицо руками. Воспоминания о далеком прошлом захватили ее, и, стискивая зубы, она с трудом подавляла рыдания. Эта глупышка сказала, что она никогда не знала любви. Как жестоко после стольких лет ощутить, что старая рана так и не затянулась. Разве у нее самой не разрывалось сердце из-за юноши, который теперь превратился в худого, изможденного священника. Аббатиса смахнула слезы и, взяв в руки нежное личико Каталины, вглядывалась в него, словно никогда не видела его раньше. Животная страсть, мгновение назад исказившая ее черты, исчезла. Абба-

тиса видела лишь нежность, внимание, невинность. И вновь ее поразила красота Каталины. Такая молодая, такая прекрасная и так беззаветно любящая этого юношу. Как она могла подумать о том, чтобы разбить сердце бедняжки, испытав на себе, что это значит для юной души! И аббатиса сдалась под напором истинной любви, уступила велению сердца и пошла против своей же воли, ощутив при этом невыразимое облегчение. Она наклонилась и поцеловала алые губки девушки.

— Не бойся, дитя мое. Ты выйдешь замуж за своего любимого.

Каталина радостно вскрикнула и принялась благодарить аббатису, но та резко оборвала девушку. Деликатность ситуации требовала предельной осмотрительности, и ей хотелось спокойно обдумать следующий шаг. Через несколько часов Диего увезли бы к морю. Она могла послать за доном Мануэлем и запретить ему что-либо предпринимать, но этим не избавила бы себя от возможных осложнений. Брошенные ею семена дали хорошие всходы. Горожане твердо верили, что Каталина станет монахиней. Донья Беатрис хорошо знала страстную религиозность своих соотечественников. Если бы Каталина пошла против их воли и вышла замуж за сына портного, они восприняли бы ее поступок как оскорбление веры. Восхищение, даже обожание, с которыми смотрели на девушку в Кастель Родригесе, сменилось бы негодованием и презрением. И аббатиса не удивилась бы, если б дом Каталины сожгли, ее саму забросали камнями, а Диего вогнали в спину острый кинжал. Оставалось только одно.

— Вы с Диего должны немедленно покинуть

город. Найди Доминго, своего дядю, и приведи его сюда.

Каталина, сгорая от любопытства, хотела узнать, что задумала аббатиса, но та велела ей не задавать вопросов, а делать то, что сказано.

Когда, несколько минут спустя, Каталина вернулась с Доминго, донья Беатрис отослала девушку, чтобы поговорить с ним наедине. Она рассказала ему то, что сочла необходимым, и послала с запиской к управляющему ее поместьями. Затем она велела Доминго найти Диего и объяснить юноше, что от него требуется. Отпустив Доминго, она вновь позвала Каталину.

— Ты проведешь вечер со мной, дитя мое. В полночь я выведу тебя через потайную дверцу в городской стене. Там тебя встретит Доминго с лошадью, которую по моему указанию даст ему управляющий. Он отвезет тебя в другое место, где будет ждать Диего. С ним ты поскачешь в Севилью. Я дам тебе письмо к моим друзьям, и они найдут вам подходящую работу и жилье.

— О, мадам,— возбужденно воскликнула Каталина,— как я смогу отблагодарить вас за все хорошее, что вы для меня сделали?

— Слушай меня внимательно,— сухо ответила аббатиса.— Скачите быстро и нигде не останавливайтесь. Целомудрие — корона девушки, и ты должна хранить ее, пока церковь не благословит ваш союз. Не забывай, что прелюбодеяние — смертный грех. Как только рассветет, ты должна в первой же деревне найти священника и попросить его обвенчать вас с Диего. Посмотри сюда.

Каталина посмотрела и увидела простенькое золотое колечко.

— Это кольцо я приготовила к твоему посвящению в монахини. Пусть оно станет твоим обручальным кольцом,— она положила колечко на ладонь Каталины, сердце которой учащенно забилось.

Потом они долго молились, и, наконец, часы пробили полночь.

— Пора,— сказала донья Беатрис и достала из ящика стола туго набитый кожаный мешочек.

— В нем золотые монеты. Спрячь его так, чтобы не потерять, и не давай Диего. Мужчины не знают цену деньгам и тратят их на всякие глупости.

Каталина скромно отвернулась и, подняв юбку, сунула мешочек в чулок и завязала тесемки вокруг ноги.

Донья Беатрис зажгла фонарь и велела девушке следовать за ней. По пустынным коридорам они вышли в сад и прошли к дверце в городской стене. Аббатиса приказала пробить ее, чтобы уходить из монастыря незамеченной или принимать гостей, чей визит, по каким-то причинам, следовало сохранить в тайне. Она достала ключ и отворила дверцу. Доминго, верхом на лошади, ждал в тени стены. В небе сияла полная луна.

— А теперь иди,— прошептала донья Беатрис.— Благослови тебя бог, дитя мое, и вспоминай меня в своих молитвах, ибо я грешная женщина и нуждаюсь в заступнике перед гневом божьим.

Каталина выскользнула из монастыря, аббатиса заперла дверцу, подождала, пока стихнет стук копыт, гулко раздававшихся в ночной тиши, и пошла к себе. По ее щекам катились слезы, и она едва видела, куда идет. Остаток ночи донья Беатрис провела в молитве.

30

Доминго протянул Каталине руку и помог ей сесть сзади него. Было тихо и тепло, но высоко в небе ветер гнал черные облака, края которых серебрились в лунном свете. Они скакали вперед, единственные обитатели этого загадочного мира.

— Дядя Доминго.

— Да?

— Я выхожу замуж.

— Только обязательно выйди, дитя. Учти, что мужчины в большинстве своем стремятся избежать этого священного обета, хотя он необходим для спасения души.

Они проехали спящую деревушку, и вдали показалась небольшая рощица. Из-под деревьев появилась одинокая фигурка, и Доминго натянул поводья. Каталина соскользнула с лошади и бросилась в объятья Диего. Доминго спрыгнул на землю.

— Достаточно,— сказал он.— Вы еще успеете нацеловаться. Садитесь на лошадь и уезжайте. Еда и вино в переметных сумах.

Он обнял Каталину и Диего, помахал им рукой на прощание и сел под деревом, так как городские ворота давно закрылись. Достав из кармана припасенную бутылку вина, Доминго поднес горлышко ко рту и приготовился встретить рассвет в компании с музой. Но, не успев решить, сочинить ли ему сонет величественной луне или оду всесокрушающей любви, он задремал и проснулся лишь после восхода солнца.

Влюбленные скакали больше часа, и Каталина говорила, не закрывая рта. Диего был так

счастлив, что смеялся над каждым ее словом. Она чувствовала себя на седьмом небе, сидя за спиной любимого на несущейся сквозь ночь лошади.

— Я готова скакать с тобой хоть на край света.

— Я голоден,— ответил Диего.— Давай остановимся и посмотрим, что у нас в переметных сумах.

Дорога как раз проходила мимо леса, и он натянул поводья. Каталина прекрасно понимала, что он вряд ли удовлетворится лишь едой и питьем. И без предупреждения аббатисы и Доминго она знала, что нельзя дать мужчине волю до того, как их отношения узаконены церковью. Слишком часто девушки, уступившие возлюбленным, обнаруживали, что те не спешат выполнить данные ранее обещания.

— Поехали дальше, дорогой,— сказала Каталина.— Аббатиса советовала не останавливаться. Вдруг за нами будет погоня.

— Я никого не боюсь,— ответил Диего.

Он перекинул ногу через голову лошади, спрыгнул на землю и подхватил Каталину. Как только она оказалась в его объятьях, Диего осыпал поцелуями ее глаза и губы, а затем увлек к лесу. И тут по их спинам забарабанил дождь. Оба вздрогнули от неожиданности, так как не ощущалось и дуновения ветерка и они не заметили появившуюся над их головами тучку. И храбрый, как лев, Диего, готовый сразиться с десятком вооруженных мужчин, испугался за свой новый и единственный костюм.

— Там нет дождя,— он указал на другую сторону дороги.— Побежали.

Но, когда они достигли желанного места, дождь превратился в ливень.

— Поехали,— раздраженно воскликнул Диего.— Туча маленькая, мы ее обгоним.

Он вскочил в седло, помог Каталине сесть сзади и вонзил шпоры в бока лошади. Едва они выехали из леса, как дождь прекратился. Диего взглянул на небо. Позади громоздились темные облака, впереди сияли яркие звезды. Примерно полчаса они скакали в полном молчании. Около одинокой рощицы Диего вновь натянул поводья.

— Остановимся здесь,— и тут же на его нос упала тяжелая капля.

— Ерунда,— он спрыгнул на землю, и дождь сразу же усилился.— Это проделки дьявола.

Как только Диего оказался в седле, дождь прекратился, как по мановению волшебной палочки.

— Дьявол тут ни при чем,— заметила Каталина.

— Тогда кто?

— Пресвятая дева.

— Ты несешь чепуху, женщина, и скоро я тебе это докажу.

Они поскакали дальше, но теперь его острый взор не находил дерева, к которому он мог бы привязать лошадь.

— Надо было взять с собой веревку, чтобы стреножить ее,— пробурчал Диего.

— Всего не предусмотришь,— сочувственно вздохнула Каталина.

— Лошадь должна отдохнуть. Да и нам не помешает вздремнуть на обочине.

— Я не смогу заснуть.

— Я, кажется, тоже,— усмехнулся он.

— Посмотри, опять пошел дождь. Мы промокнем насквозь.

— Несколько капель нам не повредит.— Но капли сменились потоком, и Диего, выругавшись, пришпорил лошадь.— Ничего подобного я еще не видел.

— Почти что чудо,— прошептала Каталина.

Диего сдался. Хотя дождь и кончился, они основательно промокли, и его любовный пыл в значительной мере охладили мысли об испорченной одежде. Наконец на востоке затеплился рассвет. Дорога поднялась на вершину холма, и внизу, в розовом отсвете зари, они увидели маленькую деревушку. Навстречу уже попадались крестьяне, спешащие на поля. Они въехали в деревню, но тут лошадь остановилась, как вкопанная.

— Это еще что такое,— возмутился Диего, пришпоривая лошадь.— Вперед!

Но та даже не шевельнулась. Диего стегнул ее по голове поводьями, вонзил шпоры в бока. Но и это не произвело никакого эффекта. Казалось, она окаменела.

— Я заставлю тебя двинуться,— рассвирепел Диего и изо всех сил хлестнул лошадь по шее. Та встала на дыбы, и Каталина испуганно вскрикнула. Диего кулаком стукнул лошадь по голове, она опустилась на все четыре ноги, но не тронулась с места. Она стояла, как вкопанная. Диего побагровел от ярости, вспотел.

— Ничего не понимаю. Неужели дьявол вселился и в лошадь? — Тут Каталина рассмеялась, и он повернулся к ней с перекошенным от злости лицом.— Что тут смешного?

— Не сердись, любовь моя. Разве ты не видишь, где мы? У церкви.

Диего, нахмурившись, оглянулся. Действительно, лошадь остановилась прямо у церкви, расположенной на самой окраине деревни.

— Ну и что?

— Аббатиса заставила меня обещать ей, что мы обвенчаемся в первой же церкви. Она перед нами.

— Мы еще успеем это сделать,— пробурчал Диего, вонзая шпоры в бока лошади. В следующее мгновение они взлетели в воздух, сброшенные разъяренным животным, но, к счастью, приземлились в копну сена и не пострадали.

Как раз в этот момент из церкви вышел священник, отслуживший мессу, и поспешил к ним на помощь. Они вылезли из копны и стряхнули с себя сено.

— Вам повезло,— убедившись, что все в порядке, сказал священник, низенький краснолицый толстяк.— Еще немного, и вы оказались бы в моем амбаре.

— Провидению было угодно, чтобы это случилось у дверей церкви,— ответила Каталина,— ибо мы ищем священника, чтобы он обвенчал нас.

Диего хмуро взглянул на нее, но промолчал.

— Обвенчал вас? — воскликнул священник.— Но вы не мои прихожане. Я вижу вас впервые в жизни. Разумеется, я не стану этого делать. Я ничего не ел со вчерашнего ужина и сейчас иду домой, чтобы хоть немного перекусить.

— Пожалуйста, подождите, святой отец.— Каталина повернулась к ним спиной, быстро достала из-под юбки золотой и с улыбкой протянула его священнику. Тот покраснел еще больше.

— Но кто вы? — с сомнением спросил он.—

Почему вы хотите обвенчаться в незнакомом месте и в такой спешке?

— Пожалейте юных влюбленных, святой отец. Мы убежали из Кастель Родригеса, потому что мой отец хотел выдать меня за богатого старика, а этого юношу, моего возлюбленного, собирались женить на женщине, у которой нет ни одного зуба и остался только один глаз.— Для большей убедительности она вложила сверкающую монету в руку священника.

— Какая трогательная история,— вздохнул тот, убирая монету в карман.— Я едва сдерживаю слезы.

— Обвенчав нас, вы не только сделаете доброе дело, но и спасете две души от совершения смертного греха.

— Идите за мной,— священник повернулся и направился к церкви.— Пепе! — крикнул он с порога.

— Чего еще? — последовал ответ.

— Иди сюда, ленивый мерзавец.

Из придела вышел мужчина со щеткой в руке.

— Почему вы не даете мне спокойно подмести пол? — проворчал он.— Мало того, что мне платят жалкие гроши, так еще и дергают каждую минуту. Когда я доберусь до своего поля, если вы все время отрываете меня от работы.

— Придержи язык, сукин ты сын. Я собираюсь обвенчать этих молодых людей. Ой, нужны два свидетеля,— священник взглянул на Каталину.— Придется вам подождать, пока этот пьяница приведет кого-нибудь из деревни.

— Я буду вторым свидетелем,— раздался женский голос.

Все обернулись и увидели подходящую к ним

женщину в синем плаще. Широкий белый шарф покрывал ее волосы. Священник удивленно оглядел ее с ног до головы, так как во время мессы в церкви не было ни души, и нетерпеливо пожал плечами.

— Очень хорошо. Тогда приступим к делу. Мне давно пора завтракать.

При виде незнакомки Каталина вздрогнула и сжала руку Диего, а та с улыбкой поднесла палец к губам, призывая девушку к молчанию. Спустя несколько минут Каталину Перес и Диего Мартинеса соединили нерушимые узы брака. Они прошли в ризницу и священник записал в церковную книгу фамилии новобрачных и их родителей. Затем ризничий написал свое имя.

— Это все, на что он способен,— вздохнул священник.— И мне потребовалось шесть месяцев, чтобы научить его такой малости. Теперь ваша очередь, мадам.

Он обмакнул перо в чернила и протянул его незнакомке.

— Я не умею писать,— ответила женщина.

— Тогда поставьте крест, а я напишу ваше имя.

Женщина взяла перо и поставила в книге крест. Каталина, с бьющимся сердцем, не отрывала от нее глаз.

— Я не смогу записать ваше имя, если вы мне его не скажете,— буркнул священник.

— Мария, дочь пастуха Иоахима,— ответила незнакомка.

Священник сделал запись и облегченно вздохнул.

— Ну вот и все. Теперь я могу поесть.

Все, кроме ризничего, оставшегося дометать

пол, вышли из церкви. Но врожденная вежливость испанца не позволила священнику сразу распрощаться с молодоженами.

— Я сочту за честь, если вы соблаговолите посетить мое скромное жилище и разделить со мной трапезу, которую, по бедности своей, я могу себе позволить.

Каталина, получившая хорошее воспитание, понимала, что подобное любезное предложение следует с благодарностью отклонить, но Диего так проголодался, что не дал ей открыть рта.

— Сеньор, ни я, ни моя жена не ели со вчерашнего дня, и, как ни скудна ваша еда, нам она покажется заморским лакомством.

Священник молча провел их в маленькую комнату, служащую молельней, столовой и кабинетом, поставил на стол хлеб, овечий сыр, вино, блюдо с черными оливками, отрезал четыре ломтя и налил четыре стаканчика, вырезанных из бычьих рогов. Он с жадностью принялся за еду, и Диего с Каталиной последовали его примеру. Священник потянулся за оливкой и тут заметил, что незнакомка ничего не ест.

— Прошу вас, мадам, кушайте,— сказал он.— Это простая еда, но больше я ничего не могу вам предложить.

Она взглянула на вино и хлеб и с грустной улыбкой покачала головой.

— Я съем оливку.

В этот момент в комнату ворвался ризничий.

— Сеньор, сеньор,— возбужденно вскричал он,— у нас украли пресвятую деву.

— Я не глухой, старый осел,— оборвал его священник.— Ради бога, объясни, что произошло?

— Я говорю, у нас украли пресвятую деву.

Я вошел в придел и увидел, что пьедестал, на котором она стояла, пуст.

— Ты что, Пепе, пьян или сошел с ума? — священник вскочил на ноги.— Да кто мог это сделать?

Он выбежал из дома, ризничий, Каталина и Диего — за ним.

— Это не я, это не я,— кричал Пепе.— Я не хочу, чтобы меня посадили в тюрьму.

Они влетели в придел девы Марии. Ее статуя стояла на пьедестале.

— Зачем ты оторвал меня от еды? — прорычал священник.

— Ее тут не было. Клянусь всеми святыми, ее тут не было,— завопил Пепе.

— Пьяная свинья. Старый винный бурдюк.

Священник схватил Пепе за шею, дал ему хорошего пинка и пару затрещин.

— Будь у меня палка, я бы с удовольствием обломал ее о твои бока.

Когда священник и молодожены вернулись в дом, оказалось, что странная незнакомка исчезла.

— Куда она подевалась? — удивился священник и тут же хлопнул себя по лбу.— Какой же я дурак! Она, конечно, из морисков. Когда Пепе сказал, что из церкви украли святую деву, она решила, что ей лучше сбежать. Мориски — известные воры, и она подумала, что кто-то из неверных украл статую. Вы заметили, что она не пила вина? Их крестили, но они все равно держатся за свои языческие обычаи. У меня уже возникли подозрения, когда она назвала себя. У доброго христианина не может быть такого имени.

— В Кастель Родригесе уже давно избавились от морисков,— сказал Диего.

— И правильно сделали. Я каждую ночь молюсь о том, чтобы наш добрый король выполнил свой долг перед христианством и вышвырнул этих еретиков из королевства.

Вероятно, тут уместно отметить, что молитвы достойного пастыря уже услышаны и в 1609 году морисков выслали из Испании.

Закончив завтрак и поблагодарив священника, Диего и Каталина продолжили путь в Севилью. Лошадь, оставленная у копны, также закусила сеном. Диего напоил ее водой, и она весело несла юных седоков. В безоблачном небе сияло яркое солнце. Священник сказал, что в пятнадцати милях от деревеньки находилась корчма, где они могли бы получить комнату, если б решили остановиться на ночь. В молчании они проехали три или четыре мили.

— Ты счастлив, дорогой? — спросила, наконец, Каталина.

— Конечно.

— Я буду тебе хорошей женой. Ради твоей любви я готова работать не покладая рук.

— Тебе не придется этого делать. Умный человек сможет прокормить в Севилье свою семью, а пока никто не считал меня дураком.

— Конечно, дорогой.— Они помолчали, и вновь Каталина заговорила первой: — Послушай, милый, это была не мавританка.

— О чем тут говорить? Одного взгляда достаточно, чтобы понять, что она не испанка.

— Но я видела ее раньше.

— Где?

— На ступеньках кармелитской церкви. Она сказала, кто сможет излечить меня.

Диего остановил лошадь и оглянулся.

— Бедняжка, ты сошла с ума. Солнце напекло тебе голову.

— Я в своем уме так же, как и ты, любимый. Говорю тебе, это была пресвятая дева.— Диего нахмурился, но промолчал.— Ее преподобие многократно говорила мне, что я нахожусь под особой защитой нашей госпожи. Поэтому она и хотела, чтобы я постриглась в монахини. Вспомни неожиданные ночные дожди и лошадь, сбросившую нас у церкви. Ты должен понимать, что это произошло не случайно.

Не говоря ни слова, Диего отвернулся и щелкнул языком. Лошадь послушно пошла вперед.

— Что с тобой, дорогой? — спросила Каталина, едва сдерживая слезы.

— Ничего.

— Посмотри на меня, любовь моя. Я тоскую по твоему нежному взгляду.

— Как я могу смотреть на тебя, когда на дороге полно колдобин. Если лошадь споткнется, мы сломаем себе шеи.

— Ты сердишься на меня, потому что дева Мария охраняла мою добродетель и сочла возможным стать свидетельницей на нашей свадьбе?

— Я не просил о такой чести.

— Это и является причиной твоего раздражения?

Диего ответил не сразу:

— Я не хочу, чтобы различие во мнениях о твоем чудесном излечении повлияло на наше счастье. Мужчина должен быть хозяином в своем

доме. Обязанность жены — выполнять желания мужа.

Каталина обняла Диего, и он почувствовал, что ее руки дрожат.

— Слезами тут не поможешь.

— Я не плачу.

— А что же ты делаешь?

— Смеюсь.

— Смеешься? Тут нет ничего смешного, женщина. Вопрос серьезен и очень беспокоит меня.

— Мой милый, я люблю тебя всем сердцем, но иногда ты ведешь себя, как ребенок.

— Я не понимаю, что ты хочешь этим сказать,— холодно бросил Диего.

— Аббатиса говорила мне, что расположением святой девы я обязана своему целомудрию. Похоже, небеса придают этому большое значение. Как только я стану женщиной, все благодеяния кончатся.

Диего развернулся в седле, и на его губах заиграла улыбка.

— Благослови господи мать, что родила тебя,— воскликнул он.— Мы должны безотлагательно проверить, так ли это.

— Солнце уже высоко. Я бы с удовольствием отдохнула в тени деревьев, пока не спадет жара.

— И я почему-то подумал о том же.

— Если глаза не обманывают меня, в миле отсюда я вижу подходящий лесок.

— Если глаза обманывают тебя, то я не могу верить и своим.

Диего пришпорил лошадь, и скоро они въехали в лес. Он спрыгнул на землю и снял с седла Каталину. Пока Диего привязывал лошадь, она посмотрела, какую еду положил им Доминго.

Хлеб и сыр, колбаса, вареный цыпленок, бурдюк вина. Что еще можно желать для свадебного завтрака? Под сенью листвы царила прохлада, неподалеку журчал ручеек. Трудно было найти более подходящее место.

31

Они появились из леса, когда солнце начало клониться к западу.

— Два раза надежнее одного,— сказал он.

— Три,— с улыбкой поправила его Каталина.

— Это пустяки,— ответил Диего, довольный собой.— Ты еще не знаешь, на что я способен.

— Ты бесстыдник.

— Я такой, каким создал меня бог,— скромно ответил он.

Они ехали не спеша, поднимаясь на холмы и опускаясь в низины, почти не разговаривая, наслаждаясь своим счастьем. Через шесть или семь миль вдали показалось приземистое здание корчмы, о которой говорил священник.

— Мы скоро приедем. Ты устала, любимая?

— Устала? — удивилась Каталина.— С чего мне уставать? Я свежа, как утренняя заря.

Они проехали добрых сорок миль, и она спала не больше часа. Но ей было лишь шестнадцать.

Они уже ехали по равнине, и с обеих сторон дороги простирались широкие поля. Тут и там виднелись одинокие кряжистые дубы, попадались и оливковые рощи. До корчмы оставалось не больше мили, когда они увидели приближающегося к ним в облаке пыли странного всадника в боевых рыцарских доспехах. В нескольких мет-

рах незнакомец резко остановил лошадь, наставил на них копье и вызывающе взглянул на Диего.

— Стой и, кто бы ты ни был, скажи мне, кто ты такой, откуда пришел, куда идешь и кто эта прекрасная принцесса, что сидит за твоей спиной? Ибо у меня есть все основания подозревать, что ты везешь ее в свой замок против ее воли, и мне необходимо знать, так ли это, чтобы наказать тебя за причиненное ей зло и вернуть ее встревоженным родителям.

Эта тирада так поразила Диего, что сначала он даже не нашелся, что ответить. Длинное лицо всадника украшала короткая борода и огромные усы, на броне проступали пятна ржавчины, шлем скорее напоминал таз цирюльника, а по его тощей лошади давно плакала живодерня, и Диего мог пересчитать все ее ребра.

— Сеньор,— ответил, наконец, юноша, решив показать перед Каталиной свою доблесть,— мы едем в корчму, что виднеется впереди, и я не собираюсь отвечать на ваши неуместные вопросы.

Он шевельнул поводьями, и лошадь двинулась дальше, но всадник схватился за узду и остановил ее.

— Веди себя как полагается, гордый, неучтивый рыцарь, и немедленно отвечай, а не то я вызову тебя на смертный бой.

Тут к ним подъехал низенький толстячок с большущим животом, сидящий на пятнистом осле. Поймав взгляд Диего, он постучал себя по лбу, показывая, что этот странный всадник не в своем уме. Но Диего уже вытащил меч и приготовился к защите. Толстяк на осле едва успел втиснуться между ними.

— Сдержите свой гнев, сеньор,— сказал он

рыцарю.— Это мирные путешественники, но юноша, по всей видимости, может постоять за себя, когда дело дойдет до драки.

— Молчи, слуга,— воскликнул всадник.— Чем опасней схватка, тем легче доказать свою доблесть.

Каталина соскользнула с лошади и подошла к незнакомцу.

— Сеньор, я отвечу на ваши вопросы. Этот юноша — не рыцарь, но честный гражданин Кастель Родригеса и портной по профессии. Он не везет меня в замок, которого у него нет. И по своей воле я еду с ним в Севилью, где мы надеемся найти достойное приложение нашим способностям. Мы убежали из родного города, так как враги хотели помешать нашему счастью, и сегодня утром обвенчались в церкви маленькой деревушки неподалеку отсюда. И мы торопимся уехать как можно дальше от Кастель Родригеса, опасаясь погони.

Рыцарь перевел взгляд с Каталины на Диего, а затем отдал копье толстяку на осле. Тот что-то проворчал, но копье взял.

— Убери свой меч, юноша. Тебе нечего бояться, хотя я вижу, что это чувство незнакомо твоему благородному сердцу. Если угодно, скрывайся под скромной личиной портного, но поведение и манера держаться выдает твое славное происхождение. Тебе повезло, что наши пути пересеклись. Я — странствующий рыцарь, и мой долг — ездить по свету и восстанавливать справедливость, освобождая угнетенных и наказывая поработителей. Я беру вас, мои юные друзья, под свое покровительство, и будь армия ваших врагов в десять тысяч раз сильнее, я один обращу их в бегство, попытайся они захватить вас. Я сам

провожу вас к корчме, где, кстати, сейчас и живу. Мой слуга поедет с вами. Он невежествен и сварлив, но у него доброе сердце, и он будет слушаться вас, как меня. Я поеду сзади и, заметив погоню, задержу их, чтобы ты, рыцарь, мог увезти эту красавицу в безопасное место.

Диего помог Каталине взобраться на лошадь, и в сопровождении толстяка они поехали к корчме. Он рассказал молодоженам, что его хозяин совсем спятил, о чем, впрочем, они подумали и сами, но добавил, что тот очень искренний и хороший человек.

— А когда к нему возвращается разум, он за час может высказать столько умных мыслей, сколько другому не придет в голову и за целый год.

Они подъехали к корчме. Сидящие на скамейках люди, мельком взглянув на двух путешественников, вернулись к своим, по всей видимости, невеселым думам. Толстяк слез с осла и позвал хозяина. Тот вышел из дверей и на просьбу Диего отвести им комнату не слишком вежливо ответил, что у него нет ни одной свободной кровати. Бродячие актеры приехали днем раньше, чтобы показать спектакль в близлежащем замке, принадлежащем испанскому гранду, праздновавшему бракосочетание своего сына и наследника. Сидящие на скамейках, скорее всего актеры, смотрели на молодую пару с враждебным безразличием.

— Но вы должны нам что-нибудь найти,— настаивал Диего.— Мы едем издалека и не в силах ехать дальше.

— Говорю вам, сеньор, все занято. Актеры спят и на кухне, и даже в конюшне.

— Что я слышу? — воскликнул подъехавший рыцарь.— Ты отказываешься принять этих господ? Невежа. Под страхом вызвать мое неудовольствие я приказываю тебе найти им приличную комнату.

— Корчма набита битком,— возразил хозяин.

— Дай им мою комнату.

— Они могут занять ее, сеньор рыцарь, будь на то ваша воля, но где тогда будете спать вы?

— Я не собираюсь спать,— важно ответил рыцарь.— Я буду стоять на страже. Сегодня они обвенчались, и это самый торжественный день в жизни девушки. Апостол учит нас, что лучше жениться, чем сгореть на костре. Цель супружества — не удовлетворение плотского сладострастия, но продолжение рода человеческого, и поэтому нашей покрасневшей от смущения невесте придется отбросить присущую ей скромность и в объятиях законного мужа расстаться с бесценной жемчужиной девственности. И я должен не только охранять свадебное ложе этих юных существ от вторжения преследующих их врагов, но и пресекать грубые шутки, которые в таких случаях позволяют себе невежды.

Каталина действительно покраснела, то ли от стыда, то ли от скромности.

В те времена путешественникам в Испании предоставляли только ночлег, а о еде им следовало заботиться самим. Но в тот день владелец замка прислал артистам козленка и большой кусок свинины. Слуга рыцаря где-то раздобыл пару куропаток, и все глотали слюнки в ожидании ужина, так как обычно их вечерняя трапеза состояла из хлеба с горчицей и, при удаче, куска сыра.

Хозяин объявил, что еда будет готова через полчаса, и рыцарь вежливо попросил молодоженов оказать ему честь и отужинать в его компании. И велел слуге проводить их в комнату и забрать оттуда его вещи. Комнаты располагались на втором этаже, и двери выходили на галерею вокруг внутреннего дворика. Приведя себя в порядок, Диего и Каталина вновь сошли вниз, подышать вечерней прохладой. Артисты по-прежнему сидели на скамейках, изредка переговариваясь друг с другом. Скоро к ним присоединился рыцарь. Он снял боевые доспехи и остался в замшевых штанах и камзоле, с ржавыми пятнами от панциря и наколенников. Его верный меч висел на поясе из волчьей шкуры.

Хозяин позвал всех ужинать. Рыцарь сел во главе стола, посадив Каталину слева, а Диего справа от себя.

— А где мастер Алонсо? — спросил он, оглядев присутствующих.— Разве ему не сказали, что ужин готов?

— Он не придет,— ответила женщина средних лет, игравшая дуэний, злых мачех и вдовствующих королев и ведавшая гардеробом артистов.— Он говорит, что потерял аппетит.

— На пустой желудок переносить неудачу вдвое труднее. Пойдите и приведите его. Скажите ему, что я сочту его отсутствие как оскорбление моих благородных гостей. Мы не будем есть, пока он не придет.

— Сходи за ним, Матео,— сказала дуэнья.

Худой, как палка, невысокий мужчина с длинным острым носом и большим ртом встал и вышел из столовой. Дуэнья вздохнула.

— Все это очень печально, но, как вы мудро

заметили, сэр рыцарь, он ничего не изменит, отказавшись от ужина.

— Простите меня за излишнее любопытство, но я хотела бы знать, что случилось? — спросила Каталина.

Актеры заговорили все разом. Труппой руководил Алонсо Фуэнтес, постановщик и автор большинства пьес их репертуара, а его жена Луиза играла ведущие женские роли. И вот сегодня, рано утром, она убежала с героем-любовником и захватила с собой все деньги. Это была катастрофа. Артисты прекрасно понимали, что зрители шли смотреть не на них, а на красавицу Луизу. Алонсо был в отчаянии. Он потерял не только жену, но ведущую актрису и источник доходов. Такое могло огорчить любого. Мужчины удивлялись, что она убежала с таким ничтожеством, как их герой-любовник. Женщины, с другой стороны, находили естественным, что Луиза предпочла молодого, симпатичного Хуанито Азуриа толстому, лысому Алонсо. Оживленную дискуссию прервало появление покинутого мужа, толстяка лет пятидесяти, с помятым лицом бывалого актера. Он угрюмо сел, и тут же на столе появилось большое блюдо мяса, тушенного с овощами.

— Я пришел только из уважения к вам, сеньор рыцарь,— сказал Алонсо.— Это мой последний ужин на земле, ибо сегодня вечером я твердо решил покончить с собой.

— Я настаиваю на том, чтобы вы подождали до завтра,— ответил рыцарь.— Этот дворянин и эта благородная дама, что сидят рядом со мной, поженились сегодня утром, и я не хочу, чтобы их первая ночь омрачилась столь прискорбным событием.

— Плевать я хотел на этого дворянина и на его даму. Вечером я повешусь.

Рыцарь вскочил на ноги и обнажил меч.

— Если вы не поклянетесь всеми святыми, что не станете вешаться сегодня вечером, вот этим мечом я разрублю вас на тысячу кусков.

— Не волнуйтесь, сеньор,— вмешался его слуга, стоящий сзади.— Алонсо не повесится сегодня, потому что завтра у него спектакль. Актер всегда остается актером, и он не сможет разочаровать своих зрителей. После ужина он со вздохом признает, что, взявшись за гуж, не скажешь, что не дюж, слезами горю не поможешь, а все, что ни делается, то к лучшему.

— Надоели мне твои бестолковые поговорки,— сердито проворчал рыцарь, но меч убрал.— Такое случалось и с более достойными людьми, чем Алонсо. Подумав, я мог бы привести дюжину примеров как из Евангелия, так и из языческих книг, но сейчас мне вспоминаются лишь король Артур, чья жена Гиневра изменила ему с сэром Ланселотом, и король Марк, жена которого, Изольда, убежала с сэром Тристаном.

— Меня привела в отчаяние не поруганная честь, сеньор рыцарь,— ответил Алонсо,— но потеря денег и двух ведущих актеров. Завтра у нас спектакль, и обещанное вознаграждение в некоторой степени поправит наше финансовое положение, но как можно сыграть пьесу без актеров.

— Я мог бы сыграть дона Фердинанда,— заметил тощий актер, ходивший за Алонсо.

— Ты? — изумленно воскликнул тот.— Да разве можно с такой лошадиной физиономией и писклявым голосом играть галантного и муже-

ственного принца? Нет, эту роль я мог бы взять на себя, но где нам найти очаровательную Доротею?

— Я знаю эту роль,— сказала дуэнья.— Правда, я не так молода, как когда-то...

— Совершенно верно,— прервал ее Алонсо,— и хочу напомнить, что Доротея — невинная девушка несравненной красоты, а взглянув на твою фигуру, можно подумать, что ты вот-вот разродишься выводком поросят.

— Если я правильно поняла, вы говорите о пьесе «Слово правды может сдвинуть и гору»? — неожиданно спросила Каталина, внимательно слушавшая этот разговор.

Да,— удивленно ответил Алонсо.— А как вы узнали об этом?

— Это одна из любимых пьес моего дяди. Мы не раз читали ее. Он часто говорил, что монолог Доротеи, в котором она негодующе отвергает недостойные ухаживания дона Фердинанда, написан в лучших традициях великого Лопе де Вега.

— Вы его знаете?

— Наизусть.

Каталина начала читать монолог, но, заметив, что все смотрят на нее, смутилась и замолчала на полуслове.

— Продолжайте, продолжайте,— закричал Алонсо.

Каталина покраснела, улыбнулась и, переборов смущение, прочла монолог до конца так трогательно и искренне, что у некоторых артистов на глазах навернулись слезы.

— Мы спасены,— взревел Алонсо.— Завтра вы будете играть Доротею, а я — дона Фердинанда.

— Но я не сумею,— в ужасе воскликнула Каталина.— Я умру от страха. Я же не актриса.

— Ваша юность и красота скроют любые огрехи. Я помогу вам. Послушайте, только вы можете нас спасти. Если вы откажетесь, мы не сможем дать спектакль и у нас не будет денег, чтобы заплатить за еду и жилье. Как нищим, нам придется просить подаяния на улицах.

Тут рыцарь сказал свое слово:

— Я могу понять, что ваша скромность не велит вам появляться на сцене в обществе незнакомцев, и тем более вы не можете этого сделать без дозволения вашего мужа, но помните, что благородной натуре свойственно приходить на помощь попавшим в беду.— Высокое происхождение молодоженов не вызывало у рыцаря никаких сомнений, и никакие доводы не могли убедить его в обратном.

Актеры дружно принялись уговаривать Каталину, и в конце концов она, испросив разрешения Диего, согласилась принять участие в репетиции. И, если она пройдет удачно, выступить на сцене. Сразу после ужина стол отодвинули в сторону, и репетиция началась. Каталина обладала хорошей памятью и так часто читала пьесу с Доминго, что теперь ей почти не требовалась подсказка. Поначалу она нервничала, но поддержка партнеров помогла ей, и вскоре она забыла обо всем, превратившись в Доротею. Уроки, полученные у дяди, пошли ей впрок, и через час-полтора Алонсо облегченно вздохнул, уверенный в том, что после еще одной, утренней репетиции она сможет появиться перед зрителями. Очарование юности Каталины с лихвой компенсировало недостаток опыта.

— Расходитесь, дети мои,— сказал он акте-

рам,— и спите спокойно. Наши беды остались позади.

Но, возбужденные открывающимися перспективами, они не хотели спать и послали за вином, чтобы отметить это радостное событие. Рыцарь, удобно устроившись в кресле, снисходительно наблюдал за актерами. Наконец, он поднялся на ноги и отозвал дуэнью в сторону.

— Отведи прекрасную Каталину в брачную опочивальню,— сказал он, понизив голос.— Тут нет ее матери, которая могла бы рассказать девушке, что ей надлежит знать об этом важном деле. И тебе придется объяснить, разумеется, используя понятия, не оскорбляющие ее скромности, какое тяжелое испытание ждет нашу красавицу, и упомянуть о том, что ей необходимо покорно выполнить долг верной жены. Короче, приготовь ее к таинствам любви, о которых, по своей невинности, она не имеет ни малейшего представления.

Дуэнья пообещала, что выполнит все в лучшем виде.

— А пока,— продолжал рыцарь,— я объясню благородному юноше, ее господину, что ему следует сдерживать естественное нетерпение, так как отвращение, испытываемое добродетельной девушкой к половой близости, можно преодолеть лишь неспешной лаской. Развращенность нашего века не позволяет нам надеяться на то, что и он сохранил невинность до этого торжественного дня.

— Не тратьте зря времени, сэр рыцарь,— усмехнулась дуэнья.— Надо радоваться, что мужчина не новичок в любви, ибо и здесь, как в любом искусстве, совершенство достигается лишь практикой.

— У меня нет достаточного опыта, чтобы вы-

сказаться по этому поводу, мадам,— ответил рыцарь.— В общем, когда невеста ляжет на брачное ложе, я приведу жениха к опочивальне, а затем буду охранять их покой.

Рыцарь отпустил дуэнью и позвал Диего.

Юноша вежливо, но не слишком внимательно выслушал наставления, так как мыслями уже был с Каталиной. Наконец, рыцарь взял его за руку и отвел в опочивальню, а сам, облачившись в боевые доспехи, провел ночь, меряя галерею шагами, поглощенный думами о недостижимой властительнице его благородного сердца.

32

На следующее утро актеры вновь репетировали пьесу, а потом кареты отвезли их в замок. Рыцарь и Диего на лошадях, а слуга на осле ехали следом. В последний момент у Каталины дрогнуло сердце, и, рыдая, она умоляла Алонсо оставить ее в корчме, так как она не сможет выступить перед зрителями. Алонсо рассвирепел и, затолкав девушку в карету, сел рядом. Слезы градом катились по щекам Каталины, но по дороге, с помощью дуэньи, ему удалось привести ее в чувство.

Актеров приняли с почетом, а рыцаря герцог пригласил на обед, справедливо полагая, что его экстравагантность развлечет гостей. Подмостки соорудили во внутреннем дворике, и, когда господа откушали, актерам предложили начинать. Высокородную аудиторию не в малой степени удивило появление Алонсо в роли соблазнителя, но всех очаровала грациозность Каталины, мелодичность ее голоса и элегантность речи. После спектакля девушку расхваливали на все лады. Рыцарь изло-

жил собственную романтическую версию бегства молодоженов, еще больше заинтересовав гостей. Герцогиня послала за Каталиной и Диего, и их красота и скромность произвели неотразимое впечатление. Герцогиня подарила Каталине золотую цепочку, а герцог, не желая отставать, снял с пальца перстень и передал его Диего. Алонсо также получил солидное вознаграждение, и усталые, но счастливые актеры вернулись в корчму. Рыцарь, спешившись, поцеловал Каталине руку и сказал, что он в полном восторге от спектакля, в особенности от ее игры. Тут к ним подошел Алонсо.

— Сэр рыцарь, я хочу в вашем присутствии предложить вам,— он посмотрел на Каталину,— присоединиться к моей труппе.

— Мне? — изумилась Каталина.

— Конечно. Вас надо учить с самых азов, но расточать такой талант просто грешно. Вы не умеете держаться на сцене и говорите, как в реальной жизни. Это несерьезно. Сцена имеет дело не с правдой, но с ее видимостью, и только через искусственность актер может добиться естественности. Вашим жестам не хватает широты, и вы еще не можете увлечь аудиторию. У хорошего актера говорит даже его молчание. Если вы согласитесь вступить в мою труппу, я сделаю из вас величайшую актрису Испании.

— Ваше предложение столь неожиданно,— ответила Каталина,— я даже не знаю, что и сказать. Я — замужняя женщина, и мы с мужем едем в Севилью, где надеемся найти работу.

Алонсо Фуэнтес поймал ее взгляд, брошенный на Диего, и с улыбкой повернулся к юноше.

— Молодой человек, у вас приятная внешность

и хорошие манеры. Набравшись опыта, вы, несомненно, сможете играть многие роли.

Аплодисменты, не раз раздававшиеся во время спектакля, и многочисленные комплименты зрителей разожгли воображение Каталины, и ей льстило столь неожиданное предложение. Но она заметила, что Диего не понравилась некоторая холодность Алонсо, когда речь зашла о нем самом.

— Он поет, как ангел,— поспешно добавила она.

— Тем лучше. Практически во всех пьесах действие оживляется одной или двумя песнями. Ну, что вы на это скажете? Я предлагаю вам занятие, наверняка привлекательнее того, что ждет вас в Севилье.

— Такие предложения не отвергаются второпях, но требуют тщательного обсуждения,— заметил рыцарь.— Вас преследует ярость разгневанных родителей, и они не остановятся ни перед чем, лишь бы вырвать вас из объятий друг друга. Но время смиряет гнев, и придет день, когда они с сожалением вспомнят о том, что из жадности или честолюбия пытались лишить вас счастья. И тогда они вернут вам не только любовь, но и положение в обществе, подобающее вашему высокому происхождению. А пока вам необходимо скрываться, и трудно найти более подходящее место, чем труппа бродячих актеров. И не думайте, что этим вы унизите себя. Те, кто пишет пьесы, и те, кто играет их, заслуживают нашей любви и уважения, ибо они умножают добро. На наших глазах они создают живые картины жизни и показывают нам, какие мы есть и какими должны быть. Всегда и везде они высмеивают порок и глупость и восхваляют честь,

добродетель и красоту. Драматурги своим остроумием и мудростью делают нас умнее, а актеры со сцены учат благородству.— Некоторое время он продолжал говорить в том же духе, и все, кроме толстяка-слуги, не могли не удивиться, что в голове совершенно спятившего, по их мнению, человека возникали такие ясные мысли.

— И не будем забывать,— закончил рыцарь,— что комедия, которую мы видим на сцене театра, точно так же играется на сцене реального мира. Мы все — актеры этой пьесы. Некоторым дозволено играть королей и епископов, другим — купцов, солдат или ремесленников, и каждый стремится сыграть данную ему роль. А право распределять роли принадлежит всевышнему.

— Что ты на это скажешь, любимый? — спросила Каталина, ослепительно улыбнувшись Диего.— Как совершенно справедливо заметил сеньор рыцарь, такое предложение нельзя отвергнуть второпях.

Она уже твердо решила сказать да, но хорошо знала, что самолюбие мужчины требует хотя бы видимости того, что право выбора остается за ним.

— Вы не только поможете нам в трудную минуту,— добавил Алонсо,— но и получите возможность увидеть лучшие города Испании.

Глаза Диего сверкнули. Путешествия по стране казались ему куда привлекательнее ежедневного двенадцатичасового сидения на скамье портного.

— Я всегда хотел повидать мир,— с улыбкой ответил он.

— И ты его увидишь,— заверила его Каталина.— Мастер Алонсо, мы с радостью присоединимся к вашей труппе.

— И вы станете великой актрисой.

— Ура, ура! — закричали актеры.

Алонсо потребовал вина, и они выпили за здоровье своих новых товарищей.

33

На следующий день, проводив рыцаря, бродячие актеры направились в расположенный неподалеку город Мансанарес. Проходящая там ярмарка позволяла рассчитывать на полный сбор. Алонсо нанял мулов для актеров и тюков с их костюмами. Каталина и Диего ехали на лошади, подаренной им доньей Беатрис. Включая Алонсо и Диего, в труппе было семь мужчин, две женщины, Каталина и дуэнья, и мальчик, игравший вторые женские роли. Кроме того, по прибытии в город он ходил по улицам и бил в барабан, оповещая всех и вся, что знаменитая труппа Алонсо Фуэнтеса покажет великолепную, остроумную и бессмертную пьесу под тем или иным названием. Сам Алонсо в это время обычно испрашивал у мэра разрешение на представление.

В те времена в Испании не было театров, и спектакли показывались на площадях. Окна и балконы близлежащих домов становились ложами для знати. Потолком служило голубое небо, кроме как в разгаре лета, когда от крыши до крыши над площадью натягивался полог, защищающий от жгучих солнечных лучей. Игрались спектакли во второй половине дня. Вокруг подмостков, с трех сторон, ставилось несколько скамей, на которые усаживались респектабельные представители среднего сословия. Простой люд смотрел представление стоя, мужчины впереди, женщины сзади, около самых стен. Декорация состояла из единственного

задника, а изменение места действия объявлялось одним из актеров.

Бегство супруги и героя-любовника заставило Алонсо изменить маршрут, и после Мансанареса они направились в Севилью, где он мог найти актера на роли, которые возраст и внешность не позволяли ему играть самому. Выступив в Сьюдад-Реале, а затем в Валдепенасе, они перевалили Сьерра Морена, въехали в Андалузию и, переправившись через Гвадалквивир, достигли Кордовы. Там они играли неделю, перебрались в Кармону и, наконец, оказались в Севилье. Алонсо нашел нужного ему актера, и они оставались в городе целый месяц. А потом снова тронулись в путь. Это была трудная жизнь. Они спали в полуразрушенных корчмах, ели что бог пошлет, их кусали клопы, блохи, москиты. В день представления они вставали до зари, учили роли, с девяти до двенадцати репетировали, обедали и ехали на спектакль. Он заканчивался часов в пять, и, как бы они не уставали, по первому требованию мэра, судьи или другой знаменитости, им приходилось присутствовать на вечеринке, устроенной в их честь. Алонсо Фуэнтес ничего не упускал из виду, и как только он понял, что Каталина искусно владеет иголкой, а Диего действительно портной, то заставил их в свободное от спектаклей и прочих занятий время шить или переделывать костюмы для обширного репертуара труппы, состоящего из восемнадцати пьес. Он сразу понял, что из Диего, несмотря на приятную наружность и самоуверенность, не выйдет ничего путного, и поручал ему лишь петь песни и исполнять небольшие роли. С другой стороны, он приложил немало усилий, чтобы сделать из Каталины первоклассную актрису. Алонсо знал

свое дело, а Каталина оказалась способной ученицей и схватывала все на лету. Публика сразу полюбила ее, и дела труппы пошли в гору. Алонсо нанял новых актеров и расширил репертуар. Так в труппе появилась Розалия Васкес. Она исполняла вторые женские роли, так как у мальчика сломался голос и он начал бриться, и помогала Алонсо пережить потерю жены. К тому же Каталина родила одного ребенка, потом — второго, и ей требовалась дублерша на время, когда она не могла выступать на сцене.

Так пролетели три счастливых года. Каталина впитала в себя все, что мог дать ей Алонсо, и находила все более утомительными бесконечные переезды с двумя маленькими детьми на руках. Ее красота и талант привлекли внимание многих влиятельных персон, и не один раз ей и Диего предлагали организовать свою труппу и обосноваться в Мадриде. Некоторые, в восхищении ее одаренностью, обещали ей и финансовую поддержку. Каждый год, во время великого поста, когда театральные представления были запрещены, Алонсо сочинял две или три пьесы, и скоро Каталина заметила, что роли Розалии Васкес становятся все больше и больше, а в одной из последних пьес они практически сравнялись. Когда Каталина выразила свое неудовольствие, Алонсо пожал плечами и рассмеялся:

— Моя дорогая, приходится заботится о хорошем настроении женщины, с которой проводишь ночи.

Каталина не была ханжой, но полагала, что замужняя женщина, по сравнению с живущей в грехе, имеет право на лучшие роли.

— Так дело не пойдет,— сказала она Диего.

Тот согласно кивнул. Она начала серьезно задумываться над созданием собственной труппы, хотя и понимала, с какими трудностями придется столкнуться ей и Диего. Актеры любили Каталину, и она не сомневалась, что некоторые из них с радостью поедут в Мадрид. Располагая достаточными средствами, она могла бы набрать полный состав и купить право на постановку нескольких пьес. Но столичный зритель отличался привередливостью, и, кроме денег, ей требовалась и реклама. Диего твердо стоял за отъезд, так как считал, что Алонсо недооценивает его, позволяя играть лишь мелкие роли. Каталина по-прежнему страстно любила мужа, но очень сомневалась, что он сможет стать ведущим актером. И искала способ, не ущемляя его самолюбия, убедить Диего в необходимости привлечь в новую труппу какого-нибудь известного актера. Они говорили и говорили, но никак не могли прийти к решению, пока однажды Каталина не предложила посоветоваться с Доминго Пересом. Он был актером, драматургом и, если уж они решатся ехать в Мадрид, мог предложить им одну-две свои пьесы и познакомить с другими авторами. Диего не возражал, и она написала письмо, в котором приглашала дядю приехать в Сеговию. Каталина писала ему и раньше, сообщая о замужестве и рождении детей, но, чтобы не огорчать мать, не упоминала о том, что они с Диего стали бродячими актерами. В Сеговии они проводили великий пост, репетируя религиозную драму. Их труппа удостоилась чести показать ее на пасху в кафедральном соборе. Алонсо написал пьесу специально к этому случаю, взяв за основу жизнь Марии Магдалины.

34

Получив письмо Каталины, Доминго, всегда легкий на подъем, нанял лошадь, положил в переметные сумы еду и пару чистых рубашек и покинул Кастель Родригес. В Сеговии его ждала радостная встреча с племянницей, ее мужем и двумя детьми. Каталина, ей уже исполнилось девятнадцать, стала еще прекраснее. Успех, семейное счастье и материнство придали ей уверенности в себе. Ее лицо потеряло детскую округлость, но приобрело совершенство линий. Фигура оставалась такой же стройной, а походка — волнующе грациозной. Она превратилась в женщину, пусть очень молодую, но женщину с твердым характером, решительную и сознающую свою красоту.

— Ты просто очаровательна, моя милая,— улыбнулся Доминго.— И чем ты зарабатываешь на жизнь?

— Мы еще успеем поговорить об этом,— ответила Каталина.— Сначала скажи, как поживает моя матушка, что произошло в Кастель Родригесе после нашего отъезда и как там донья Беатрис?

— Не все сразу, дитя,— проворчал Доминго.— Не забывай, что я проехал долгий путь и умираю от жажды.

— Сбегай к Родриго, дорогой, и принеси бутылку вина,— сказала Каталина, достав кошелек и протянув Диего несколько монет.

— Я вернусь через минуту,— ответил тот и выскочил за дверь.

— Вижу, что хозяйство ведешь ты,— усмехнулся Доминго.

— Мне потребовалось не так уж много времени, чтобы понять, что мужчине нельзя доверять

деньги. Если у него их нет, он не попадет ни в какую переделку,— она рассмеялась.— А теперь отвечай на мои вопросы.

— Твоя мать в полном здравии и шлет тебе наилучшие пожелания. Ее набожность служит всем примером. Такая любовь к богу в немалой степени вызвана тем, что аббатиса назначила Марии пенсию и теперь ей не надо больше работать.

Каталина вновь рассмеялась. И так искренен и мелодичен был ее смех, что Доминго не мог не сравнить его с журчанием горного ручейка.

— Ты не представляешь, какой шум поднялся в Кастель Родригесе, когда стало известно, что вы исчезли,— продолжал Доминго.— Дитя мое, никто не сказал о тебе доброго слова, и твоя мать была в отчаянии. Потом, правда, пришла монахиня, донья Анна, и успокоила ее, сказав, что аббатиса поможет ей и утешит в горе. Десять дней горожане не могли говорить ни о чем другом. Монахини ужасались, что за все хорошее, сделанное тебе аббатисой, ты отплатила такой черной неблагодарностью. Представители городской знати пришли в монастырь, чтобы выразить свое сочувствие, но аббатиса отказалась их принять, сославшись на то, что слишком расстроена. Она, однако, виделась с доном Мануэлем. О чем они говорили, осталось неизвестным, но монахини слышали злые выкрики, доносившиеся из молельни аббатисы. Вскоре дон Мануэль уехал из города. Я бы написал тебе обо всем, но ты не сообщила мне своего адреса.

— Я не могла этого сделать. Видишь ли, мы постоянно переезжаем с места на место, и я не знаю, куда мы отправляемся, до дня отъезда.

— Что заставляет тебя вести такой образ жизни?

— Ты еще не догадался? Вспомни, как часто ты рассказывал мне о днях странствий по Испании, под жарким летним солнцем и в пронизывающий зимний холод?

— О, боже, неужели вы стали бродячими актерами?

— Мой бедный дядя, я — ведущая актриса в знаменитой труппе Алонсо Фуэнтеса, а Диего поет и танцует во всех пьесах, хотя Алонсо и недооценивает его актерские возможности.

— Почему ты не сказала мне об этом раньше? — вскричал Доминго.— Я бы привез с собой дюжину пьес.

В этот момент вошел Диего с бутылкой вина. Пока Доминго утолял жажду, Каталина рассказала, как они стали актерами.

— И по мнению всех и каждого,— закончила она,— в настоящее время я — лучшая актриса Испании. Диего, душа моя, я права?

— Если кто-то будет это отрицать, я перережу ему глотку.

— И многие полагают, что в провинции я могу погубить свой талант.

— Я и говорю ей, что наше место в Мадриде,— воскликнул Диего.— Алонсо завидует мне и не дает выигрышных ролей.

Как видно из вышесказанного, наши герои не страдали от ложной скромности, которая, как известно, является ядом для актеров. Они посвятили Доминго в свои планы, но тот, будучи человеком осторожным, сказал, что не сможет дать совета, не увидев их на сцене.

— Приходи завтра на репетицию,— предложила Каталина.— Я играю Марию Магдалину в новой пьесе Алонсо.

— Ты довольна ролью?

Она пожала плечами.

— Не совсем. Меня не устраивает завершающая часть пьесы. В трех последних картинах я не появляюсь совсем. Я сказала Алонсо, что, раз уж пьеса обо мне, я должна постоянно находиться на сцене, но он заявил, что не может отходить от святого писания. Беда в том, что у него нет воображения.

Диего отвел Доминго в таверну, где коротали вечера Алонсо Фуэнтес и многие актеры их труппы, и представил его не только как дядю Каталины, но и бывшего актера и нынешнего драматурга. Алонсо вежливо пригласил Доминго к столу, и тот весь вечер развлекал компанию воспоминаниями о своих актерских днях. На следующий день Алонсо разрешил ему прийти на репетицию.

Его потрясла естественность игры Каталины, красноречивость ее жестов, грациозность движений. Алонсо оказался хорошим учителем. За три года Каталина овладела всеми тайнами актерского искусства. А сочетание врожденного таланта и приобретенных навыков с необыкновенной красотой Каталины еще больше усиливало впечатление.

После репетиции Доминго расцеловал ее в обе щеки.

— Дорогая, ты действительно прекрасная актриса.

Каталина обняла старика.

— О, дядя, дядя, кто бы мог подумать, что люди будут рваться на представления с моим участием. И ты видел меня лишь на репетиции. Перед зрителями я буду играть еще лучше.

Диего получил маленькую роль Иоанна, любимого апостола Христа. Кроме приятной внешности, Доминго не заметил в нем ничего особенно-

го. При первой возможности он спросил Алонсо, что тот думает о возможностях юноши.

— Он — симпатичный парень, но никогда не будет актером,— ответил Алонсо.— Я даю ему роли, чтобы не огорчать Лину. И зачем только актрисы выходят замуж за актеров! Как это усложняет мою жизнь.

Тем не менее после репетиции Доминго посоветовал Каталине и Диего отбросить все страхи и ехать в Мадрид. За двадцать четыре часа, проведенных с ними, он понял, что здравый смысл, присущий Каталине, не позволит ей поставить под угрозу успех новой труппы и Диего не станет ведущим актером и в Мадриде. Доминго чувствовал, что так или иначе она найдет компромиссное решение, устраивающее их обоих.

Направляясь в Сеговию, Доминго надеялся повидаться со старым другом, Бласко де Валеро. Несколько следующих дней, пока Каталина и Диего репетировали пьесу, он бродил по городу и, умея легко сходиться с людьми, познакомился со многими горожанами. Он выяснил, что в большинстве население боготворит своего епископа. Его набожность и аскетизм производили на всех огромное впечатление. Известие о чудесах в Кастель Родригесе достигло Сеговии и усилило восхищение горожан этим святым человеком. Впрочем, Доминго узнал, что епископу пришлось столкнуться с враждебностью священнослужителей. По приезде в Сеговию того потрясла распущенность их нравов и пренебрежение, с которым многие из них относились к религиозным обязанностям. Он повел решительную борьбу с нарушителями священных обетов. Тех, кто упорствовал, епископ карал без жалости, как и в Валенсии, не

взирая на лица. Священнослужители, за редким исключением, сопротивлялись ему, как могли. Одни открыто выступали против епископа, другие втихую саботировали его указания. В нескольких случаях дело чуть не дошло до рукоприкладства и потребовало вмешательства городских властей. Не мир принес епископ в Сеговию, но меч.

Доминго прибыл в город в начале страстной недели и, зная, что религиозные обязанности не позволят дону Бласко принять его, появился в епископском дворце, огромном, мрачном, отделанном гранитом здании, лишь во вторник следующей недели. Назвавшись привратнику, он после короткого ожидания поднялся по широкой каменной лестнице, прошел анфиладу просторных холодных комнат с потемневшими от времени картинами библейских сюжетов, развешанных по стенам, и, наконец, вошел в крошечную келью, где едва хватало место на письменный стол и два кресла с высокими прямыми спинками. Дальнюю стену украшал одиноко висящий черный крест ордена доминиканцев. Епископ поднялся из-за стола и крепко обнял Доминго.

— Я думал, мы уже никогда не увидимся, брат. Что привело тебя в этот город?

— У меня беспокойная душа,— ответил Доминго.— Я люблю путешествовать.

Епископ, одетый, как обычно, в рясу своего ордена, постарел. Морщины на лице стали глубже, а в глазах угас яростный огонь.

— Ты давно здесь, Доминго? — спросил епископ, предложив ему сесть.

— Неделю.

— Почему же ты не навестил меня раньше? С твоей стороны это, по меньшей мере, нелюбезно.

— Ты был очень занят в эти дни. Я видел тебя

в торжественных процессиях и в соборе, в великую страстную пятницу и на пасху, во время представления.

— Я в ужасе от этих спектаклей, устраиваемых в доме бога. В других городах Испании их показывают на площадях, и это можно лишь приветствовать, так как религиозные пьесы служат просвещению народа. Но Арагон цепляется за старые обычаи, и, несмотря на мои протесты, капитул настоял, чтобы пьесу показывали в соборе, как принято с незапамятных времен. Я присутствовал на представлении только потому, что этого требовало мое положение.

— Но пьеса соответствовала столь торжественному событию, дорогой Бласко. Я не услышал ни единого слова, которое могло бы оскорбить твое благочестие.

Епископ нахмурился.

— Приехав сюда, я обнаружил чудовищную распущенность тех, кто своим поведением должен показывать пример верующим. Некоторые каноники не появлялись в городе много лет, священники жили в грехе, в монастырях не придерживались устава ордена, а инквизиция забыла о своем долге. Я решил прекратить эти безобразия, но встретил лишь ненависть, угрозы и сопротивление. Мне удалось восстановить некоторые нормы приличия, но я хотел, чтобы они вернулись на путь истинный из любви к богу, а они выполняют мои требования из страха передо мной.

— Об этом говорят в городе,— кивнул Доминго.— Я слышал, что предпринимались попытки лишить тебя сана епископа.

— Как я был бы рад, если б одна из них удалась!

— Но, дорогой друг, не забывай, что народ любит и уважает тебя.

— Бедняги, если б они знали, как недостоин я их любви.

— Они чтят тебя за простоту в жизни и милосердие к бедным. Они слышали о чуде в Кастель Родригесе. Они смотрят на тебя как на святого, брат, и кто я такой, чтобы винить их за это.

— Не смейся надо мной, Доминго.

— Ах, дорогой друг, я слишком люблю тебя, чтобы позволить себе подобную вольность.

— И тем не менее иногда и случается и такое,— слабо улыбнулся епископ.— За эти три года я часто вспоминал нашу последнюю встречу. Тогда я не придал особого значения твоим словам. Мне казалось, что ты говорил только ради того, чтобы позлить меня. Но в уединении этого дворца меня начали мучать сомнения. Я спрашивал себя, возможно ли, что мой брат, пекарь, скромно выполнявший свой долг, служил богу лучше, чем я, посвятивший ему всю жизнь. Если это так, что бы ни говорили остальные, не я совершил чудо, но Мартин,— он пристально взглянул на Доминго.— Говори. Ради любви ко мне скажи мне правду.

— Что ты хочешь услышать от меня?

— Ты считал, что излечить бедняжку мог только мой брат. Ты уверен в этом и сейчас?

— Так же, как и прежде.

— Тогда почему, почему небо даровало мне знак, развеявший мои сомнения? Почему дева Мария произнесла слова, которые можно истолковать самым различным образом?

И так велико было его отчаяние, что вновь, как и три года назад, сердце Доминго дрогнуло. Он хотел утешить епископа, но не решался высказать

свои мысли. Несгибаемый фанатизм дона Бласко и присущее ему чувство долга указывали на то, что епископ мог сообщить в Святую палату содержание разговора с другом, если, по его мнению, тот оскорбил церковь. А старый семинарист не испытывал желания стать мучеником за свои убеждения.

— С тобой трудно говорить открыто. Я опасаюсь, что оскорблю твое благочестие.

— Говори, говори,— в голосе епископа слышалось нетерпение.

— В прошлый раз я обратил твое внимание, что, к моему удивлению, люди склонны приписывать богу все, что угодно, кроме здравого смысла. Но еще более удивительным является то обстоятельство, что они лишили его чувства, значение которого трудно переоценить. Я имею в виду чувство юмора.

Епископ вздрогнул, хотел что-то сказать, но промолчал.

— Я удивил тебя, брат? — с полной серьезностью спросил Доминго, но его глаза хитро блеснули.— Смех — драгоценный дар, ниспосланный нам богом. Он облегчает нам жизнь в этом сложном мире и помогает терпеливо выносить удары судьбы. Почему бы не предположить, что он, посмеиваясь про себя, говорит загадками, чтобы потом с улыбкой наблюдать, как люди, неверно истолковав его слова и набив очередную шишку, учатся уму-разуму?

— Ты говоришь странные вещи, Доминго, но мне кажется, что истинный христианин не сможет найти ереси в твоих рассуждениях.

— Ты изменился, брат. Возможно ли, что ты стал терпимее?

Епископ ответил пронзительным взглядом, будто хотел понять истинный смысл вопроса Доминго, затем опустил глаза и, казалось, глубоко задумался. Наконец, он вновь взглянул на Доминго.

— Друг мой, я в растерянности. Я ни с кем не решался поговорить об этом, но, возможно, провидение послало тебя, чтобы я облегчил душу, ибо ты — единственный человек, кого я могу назвать своим другом...— Он помолчал.— Как епископ, я должнен присутствовать на религиозных спектаклях, которые показывают в кафедральном соборе по праздникам. Кто-то сказал мне, что на этот раз пьеса посвящена Марии Магдалине. От меня требовалось присутствовать, но не смотреть на сцену. Отвлекшись от всего, я молился. Но душа моя не находила покоя. И неожиданно мою молитву прорезал крик, такой трогательный, такой призывный, что я не мог не прислушаться к происходящему. Тут я вспомнил, что идет спектакль. Игралась сцена, когда Мария Магдалина и Мария, мать Иакова, подошли к погребальному склепу, куда Иосиф из Аримафеи положил тело Христа, и увидели, что камень, закрывавший вход, отброшен в сторону. Они вошли и обнаружили, что тело исчезло. Так, стоящими в полной растерянности, и застал их случайный путник, и Мария Магдалина рассказала ему, что она видела с другой Марией. И, так как он ничего не знал о происшедших ужасных событиях, она поведала путнику о пленении, суде и смерти сына бога. Столь живым было это повествование, столь удачны подобранные слова и сладкозвучны стихи, что я не мог заставить себя не слушать.

Доминго, затаив дыхание, наклонился вперед, ловя каждое слово дона Бласко.

— Ах, как же был прав наш великий император Карл, говоря, что лишь испанский язык достоин того, чтобы на нем обращались к богу. Какое яростное негодование звучало в голосе актрисы, игравшей Магдалину, когда она рассказывала о предательстве Иуды, и такой неистовый гнев охватил многочисленных зрителей, что они выкрикивали проклятия изменнику. Так искренне дрожал ее голос, такая неподдельная душевная боль слышалась в нем, когда речь шла о бичевании Христа, что люди вскрикивали от ужаса, а когда она стала описывать агонию Иисуса на кресте, они били себя в грудь и громко рыдали от горя. И ее голос проник в мое сердце, и по моим щекам потекли слезы. Душа моя затрепетала, как трепещет на ветру одинокий лист. Я чувствовал, что-то должно произойти, и меня охватил страх. Я взглянул на актрису, произносящую эти возвышенные и жестокие слова. Ее красота потрясла меня. Не женщина стояла на сцене, не актриса, но небесный ангел. И когда я, как зачарованный, смотрел на нее, луч света пронзил темную ночь, в которой я блуждал столько лет. Он проник в мое сердце, и я застыл в блаженстве. Я умирал от боли и в то же время смеялся от счастья. И чувствовал, что душа моя отделилась от тела и воспарила ввысь. В тот незабываемый момент я прикоснулся к мудрости бога и познал его тайны. Лишь добро осталось во мне, отринув все зло. Не могу описать этого состояния. У меня нет слов, чтобы выразить, что я увидел и что познал. Я слился с богом и, слившись с ним, соединился со всем миром.— Епископ откинулся в кресле, и его лицо осветилось воспоминанием это-

го волнующего мгновения.— Суетные желания больше не проникали в мою душу. Я получил высшую награду, достижимую в этом мире. Теперь мне нечего желать и не к чему стремиться. Я отправил его величеству письмо, в котором смиренно прошу разрешить мне отказаться от дарованного мне духовного сана, чтобы я мог удалиться в монастырь и провести остаток дней в молитвах и благочестивых размышлениях.

Тут Доминго не выдержал:

— Бласко, Бласко, Марию Магдалину играла моя племянница, Каталина Перес. Убежав из Кастель Родригеса, она присоединилась к труппе Алонсо Фуэнтеса.

От изумления глаза епископа широко раскрылись. И тут же на его губах заиграла улыбка.

— Вот уж действительно пути господни неисповедимы. Как странен его выбор тех, кто привел меня к цели! Через нее он жестоко ранил меня и через нее же и исцелил. Благословенна будет мать, родившая ее, ибо в той божественной сцене ее вдохновлял сам создатель. Я буду молиться за нее до последнего вздоха.

В этот момент в маленькую комнату вошел фра Антонио. Взглянув на Доминго и сделав вид, что не узнает его, секретарь наклонился к епископу и что-то прошептал ему на ухо. Тот тяжело вздохнул.

— Хорошо, я приму его,— и добавил, обращаясь к Доминго: — К сожалению, я вынужден просить тебя уйти, дорогой друг, но я с радостью увижу тебя вновь.

— Боюсь, этого не случится. Завтра утром я уезжаю в Кастель Родригес.

— Мне очень жаль.

Доминго преклонил колени, чтобы поцеловать руку епископа, но дон Бласко поднял его на ноги и крепко расцеловал в обе щеки.

35

Доминго, исхудавший старик с тяжелыми мешками под глазами и красным, в синих прожилках, носом, в залатанной одежде с пятнами от вина и еды, не шел, а летел по воздуху. В этот момент он, как когда-то и говорил епископу, не поменялся бы местами ни с императором, ни с самим папой. Он разговаривал сам с собой и размахивал руками. Прохожие принимали его за пьяного, и он действительно опьянел, но на этот раз не от вина.

— Таинство театра,— пробормотал Доминго, довольно хмыкнув.— Искусство тоже может творить чудеса.

Ибо именно он, никому не известный драматург, ничтожный писец, написал строки, так глубоко тронувшие душу епископа...

Каталина осталась довольна первыми двумя актами пьесы Алонсо. Он представил Марию Магдалину любовницей Понтия Пилата, и в первом акте она появлялась в великолепных нарядах, упивающаяся жизнью в грехе, сладострастная и беспутная. Ее прозрение происходило во втором акте. Особенно удалась Алонсо та часть, когда Мария пришла в дом, где остановился Иисус, и омыла ему ноги. Действие третьего, последнего акта происходило на третий день после распятия. В одной из сцен жена Пилата укоряла последнего за то, что он позволил убить невинного человека, в другой Иуда Искариот приходил к старейшинам храма и бросал им в лицо тридцать сребреников, получен-

ных за предательство. Мария Магдалина появлялась лишь однажды, на короткое мгновение, чтобы обнаружить, что могила Иисуса пуста. Пьеса заканчивалась сценой на дороге в Эммаус, где к двум апостолам присоединялся какой-то незнакомец, в котором впоследствии они признали воскресшего Христа.

Каталина три года была ведущей актрисой и пришла в ярость, узнав, что третий акт пройдет практически без ее участия. Но Алонсо даже не стал ее слушать.

— А что мне делать? — воскликнул он.— Два первых акта полностью твои. В третьем ты можешь появиться на сцене только один раз.

— Но это просто невозможно! Обо мне эта пьеса или не обо мне? Зрители придут, чтобы посмотреть на мою игру. И будут возмущаться, если действие пойдет без меня.

— Но, дитя мое, в такой пьесе я не могу дать волю воображению. Я должен придерживаться фактов.

— С этим я не спорю, но вы же автор! И обязаны найти для меня место. Почему бы мне не появиться во время объяснения Понтия Пилата с женой?

Алонсо начал злиться:

— Но, Лина, ты же любовница Пилата. Как ты можешь находиться в его дворце, да еще в тот момент, когда он говорит с ней без посторонних?

— Ну и что? Сделайте так, чтобы я все рассказала жене Пилата, а уж потом, с моих слов, она будет обвинять его самого.

— Лина, это же чушь. Попытайся ты встретиться с женой Пилата, она бы отправила тебя на конюшню и велела отхлестать плетьми.

— Совсем наоборот. Я упаду на колени и буду умолять простить меня за грешное прошлое. Мои слова тронут ее сердце, и она не найдет в себе сил наказать меня.

— Нет, нет и нет! — вскричал Алонсо.

— А почему я не могу идти в Эммаус вместе с двумя апостолами? Женская интуиция подскажет мне, кто этот незнакомец, а он, поняв, что я узнала его, приложит палец к губам, призывая меня к молчанию.

— Я скажу, почему ты не можешь идти в Эммаус с двумя апостолами,— проревел Алонсо.— Если бы Мария Магдалина шла в Эммаус, об этом говорилось бы в святом писании. И когда мне потребуется твоя помощь в сочинении пьес, я сам обращусь к тебе.

Каталина так расстроилась, что даже хотела отказаться от роли, но, подумав, что Алонсо немедленно отдаст ее Розалии, смирилась, тем более что первые два акта позволяли ей рассчитывать на успех у зрителей.

— Если б он писал для Розалии,— пожаловалась она Диего,— то не решился бы полностью урезать ее роль в третьем акте.

— В этом нет никакого сомнения,— согласился Диего.— Он не ценит тебя.

— Я поняла это, как только он взял в труппу Розалию.

Каталина поделилась своим горем и с Доминго. Тот сочувственно покивал и попросил у нее текст пьесы. Но актерам раздавались лишь их роли, а вся рукопись находилась у Алонсо, из опасения, что кто-нибудь продаст ее другой труппе.

— Алонсо ужасно тщеславен,— добавила Каталина.— Подойди к нему после репетиции и ска-

жи, что ты в восторге от пьесы и хочешь насладиться ею еще раз, прочитав перед сном. Он не сможет отказать и даст тебе рукопись.

Алонсо, польщенный вниманием Доминго, действительно отдал ему рукопись, но попросил вернуть ее через два часа. Прочитав пьесу, Доминго пошел погулять, а придя домой, предложил Каталине свой план действий. Она бросилась ему на шею и расцеловала старика.

— Дядя, ты — гений!

— И, как многие другие, непризнанный,— усмехнулся Доминго.— А теперь слушай, дитя мое. Никому ничего не говори, даже Диего, а на репетициях играй так, как не играла никогда в жизни. Будь мила с Алонсо, и пусть он решит, что ты хочешь забыть о ваших разногласиях. Я хочу, чтобы он остался доволен тобой.

В субботу они собирались репетировать дважды, а последний прогон Алонсо назначил на воскресное утро. Днем они давали спектакль. После первой субботней репетиции, когда актеры отправились на обед, Каталина задержала Алонсо.

— Вы написали чудесную пьесу. С каждым днем меня все больше восхищает ваш талант. Такой пьесой гордился бы и великий Лопе де Вега. Вы — прекрасный поэт.

Алонсо просиял.

— Должен признать, что пьеса действительно неплоха.

— Но, мне кажется, в одном месте ее можно усилить.

Алонсо сразу помрачнел, ибо для любого автора унция критики с лихвой перевешивает фунт похвалы. Но Каталина продолжала, будто не замечая перемены его настроения:

— Я убеждена, что вы допустили ошибку, урезав мою роль в третьем акте.

Алонсо раздраженно махнул рукой:

— Мы уже говорили об этом. Сколько можно повторять, что в третьем акте для тебя нет места.

— И вы были правы, тысячу раз правы, но выслушайте меня. Как актриса, я чувствую, что, стоя у могилы воскресшего Иисуса, должна сказать больше, чем несколько отведенных мне слов.

— И о чем же ты собираешься говорить? — насупился Алонсо.

— Я могла бы пересказать историю предательства нашего господина, суда над ним, распятия и смерти. Это выглядело бы очень эффектно. И заняло бы не больше сотни строк.

— Да кто будет слушать эти сто строк в самом конце пьесы?

— Все, если говорить их буду я,— твердо ответила Каталина.— Зрители будут рыдать и бить себя в грудь. Как драматургу, вам же совершенно ясно, что этот монолог произведет сильное впечатление.

— Это невозможно,— упорствовал Алонсо.— Спектакль завтра. Я не успею написать эти строки, а ты — их выучить.

Каталина обворожительно улыбнулась:

— Видите ли, мы с дядей говорили об этом, и он, вдохновленный совершенством вашей пьесы, написал эти строки. Я выучила их наизусть.

— Ты? — негодующе воскликнул Алонсо, взглянув на Доминго.

— Красноречие вашей пьесы потрясло меня,— ответил тот.— Я не находил себе места. Казалось, в меня кто-то вселился, и, сев за стол, я чувствовал, будто вы сами водите моим пером.

Алонсо переводил взгляд с одного на другую, и Каталина, видя, что он колеблется, взяла его за руку.

— Позвольте мне прочитать эти строки. Если они вам не понравятся, я обещаю, что забуду о них. Алонсо, пожалуйста, выслушайте меня.

— Говори мне эти чертовы строки, да побыстрей,— пробурчал Алонсо.— Мне пора обедать.

Он сел и, нахмурившись, приготовился слушать. Ее голос, мягкий и агрессивный, нежный и гротесковый, гибкий и необычайно послушный, за три года набрал силу, и Каталина владела им в совершенстве. Эмоции, отражавшиеся на ее подвижном лице, дышали жизненной правдой. Предчувствие беды сменялось тревогой, страхом, негодованием, ужасом, душевной болью и неподдельным горем. Даже разозлившись, Алонсо оставался драматургом и не мог не понять, что несравненный голос и пластика Каталины зачаруют зрителей. Монолог захватил и его самого, и, наконец, покоренный страстной силой и искренностью стихов Доминго, он не смог сдержать себя, и по его щекам покатились крупные слезы. Каталина смолкла, и Алонсо вытер глаза рукавом. Взглянув на Доминго, он заметил, что тот тоже плакал.

— Ну? — с триумфом спросила Каталина.

— Стихи вполне терпимы, во всяком случае для любителя,— с излишней резкостью ответил Алонсо и пожал плечами.— Будем репетировать эту сцену, и если она мне понравится, введем в спектакль.

— Душа моя, я вас обожаю! — восторженно воскликнула Каталина.

— От Розалии я услышу менее приятные слова,— пробурчал Алонсо.

Сцена действительно произвела огромное впечатление, и не только на зрителей. Розалия гневно упрекала Алонсо, что тот благоволит к Каталине, и, чтобы успокоить ее, ему пришлось наобещать многое из того, что он наверняка не смог бы выполнить. К тому же, к неудовольствию Алонсо, пьесу в основном хвалили именно за сто строк Доминго, полагая, что и они написаны руководителем труппы. Когда же Диего шепнул двум-трем актерам, кто является истинным автором этих строк, Алонсо оскорбился и в ответ заявил, что Каталина не бог весть какая актриса и никогда бы не снискала любви публики, если б не его советы. Слова Алонсо, повторенные Каталине, стали последней каплей, побудившей ее к решительному шагу. Женщина, сказала она Диего, не должна забывать о чувстве собственного достоинства. И Каталина, порвав с неблагодарным Алонсо, с мужем и детьми уехала в Мадрид.

36

Его величество, Филипп Третий, принял отставку дона Бласко, и тот удалился в доминиканский монастырь. Спустя несколько лет его здоровье ухудшилось, и, хотя врачи не могли найти какой-то определенной болезни, всем стало ясно, что очень скоро создатель освободит его от бренной плоти. Дон Бласко так ослаб, что большую часть дня проводил в постели. Его жизнь напоминала мерцающий огонек свечи, готовый угаснуть при малейшем дуновении ветерка.

Однажды утром отец Антонио, последовавший в монастырь за доном Бласко, зашел в келью, чтобы, как обычно, проведать своего бывшего господина. Стояла зима, и землю покрывал снег.

В келье было холодно, как в могильном склепе. К удивлению отца Антонио, щеки дона Бласко горели румянцем, а глаза светились давно угасшим огнем. В сердце монаха закралась надежда, что больной преодолел кризис и начал выздоравливать, и мысленно он возблагодарил бога.

— Сегодня у вас хороший цвет лица, сеньор,— сказал отец Антонио.— Как вы себя чувствуете?

— Со мной все в порядке. Я только что видел грека Деметриоса.

От неожиданности отец Антонио вздрогнул, так как он прекрасно помнил, что грека, как он того и заслуживал, сожгли на костре много лет назад.

— Во сне, сеньор?

— Нет, нет. Он вошел в эту дверь, остановился у моей кровати и говорил со мной. Он ничуть не изменился. Я сразу узнал его.

— Это был дьявол,— испуганно воскликнул отец Антонио.— Вы прогнали его прочь?

Фра Бласко улыбнулся.

— Прогонять гостя по меньшей мере невежливо, сын мой. Я думаю, дьявол тут ни при чем. Ко мне приходил сам Деметриос.

— Но он в аду и несет наказание за преступную ересь.

— Я тоже так думал, но это не соответствует действительности.

Отец Антонио слушал со все возрастающим страхом. Подобные видения посещали не только дона Бласко. Педро де Алкантара и мать Тереза частенько видели дьяволов, а мать Тереза, чтобы отгонять их, держала при себе святую воду. Но дон Бласко говорил с такой уверенностью, что отцу Антонио оставалось надеяться лишь на помутнение сознания его учителя.

— Я спросил, как он поживает, и он ответил, что хорошо. Я рассказал ему, как мучился из-за того, что он попал в ад, а грек в ответ рассмеялся и сказал, что еще до того, как языки пламени коснулись плоти, его душа оказалась на развилке дорог, ведущих в ад и на небеса, и, так как он жил по справедливости и законам божьим, Радамантас послал его на острова блаженных. Там он нашел Сократа, окруженного, как всегда, юношами-учениками, задающего вопросы и отвечающего на них. Видел он мирно беседующих Платона и Аристотеля, Софокла, упрекающего Еврипида за то, что тот погубил драму своими новациями, и многих, многих других.

У отца Антонио сжалось сердце. Не оставалось сомнения, что дон Бласко бредил. В горячке он не понимал, что говорит.

— И тут пропел петух, и Деметриос сказал, что должен меня покинуть.

Отец Антонио решил не спорить с больным.

— А он сказал, почему пришел к вам?

— Я задал ему этот вопрос. Он сказал, что пришел попрощаться со мной, так как больше мы не увидимся. «Завтра,— сказал он,— когда кончится ночь, но еще не начнется день, как только ты сможешь различить очертание руки, лежащей на груди, душа твоя отлетит в мир иной».

— Он желал вам зла! — воскликнул отец Антонио.— Доктор говорит, что ваша болезнь не смертельна, и сегодня вы выглядите гораздо лучше. Позвольте дать вам лекарство и позвать цирюльника, чтобы он пустил вам кровь.

— Мне не нужны лекарства, и я не хочу, чтобы мне пускали кровь. Зачем задерживать мою душу, которая давно рвется из темницы плоти. Иди и

скажи приору, что я хочу исповедоваться и причаститься. Завтра, когда я смогу разглядеть в темноте очертание своей руки, я уйду из жизни.

— Это был сон! — вскричал несчастный монах.— Поверьте мне, это был сон.

Дон Бласко слабо улыбнулся.

— Не будем спорить, сын мой. Я говорил с ним, как с тобой. А теперь иди и исполни мою просьбу.

Тяжело вздохнув, отец Антонио повернулся и вышел из кельи. Дон Бласко исповедовался, причастился и благословил монахов, с которыми прожил последние годы. Он пожелал остаться один, но отец Антонио так умолял не прогонять его, что дон Бласко согласился, с условием, что монах будет молчать. Он лежал на спине, укрытый, несмотря на холод, лишь тонким одеялом. День сменился ночью, и дон Бласко заснул. Прислушиваясь к его ровному дыханию, отец Антонио вновь обрел надежду. Единственная лампадка ярко вспыхнула и потухла. Опустившись на колени, он молился за здоровье дона Бласко. Неожиданно тот пошевелился. Ничего не видя в кромешной тьме, отец Антонио понял, что он ищет крест, лежащий на груди, и вложил его в руку умирающего. Едва слышный вздох сорвался с губ дона Бласко, и монах понял, что его любимый друг и учитель умер. Он упал на каменный пол кельи и разрыдался.

Дон Мануэль к тому времени уже давно жил в Мадриде. Донья Беатрис отказалась выдать за него свою племянницу маркизу де Каранега, которая вскорости постриглась в монахини. В столице дон Мануэль вошел в доверие к герцогу Лерме, фавориту Филиппа Третьего, и лестью, двуличием, полным отсутствием моральных принципов и продажностью достиг, наконец, высокого положения.

После смерти дона Бласко он решил использовать репутацию брата для поднятия престижа своей семьи (небеса наградили его двумя сыновьями), добившись его причисления к лику блаженных, а потом и святых, и начал собирать необходимые документы. Однако его усилия ни к чему не привели, так как Рим требовал подтверждения чудес, происшедших у тела кандидата в святые после его смерти. Адвокаты обещали дону Мануэлю, что, опираясь на чудо в Кастель Родригесе, они добьются причисления дона Бласко к лику блаженных, но тот решил, что в этом случае игра не стоит свеч, и удовлетворился тем, что перевез останки брата в Кастель Родригес и воздвиг на могиле пышный монумент, если не в память дона Бласко, то для того, чтобы подчеркнуть свое богатство.

Третий сын дона Хуана де Валеро, Мартин, продолжал, как и прежде, печь хлеб. Он так и не осознал, как, впрочем, и остальные жители городка, что однажды, милостью пресвятой девы, смог совершить чудо.

Донья Беатрис в полном здравии прожила много лет и могла бы прожить и дольше, если бы не неприятное известие о причислении матери Терезы к лику блаженных. Тогда она слегла на три дня, но в 1622 году, когда папа римский объявил мать Терезу святой, донья Беатрис пришла в такую ярость, что ее хватил удар. Она пришла в сознание, но половина тела осталась парализованной, и стало ясно, что дни ее сочтены. Она не испытывала страха и до последней минуты сохраняла спокойствие и выдержку. Она послала за духовником, чтобы тот выслушал ее исповедь, а затем собрала монахинь и дала им несколько советов по их дальнейшей жизни. Несколько часов спустя она захотела при-

частиться. Вновь послали за духовником. Она попросила плачущих монахинь молиться за нее, чтобы ей простились ее грехи. Некоторое время она молчала, а затем произнесла громким голосом:

— Женщина весьма низкого происхождения.

Монахини подумали, что она говорит о себе, и, зная, что в жилах доньи Беатрис течет кровь королей Кастилии, в который раз поразились ее смирению. И лишь ее племянница знала, что аббатиса имела в виду мятежную монахиню, ставшую святой Терезой Авильской. Это были последние слова доньи Беатрис Хенрикес и Бреганса, в монашестве Беатрис де Сан Доминго, и вскоре она умерла.

37

Когда Каталина приехала в Мадрид, у нее все еще хранилось золото, подаренное ей доньей Беатрис три года назад. Она вообще знала цену деньгам и могла спокойно смотреть в будущее. В Мадриде они обратились к своим покровителям и получили обещанную финансовую и моральную поддержку. Успех новой труппы превзошел все ожидания. Множество знатнейших дворян искали расположения Каталины, но, принимая с благодарностью их подарки, она отвечала лишь улыбкой. И скоро предметом всеобщего восхищения стали не только ее красота и талант, но и добродетельное поведение. Она послала за Доминго, и тот привез дюжину пьес. Каталина поставила две, и они с треском провалились. Доминго вернулся в Кастель Родригес и вскорости умер от вина и разочарования в жизни. Несколько лет спустя Каталина поставила еще одну его пьесу, не упоминая, правда, имени автора. Пьеса понравилась. Мало того, ее даже припи-

сывали перу несравненного Лопе де Вега, и, хотя тот отрицал свою причастность, ему никто не верил. Да и теперь она входит в собрание сочинений великого драматурга, так что Доминго лишили признания не только современников, но и потомков.

Диего, несмотря на внешнюю привлекательность и уверенность в себе, не поднялся до высот актерского мастерства, однако он выказал недюжинные организаторские способности, и их труппа процветала. О сверхъестественных событиях, участницей которых стала Каталина, они не упоминали ни в труппе Алонсо Фуэнтеса, ни в Мадриде. Как и предполагала Каталина, с ней больше не случалось чудес, но Диего так и не стал хозяином в собственном доме. Впрочем, Каталина всегда представляла дело так, будто окончательное решение принимал именно он. Иногда Диего изменял ей, но Каталина воспринимала его проделки довольно спокойно, понимая, что от мужчины нельзя требовать невозможного, и следила лишь за тем, чтобы они не превращались в серьезные увлечения и не стоили много денег. Короче, это была счастливая семья. Каталина родила шестерых детей. На сцене она еще долго играла преследуемых девственниц и добродетельных принцесс. Голландский путешественник, побывавший в Испании в последний период царствования Филиппа Четвертого, писал, что Каталина, уже располнев и не единожды став бабушкой, грациозностью движений и мелодичностью голоса покоряла аудиторию и спустя пять минут зрители видели перед собой юную шестнадцатилетнюю красавицу.

На этом позвольте закончить эту необычную, почти невероятную, но поучительную историю.

25 января 1947 года

ПРИМЕЧАНИЯ

ДОЖДЬ

После двух лет на фронте... — Имеются в виду боевые действия во время первой мировой войны.

Лава-лава — набедренная повязка вроде юбки, из одного куска материи: у женщин — от подмышек до колен, у мужчин — от пояса.

Канаки — туземцы тихоокеанских островов, преимущественно Гавайских.

Копра (португ. сорга) — мякоть ореха кокосовой пальмы; из нее прессованием получают кокосовое масло, а остаток, жмых, идет на корм скоту.

Если я попадусь быкам... — Быки — жаргонное прозвище полицейских в США.

...к Христу привели женщину, взятую в прелюбодеянии... — Имеется в виду фрагмент из Евангелия от Иоанна (гл. 8, ст. 3—11), где рассказывается о том, как книжники и фарисеи привели к Иисусу Христу «женщину, взятую в прелюбодеянии», чтобы спровоцировать его на неправедный суд. Иисус же заявил: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень» (ст. 7). И камень остался не брошенным. Заканчивается этот фрагмент так: «Иисус сказал ей: и я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши» (ст. 11).

ГОНОЛУЛУ

Гирландайо (наст. имя — ди Томмазо Бигорди) Доменико (1449—1494) — итальянский живописец

эпохи Раннего Возрождения; его ясные по композиции, мягкие по колориту фрески изобилуют жанровыми мотивами, деталями современного ему быта.

...отцы ели кислый виноград, а у детей оскомина на зубах. — Имеется в виду место из Книги пророка Иеремии (гл. 31, ст. 29).

Юкэлеле — музыкальный инструмент, гавайская гитара.

СОСУД ГНЕВА

В названии рассказа использовано библейское выражение. Так, в Послании апостола Павла к римлянам мы читаем: «Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия...» (гл. 9. ст. 21—23).

Саронг — мужская и женская одежда у народов Индонезии: кусок хлопчатобумажной ткани, обернутый вокруг бедер в виде длинной юбки.

Туан (малайск.) — господин, в обращении к европейцу.

Люгер (гол., нем.) — трехмачтовое парусное судно.

Буги — малайская народность, вместе с родственными макассарами населяющая южную часть юго-западного выступа острова Целебес и ближайшие мелкие острова; язык буги относится к малайско-индонезийской группе языков.

Вильгельмина (1880—1962) — королева Нидерландов в 1890—1948 гг.

Арак — крепкий спиртной напиток (типа водки), изготовляемый в Южной Азии из риса или сока пальм (кокосовой, финиковой).

Прау (малайск.) — общее название индонезийских судов разных типов; как правило, они целиком построены из дерева.

...была высокая температура — 104 градуса.— 104° по Фаренгейту равны 40° по Цельсию.

...сколь высоко ценил такое состояние святой Павел.— В Посланиях апостола Павла к коринфянам неоднократно говорится о предпочтительности девственного состояния: «Относительно девства я не имею повеления господня, а даю совет, как получивший от господа милость быть ему верным. По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. ...Выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше». (I Коринф., гл. 7, ст. 25—26, 38).

Он был удивлен не менее пророка Валаама...— В библейской книге Числа содержится рассказ о пророке Валааме, который бил свою ослицу, не желавшую двигаться с места, поскольку она увидела на дороге ангела господня. И тогда: «...отверз господь уста ослицы, и она сказала Валааму: что я тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз?» (гл. 22, ст. 38).

БОЖИЙ СУД

...боролись с грехом столь же яростно, как Иаков боролся с ангелом божьим...— Имеется в виду фрагмент

из книги Бытие, в котором рассказывается о том, как Иаков боролся с богом всю ночь до появления зари (гл. 32, ст. 24—30).

ЦЕРКОВНЫЙ СЛУЖИТЕЛЬ

Альпака́ — легкая ткань, выделываемая из шерсти животных того же названия, рода лам.

Трансферт (от лат. transferre — переносить, переводить) — передача права владения (или распоряжения) именными ценными бумагами одним лицом другому, осуществляемая, как правило, при помощи передаточной надписи (индоссамента).

САНАТОРИЙ

Мэйфэр — фешенебельный район в Лондоне, в котором расположены особняки аристократии и состоятельной буржуазии.

КАТАЛИНА

Успение — христианский праздник, отмечается 15 августа как день памяти божьей матери, завершения ее жизненного пути.

Кармелиты — нищенствующий католический монашеский орден. Основан группой крестоносцев во главе с Бертольдом из Калабрии в 1155 г. в Палестине.

Иом-кипур, судный день, день всепрощения — иудейский праздник, отмечается через десять дней после иудейского нового года (рош-гашана). Согласно учению раввинов, в течение этих 10 дней бог Яхве проверяет дела всех людей и объявляет свое решение

о судьбе человека на предстоящий год во время иом-кипура.

Тонзура — выбритое на макушке место у католического духовенства. По постановлению Толедского собора в 633 г. тонзура обязательна для лиц духовного сословия.

Альгвасил — судейский, а также полицейский чин в Испании.

Францисканцы — католический нищенствующий монашеский орден. Создан Франциском Ассизским (1181—1226) в 1207—1209 гг. в Италии, затем распространился в других странах Западной Европы.

Орден доминиканцев — нищенствующий орден, основанный в Тулузе в 1215 г. монахом Доменико де Гусманом (1170—1221). В 1222 г. орден был утвержден папой Гонорием III. Доминиканцы дают обет бедности, воздержания, послушания, им запрещено есть мясо.

Эразм Роттердамский, Дезидерий (1469—1536) — ученый-гуманист, писатель, теолог, виднейший представитель эпохи Возрождения — Реформации, яркий критик пороков и злоупотреблений церкви, противник фанатизма, невежества, насилия, войны.

В качестве источника своего учения католическая церковь признавала латинский перевод, сделанный с греческого «отцом церкви» Иеронимом (конец IV в.), так называемую Вульгату, и священное предание. В то же время церковь строжайше запрещала чтение Библии мирянам.

Реформистская вера — разновидность христианства (Маркс определял ее как «буржуазную»), возникшая в результате Реформации, то есть протестантизм.

Auto de fé (исп. и португ.) — букв.— акт веры; торжественное оглашение приговора инквизиции в Испании, Португалии, а также само исполнение приговора — обычно публичное сожжение на костре.

Чистилище — по учению католической церкви — место, где души умерших очищаются от неискупленных ими при жизни грехов, чтобы затем перейти на небеса, в сонм блаженных.

Схизматик (от греч. schisma — раскол) — раскольник. После разделения христианской церкви на католическую и православную в 1054 г. схизматиками католические церковники обычно именовали православных.

Кальвинист — последователь доктрины Жана Кальвина (1509—1564), одного из виднейших теологов Реформации, создателя наиболее радикальной разновидности протестантизма.

Никейский символ веры.— В 325 г. в г. Никее в Малой Азии состоялся Вселенский собор христианского духовенства, на котором был принят первый символ веры, краткий свод главных догматов, составляющих основу христианского вероучения.

СОДЕРЖАНИЕ

Л. Митрохин. Сомерсет Моэм: бремя религиозных страстей 5

РАССКАЗЫ

ДОЖДЬ. Пер. *И. Гуровой* 43

ГОНОЛУЛУ*. Пер. *О. Тихомирова* 101

СОСУД ГНЕВА*. Пер. *Н. Лосевой* 136

БОЖИЙ СУД*. Пер. *А. Афиногеновой* 191

ЦЕРКОВНЫЙ СЛУЖИТЕЛЬ*. Пер. *Н. Лосевой* . . . 198

САНАТОРИЙ. Пер. *В. Хинкиса* 208

КАТАЛИНА*. Романтическая история. Пер. *В. Вебера* 243

Примечание 474

Библиотечная серия

Сомерсет Моэм

КАТАЛИНА

Редактор **С. С. Никоненко**
Художественный редактор **И. И. Рыбченко**
Технический редактор **Л. А. Фирсова**
Корректор **Т. Б. Лысенко**

ИБ № 3978

Сдано в набор 20.01.88. Подп. в печать 29.06.88. Формат 70×90 1/32. Бумага офсетная № 2. Гарнитура обыкновенная новая. Печать офсетная. Усл. п. л. 17,55. Усл. кр.-отт. 17,84. Уч.-изд. л. 18,47. Тираж 100 000 экз. Заказ 1043. Цена 1 р. 60 к. Изд. инд. НА-249.

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103012, Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 144003, г. Электросталь Московской области, ул им. Тевосяна, 25.